



СОГЛАСИЕ

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ
ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА.
ЧАША ЯРОСТИ. Роман

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ
САДЫ АЛЛАХА... Рассказ

ИРИНА РАТУШИНСКАЯ
ЛЮДИ ИЩУТ ДОБРОГО БОГА. Стихи

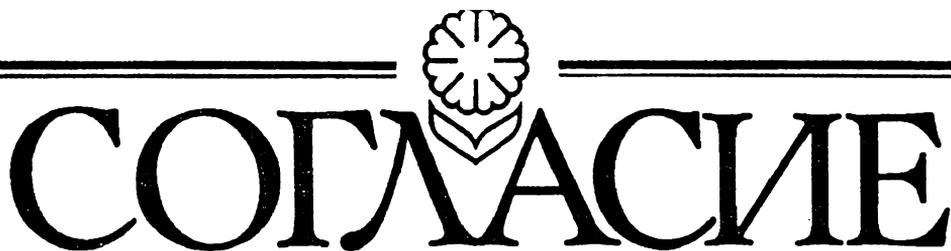
ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ
ЭЛЕГИЯ

БОРИС ВАЙЛЬ
«МЫ ЗЯБЛИ, НО НЕ ПРОЗЯБАЛИ...»

ДЖОРДЖ ОРУЭЛ
НЕИЗВЕСТНЫЙ ДНЕВНИК

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
ГЕРОЙ ТРУДА

3' 1991



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№3. МАРТ 1991 ГОДА.

МОСКВА. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС «МИЛОСЕРДИЕ»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ирина Ратушинская

ЛЮДИ ИЩУТ ДОБРОГО БОГА. Стихи.

3

Владимир Максимов

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА. ЧАША ЯРОСТИ. Роман.

11

Вадим Беднов

ВАГОННЫЕ ПЕСНИ. Стихи.

53

Евгений Попов

САДЫ АЛЛАХА... Рассказ.

59

Юрий Карабчиевский

ЭЛЕГИЯ. Стихи.

66

Юрий Мамлеев

МОСКОВСКИЙ ГАМБИТ. Роман (окончание).

73

Ольга Седакова

КИТАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. Стихи.

153

Джордж Оруэлл

ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ (продолжение)

157

ПУБЛИЦИСТИКА

Борис Вайль

«МЫ ЗЯБЛИ, НО НЕ ПРОЗЯБАЛИ...»

171

СЛОВО И ВРЕМЯ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

Марина Цветаева

ГЕРОЙ ТРУДА

179

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Валентин Курбатов

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СНАЧАЛА.

215

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ АЛЛА МАРЧЕНКО

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ.

222

Подписано к печати 17.02.1991г.
Формат 70х108 1/16. Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Физ. печ. л. 14. Тираж 50 000 экз. Заказ № 151. Цена 1 руб. + 20 коп.
Московская типография №13 ПО «ПЕРИОДИКА»,
107005, Москва, Денисовский переулок, 30.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

Телефоны: главный редактор — 235-15-36,
первый заместитель главного редактора — 235-14-00,
отделы прозы, поэзии, критики, публицистики — 235-14-10

Оформление М. Б. Патрушевой
Корректоры Кокорина Е. А., Попова Ю. Е.

Ирина РАТУШИНСКАЯ

ЛЮДИ ИЩУТ ДОБРОГО БОГА

Ирина Ратушинская родилась в Одессе в 1954 году. Там же закончила физико-математический факультет университета. Небольшое время работала в школе, откуда была уволена за участие в правозащитной деятельности. 17 октября 1982 года поэтесса была арестована. Поводом для этого стало выступление в защиту сосланного в Горький академика А. Д. Сахарова, но на следствии ей достаточно прозрачно намекали, что основная причина — в стихах. Попытки заставить ее «расскаться», угрозы и шантаж ни к чему не привели. 5 марта 1983 года состоялся суд, приговоривший Ирину Ратушинскую к семи годам исправительно-трудовой колонии и пяти годам ссылки. В приговоре содержалась беспрецедентная формулировка: «Осуждена за распространение клеветнических измышлений в стихотворной форме».

Вскоре после ареста поэтессы началась борьба за ее освобождение. Благодаря большому общественному резонансу, который приобрело это судебное дело в стране и за рубежом, Ратушинскую освободили досрочно, после четырех лет заключения в Мордовии, в женской политзоне поселка Барашево, где она прошла по многим кругам ГУЛАГовского ада, основательно подорвав свое здоровье. После освобождения уехала на лечение в Великобританию. Сейчас живет в Лондоне. В 1988 году в чикагском издательстве «Литературный курьер» была опубликована книга «Стихи». И. Ратушинская также автор и нескольких книг прозы. По опросам общественного мнения, проводимым на Западе, она входит в число наиболее популярных русских писателей-эмигрантов.

В августе 1990 года Президентским указом Ирине Ратушинской в числе еще двадцати трех деятелей русской культуры было возвращено советское гражданство. Настала пора вернуть ее творчество русской литературе.

Предлагаем вниманию читателей журнала «Согласие» подборку не публиковавшихся ранее в СССР стихотворений поэтессы.

* * *

Под соборными сводами вечными,
Босиком по пыльным дорогам,
С обнаженно дрожащими свечками
Люди ищут доброго Бога.

Чтоб увидел кричащие лица,
Темень душ и глаза без света,
Чтоб простил дурака и блудницу,
И священника, и поэта.

Чтобы Он пожалел и понял
Сквозь убийства, бред и обманы,
Чтобы Он положил ладони
На висок, как на злую рану,

Чтобы спас беглеца от погони,
Чтобы дал голодающим хлеба...
Может, Бог — это крест на ладони?
Может, Бог — это темное небо?

Как к Нему отыскать дорогу?
 Чем надежду и боль измерить?
 Люди ищут доброго Бога.
 Дай им Бог найти и поверить.

1970. Одесса

* * *

*Моему незнакомому прадеду — подполковнику
 гражданской войны.*

В двух верстах от реки Двины —
 С пуль в горле —
 В последней муке —
 Посредине своей войны
 Ты навек запрокинул руки.

Вместо будущих летних дней,
 Вместо горькой посмертной славы —
 В опрокинутой глубине
 Голосят
 Над тобою травы.

И по белой рубашке — кровь
 Голубая.
 И рот прокушен.
 И растерянных муравьев —
 Хороводом —
 Простые души.

Отлетела
 Твоя гроза.
 Мы — в позоре чужих парадов.
 Но даны мне твои глаза —
 Как проклятие
 И награда.

1978. Одесса

БАЛЛАДА О СТЕНКЕ

Да воздастся нам высшей мерой!
 Пели вместе —
 Поставят врозь,
 Однократные кавалеры
 Орденов — через грудь насквозь!
 Это быстро.
 Уже в прицеле
 Белый рот и разлом бровей.
 Да воздастся!
 И нет постели
 Вертикальнее и белей.

Из кошмаров ночного крика
 Выступаешь наперерез,
 О, мое причисленье к лику,
 Не допевшему
 До небес!
 Подошли.
 И на кладке выжженной,
 Где лопатки вжимать дотла,
 С двух последних шагов я вижу —
 Отпечатаны
 Два крыла.

1979. Киев

* * *

Господи, что я скажу, что не сказано прежде?
 Вот я под ветром Твоим в небеленой одежде —
 Между дыханьем Твоим и кромешной чумой —
 Господи мой!

Что я скажу на допросе Твоём, если велено мне
 Не умолчать, но лицом повернуться к стране —
 В смертных потеках, и в ключьях, и глухонемой —
 Господи мой!

Как Ты посмеешь судить,
 По какому суду?

Что Ты ответишь, когда я прорвусь и приду —
Стану, к стеклянной стене прислонившись плечом —
И погляжу,
Но Тебя не спрошу ни о чем.

Май 1980. Киев

* * *

Как невыгодно для парада:
По Дворцовой площади — дождь!
И текут щиты на фасадах,
И подплыл пролетарский вождь
Чем-то липким.
И мокнут флаги,
И преступно ползут следы —
По плакатам,
тряпью,
бумаге —
Как по плахе бубновый дым!

Силуэты уже безглазы,
Но годятся пугать ребят.
В мокрый камень грохая разом,
По Дворцовой грядет парад.
А она больна и покорна,
Очи наглухо — ни окна!
Красной чернью что кровью черной —
По периметру окружена.
Вот сомкнутся — довольно слова —
Озвереют, сорвавшись с мест...
Но не смеют — ангел суровый
Так упрямо возносит крест!

3 ноября 1981. Ленинград

БУТЫРСКИЕ ВОРОБЬИ

Вот и снег загрузил.
Отпусти обессиленный разум —
Да покурим-ка в форточку,
Пустим на волю хоть дым...
Прилетит воробей
И посмотрит взыскательным глазом:
— Поделись сухарем!
И по-честному делишься с ним.
Воробьи, они знают,
К кому обращаться за хлебом.
Пусть на окнах двойная решетка —
Лишь крохе пройти.

Что за дело для них,
Был ли ты под судом или не был!
Накормил — так и прав.
Настоящий судья впереди.
Воробья не сманить —
Ни к чему доброта и таланты:
Он не станет стучать
В городское двойное стекло.
Чтобы птиц понимать —
Нужно просто побыть арестантом.
А раз делишься хлебом,
То значит, и время пришло.

дек. 1981. Москва, Бутырки

* * *

Молоко на строке не обсохло,
А отчизна уже поняла,
И по нас уже плакали ВОХРы,
И бумаги вшивали в дела.
Мы дышали стихами свободы,
Мы друзьям оставались верны,
Нас крестили холодные воды
Отвергающей Бога страны.
А суды громыхали сроками,
А холопы вершили приказ —
Поскорее прикрыть медяками
Преступление поднятых глаз.

Убиенны ли, проданы ль братьями —
Покидаем свои города —
Кто в безвестность, а кто в хрестоматию —
Так ли важно, который куда?
Сколько выдержат смертные узы,
На какой перетрутся строке?
Оборванка российская муза
Не умеет гадать по руке.
Лишь печалится: ай, молодые!
Неужели и этих в расход?
Погрустит и пойдет по России.
Озари ей дорогу, Господь!

*18 сентября 1982.
Киев, тюрьма КГБ*

ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН

Плохо мне, плохо.
 Старый я, старый.
 Чешется лес, соскребает листья.
 Заснешь ненароком — опять кошмары.
 Проснешься — темень да шорох лисий.
 Утро. Грибы поднимают шляпы.
 Бог мой драконий, большой и добрый!
 Я так устал: затекают лапы
 И сердце бьется в худые ребра.
 Да, я еще выдыхаю пламя,
 Но это трудно. И кашель душит.
 В какой пустыне метет крылами
 Ангел, берущий драконьи души?
 Мне кажется, просто меня забыли,
 Когда считали — все ли на месте.
 А я, как прежде, свистнуть не в силе,
 Чтоб дошли звезды и падал месяц.
 Возьми меня, сделай такое благо!
 В холодном небе жадные птицы.
 Последний рыцарь давно оплакан
 И не придет со мною сразиться.
 Я знаю: должен — конный ли, пеший —
 Прийти, убить и не взять награды...
 Но я ль виноват, что рыцарей меньше
 Ты сотворил, чем нашего брата?
 Все полегли, а мне не хватило.
 Стыдно сказать, до чего я дожил!
 В последний рев собираю силы:
 За что я оставлен без боя, Боже?

ноябрь 1982.
 Киев, тюрьма КГБ

* * *

Паучок-математик (грустней не придумаешь зверя!)
 Все старается тонкие лапки свои посчитать.
 Но полученной маленькой цифре он мудро не верит
 И сердито бормочет: «Не вышло опять ни черта!»
 Он соткал чертежи, он углы вымеряет прилежно,
 Он решает задачу с капустой, где волк и коза,
 Но не верит ответу и снова шуршит безнадежно,
 И вздыхает: решение ясно, а как доказать?
 Ах ты, чокнутый гений, распятый на координатах,
 Чудачок-Пифагор, полоумный тюремный пророк!
 Подожди уползть, я поверю твоим результатам!
 Пораскинь вензеля, посчитай мне, пожалуйста, срок.

январь 1983. Киев

* * *

Вот их строят внизу — их со стенки можно увидеть.
 (Ну, а можно и пулю в невежливый глаз получить!)
 Золоченые латы (это — в Веспасиановой свите),
 Гимнастерки солдат, да центурионов плащи.
 Завтра эти ребята, наверное, двинут на приступ.
 И, наверное город возьмут, изнасилуют баб —
 И пойдет, как века назад и вперед, — огонь да убийства.
 Если спасся — счастливый раб, если нет — то судьба.
 Храм, наверное, взорвут и священников перережут.
 Впрочем, может, прикажут распять, сперва допросив.
 Офицеры возьмут серебро, солдаты — одежду,
 И потянутся пленные глину лаптями месить.
 А потом запросят ставку — что делать дельше?
 И связист изойдет над рацией, матерясь..
 Будет послан вдоль кабеля рвущийся к славе мальчик,
 Потому что шальной стрелой перешибло связь.
 А другая стрела его в живот угадает.
 А потом сожгут напалмом скот и дома,
 Перемерят детей колесом
 И стену с землей сравнивают,
 Но, возможно, не тронут старух, сошедших с ума.
 И не тычьте в учебник: истории смертники знают —
 Прохудилось время над местом казни и дало течь.
 Дай вам Бог не узнать, что видит жена соляная:
 Автомат ППШ или римский короткий меч?

23 июля 1984.
 ЖХ — 385/2 ПКТ

* * *

Научились, наверное, закатывать время в консервы,
 И сгущенную ночь подмешали во все времена.
 Этот век все темней,
 И не скоро придет двадцать первый,
 Чтоб стереть со вчерашней тюремной стены имена.

Мы его нагружали ушедших друзей голосами,
 Нерожденных детей именами — для новой стены.
 Мы с такою любовью его снаряжали, но сами
 Мы ему не гребцы, даже на борт его не званы.

Но отмеренный груз укрывая рогожею грубой,
 Мы еще успеваем горстями просеять зерно —
 Чтоб изранить ладони, но выбрать драконовы зубы
 Из посева, которому встать после нас суждено.

ноябрь 1984.
 ЖХ — 385/2 ШИЗО

* * *

Перед боем
 Кони щиплют клевер на завтрашнем поле боя.
 Полководцы
 Меряют циркулями поля — выбирай любое!
 Не политы
 Муравьиные тропы еще ни свинцом, ни кровью.
 Только утром —
 Грянет, и бледный всадник лицо откроет.
 Перед боем
 Молодые солдаты слушают байки старых.
 Офицеры
 Пишут письма,
 а после кто-то берет гитару.
 Затихают
 К ночи травы на поле боя, и пахнет медом.
 Только утром —
 Грянет, и письма будут уже от мертвых.

декабрь 1984.
 ЖХ — 385/2 ШИЗО

* * *

Если долго идти от автобуса снежной дорожкой,
 Ориентируясь больше по звездам, чем по фонарям —
 То растает мороз на губах незрелой морошкой
 И покажется дом кораблем посреди января.

Как спасенные на борт, подыдемся мы на ступени,
 И откроется темная дверь под ледышкой ключа,
 И привычно шарахнутся в сторону быстрые тени
 Из компании тех, что шалят в пустоте по ночам.

В кухне кран заскулит по-щенячьи, услышав хозяев,
 Заскрипит половица, ругаясь, что поздно пришли,
 И молоденький месяц, за долгую вахту озябнув,
 Сунет рожки в окно, как любая зверюшка Земли.
 Мы огонь разведем,
 Чтоб сходились к нам добрые люди,
 Чтоб звенел и звенел колокольчик у наших дверей...
 Если долго идти — это все обязательно будет —
 Посреди января.
 Но которого из январей?

январь 1985.
 ЖХ — 385/3-4

* * *

Здесь от сырости голоса садятся,
Но цементную слизь прошибут пока.
Не напрасно всей конницею толпятся
Над землей Мордовией облака!
Все-то знают они — как своею шкуррой,
Всей-то грязи липнущей вопреки —
То задумчивы, то светлы, то хмуры,
Но всегда отчаянно высоки.
Здесь любое видело столько боли,
Что без крика стерпит осторожный взгляд.
А не выдержит — заревет над полем...
Вы не чувствуете? хлеб горьковат!
Не убрать свидетелей круглолобых,
Не достать и в камеру не втащить!
Всё как есть обрушат они сугробом
Вам на крыши, зонтики и плащи!
Режет глаз непрошенная истина,
Не щадя ни умников, ни тупиц...
Белой совестью город выстелят,
Чтоб вам вздрогнуть, прежде чем наступить!
И уже другие теснятся в стаи:
Чьих дыханий слепки,
Чьей бабы стон?
Снова над Мордовией молча встали.
Нам отсюда видно их сквозь бетон.

*октябрь 1985.
ЖХ — 385/2 ПКТ*

* * *

Верьте мне, так бывало часто:
В одиночке, в зимней ночи —
Вдруг охватит теплом и счастьем,
И струна любви прозвучит.
И тогда я бессонно знаю,
Прислонясь к ледяной стене:
Вот сейчас меня вспоминают,
Просят Господа обо мне.
Дорогие мои, спасибо
Всем, кто помнил и верил в нас!
В самый лютый острожный час
Мы, наверное, не смогли бы
Всё пройти — из конца в конец,
Головы не склонив, не дрогнув —
Без высоких ваших сердец,
Озаряющих нам дорогу.

10 октября 1986. Киев

* * *

Татьяне Великановой

Засвети мне зеленый огонь среди ночи,
 Я пойду на него напролом, как на свет из окна.
 Что ты странно глядишь, почему так измучены очи,
 Моя грустная кровь, моя вросшая в сердце страна?
 Что ты поровну хлеба на всех не ломаешь, Россия?
 Ты, меня научившая пайку делить пополам?
 Что так горько в разлуке щемит перехваченной ксивой,
 И от каждой свечи что за тени встают по углам?
 Засвети одинокий огонь, расстели свое поле —
 Мне дорогу во тьме все же легче найти, чем тебе.
 Хочешь — я напророчу: не будет ни страха, ни боли —
 Только ласковый свет на твоей непутевой судьбе.
 Погоди убивать — я тебе доброты напророчу,
 И простят тебя дети твои, только слезы не лей.
 Лишь огонь засвети, лишь решишь на огонь среди ночи!
 И не бойся: вот видишь — тебе уже стало светлей.

20 февраля 1987.
 Кембридж — Лондон

КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Обыскали всю нашу планету,
 Чтоб счастье найти за холмами.
 Путь отметили городами,
 Но счастливых находок нету.
 И уже не вернуться к маме.
 Не уткнуться в теплый передник,
 На вопросы прося ответа.
 Только в детстве нам дан посредник
 Между нами и белым светом.
 А потом нам под сирым ветром
 Серым камнем мостить дорогу.
 Все изведать и все отвергнуть,
 Но, быть может, вернуться к Богу.
 Безо всех счастливых открытий,
 Сбивши ногу о серый щебень...
 Не устань, Владимир-креститель,
 Крест держать меж нами и небом!

7 июня 1987.
 Роттердам — Лондон

*Вступительная заметка и публикация
 Евгения Данилова*

Владимир МАКСИМОВ

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА.

ЧАША ЯРОСТИ

Роман

Моим дочерям Наталье и Ольге

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Итак, пойдём дальше, золотой мой, посеребрённый, пойдём дальше, только не оглядывайся, изойдешь слезной солью где-то над пропастью Чопа!

Из мира в мир, из одного измерения в другое, из ниоткуда в никуда, в отрезок времени достаточный, чтобы вместить в себя как вдох и выдох, так и целую вечность, переносится душа твоя за кудыкины горы чужбины.

И вот уже под крылом самолета, сквозь разрывы облачной пены, потекла перед глазами эта чужбина, вся в росчерках дорог и перелесков, разреженных карточной россыпью пестрых застроек.

Вроде бы ничего не изменилось вокруг него — тот же воздух, те же лица, та же речь, — но внутри что-то вдруг как бы надломилось, треснуло, оборвалось, обнажив погаенную, но уже не способную отныне уняться боль. Его властно потянуло вскочить и сломя голову ринуться по проходу туда, в хвост гудящей машины, в беспамятном порыве дотянуться до запретной черты и попробовать переиграть судьбу.

Но вместо этого Влад лишь сдавленно выдохнул вслед проходившей мимо стюардессе:

— Девушка, выпить бы...

А под крылом плыла и плыла чужая земля, и не было ей теперь ни конца, ни края...

2

«Мело, мело по всей земле, во все пределы...» Мело во все пределы и закоулки Москвы начала зимы тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. В снежной замяти город гляделся, словно смутный чертеж или беспорядочный набросок углем по белому холсту февральской стужи. И Влад стремглав ринулся в эту стужу, и она, посвистывая, понесла его сквозь путаницу завьюженных переулков к ближней окраине с птичьим названием — Сокольники.

Город сейчас проносился в нем, а не вовне, отмечаемый сквозь снежное кружево не зрением, но памятью: дом Утесова на углу Красноармейской и Краснопрудной, магазин «семьдесят пятый» возле Леснорядского рынка, таящего в себе соблазны его голодного детства, пивная у ликеро-водочного чьего-то, уже забытого теперь, имени, кинотеатр «Молот» и, наконец, шестьдесят пятое отделение милиции, откуда, если пересечь наискосок Маленковскую, начиналась тянущаяся за ним по пятам через всю выпавшую ему на долю жизнь улица — Владова сказка, Владова боль, Владова тоска и ноша.

Когда же Влад свернул на нее, эту улицу, ноги его сделались ватными, а душа зашла от обморочного изменения. Сколько раз, загибаясь внутри «собачьих ящиков» скоростных экспрессов, на липких нарах пересылок и в скрипучих койках психбольниц, он представлял себе, как явится сюда, как пройдет не-

мощным тротуаром мимо своего прошлого, и как оно — это прошлое — сомкнется вокруг него, словно забытый сон в гулком зале стереокинематографа. Воистину: не заглядывай подолгу в пропасть — или пропасть заглянет в тебя!

Здесь, если подытожить все, каждый шаг был отмечен памятным ему случаем или событием: угловая булочная, где в душных очередях карточной поры он упоенно выныривал свои мечты об иных землях и другой судьбе; замшелая, в бурой цепочке себе подобных, коробка двухэтажного барака, в котором, под гостеприимным кровом семьи детского дружка Сережки Забрудина, его угощали пирогами из отрубей и неизменным привкусом керосина; огромный пенёк от старого тополя у забора ситценабивной фабрики, того самого тополя, что чуть не свалился на него в раннюю грозу двадцатилетней давности, и сразу вслед за этим, через дорогу, уличное колено, откуда раскатились во все стороны Владовы мандарины в то декабрьское утро отцовского возвращения, с какого закружилась его судьба в яростной карусели давнего российского лихолетья. Сколько нас...

Проезжее русло Митьковки, втекавшее на другом конце прямо в ворота Сокольнического парка, в обрамлении заснеженных тополей и разногорбых сугробов, вытянулось перед Владом, и тут же сквозь время и явь, через годы и тление пробился к нему острый запах помеси прелой рогожи с гашеной известкой, связанный в его детстве с возведением пристройки к дворницкой для Владова покровителя — дяди Саши.

К дому Влад подходил, не чуя под собой земли. Казалось, от него отлетели возраст и опыт, возвращая его в ребяческую ипостась. Он вдруг ощутил себя тем самым Владькой Самсоновым, который только что выбежал на улицу, скрываясь от коммунального крика и материнских нравоучений, тягуче вязавшихся следом за ним...

— Владька, Владька, чего из тебя получится, не сносить тебе головы рано или поздно, совсем от рук отбился, хоть в колонию отдавай, соседи и без того зубы точат, от тебя ведь проходу никому нет, а дома покою. Возьмись за ум, Владька, завтра поздно будет, пожалей мать свою старую, одна она у тебя, куда вот тебя опять несет в такую погоду, чего тебе дома не сидится?.. Куда?..

Двор проплыл мимо него завьюженный и тихий, с редкими вкраплениями огоньков в обмороженных окнах, проплыл, словно громоздкий ковчег в снежной пене зимнего моря, нагруженный множеством теней прошлого и теплым биением животворящей плоти. Плыви, мой челн. По воле волн. Куда несет тебя судьба. Будет буря, мы поспорим. И далее, со всеми остановками.

Лишь миновав пространство между воротами родного двора и соседними, он, будто внезапно выброшенный из жаркого сна в студеную явь, вдруг почувствовал холод. Его сугубо южная одежка оказалась явно неприспособленной к колючей температуре столетнего декабря: уши и ноги у него одеревенели, и сам себе он казался сейчас еле теплящимся обручком, все убывающим с каждым шагом в размерах.

И как это не раз бывало в его детском далеке, бесчувственные ноги сами завели Влада под арку соседнего дома, где в глубине двора темнел гостеприимный провал котельной, в которой в ранние поры он частенько прятался от гнева родни и цепкого глаза участкового Калинина.

Давным-давно, с тех незапамятных времен, когда мир и душа человеческая раскололись надвое, а Влада еще и не свете не было, осел здесь истопником пленный австриец Вальтер Губер, человек без роду и потомства, безвольное «перекати» военного ветра, сирая щепка размашистой рубки столетия.

Неслись годы, каждого из которых хватило бы на вековую историю, но события обтекали Вальтера со всех сторон, не вызывая в нем никакого отзвука или внимания. Он как бы окаменел во времени и пространстве, глядя в огонь раскаленной топки, и лишь один Бог знал, какие ему там видения и какую суть он там прозревал.

Только однажды, где-то перед последней войной, Губер на короткое время оттаял, подобрав зимним вечером на улице мертвецки пьяную проститутку Союню из дома напротив и приютив ее до утра у себя в котельной.

С этого дня его словно подменили. Он пронесился по двору, курсируя через улицу и обратно, помолодевший, мытый и чисто выбритый, источаясь во все стороны благостью и тройным одеколоном. Задубелую в поту и угольной пыли робу на нем сменила суконная пара, из-под которой выглядывал сатин застиранной рубашки, стянутый у горла неким подобием галстука: любви все возрасты покрсны. И нации — тоже. Любовь, как известно, зла.

Дворовая голь посмеивалась над влюбленным истопником, хотя открыто задирать его не спешила в предвкушении свадебной выпивки. Но уже спустя неделю домоуправ Иткин, обеспокоенный происходящим, а вернее, угрозой потерять безотказного работника, нашел злополучного австрийца перед угасающей топкой в той же котельной, изуродованного чуть не до полусмерти, с маской запекшейся крови вместо лица.

Кто и когда это сотворил с ним, не поведал даже неутомному участковому Калинину, хотя не надо было считать себя Натом Пинкертоном, чтобы догадаться, куда запропастились следы нападавших: кодла паханов и хахалей, сутками круживших около дома напротив, не захотела отдавать своей даровой добычи без боя.

С тех пор Губер окончательно погас и замкнулся, выходя из котельной лишь по крайней надобности...

Когда Влад, почти съехав по обледенелой лестнице, толкнул обшарпанную дверь и перешагнул порог, Губер все так же, будто и не прошло этих лет, сидел все на том же скрипучем табурете и неподвижными глазами всматривался в тот же огонь раскаленной топки. Узловатые, в ржавой коросте руки истопника при этом едва заметно подрагивали на коленях.

— Здравствуй, Вальтер, — непослушными губами вполголоса сложил Влад, — не прогонишь?

Тот даже не оглянулся в его сторону, молча кивнул и снова устремился в одну точку.

— Заглянул вот, давно не виделась, — у Влада остро запершило в горле, — не узнаешь, видно.

Только тут истопник скосил на него застывший глаз, изучающе скользнул по нему, снова замер и вдруг засветился, потеплел изнутри ответной радостью:

— Владья!.. Здравствуй, — он повернулся к нему всем корпусом и даже привстал от неожиданности. — Какой судьба?..

Вскоре они сидели за колченогим столом в глубине котельной. Алюминиевый, сплошь во вмятинах чайник весело пофыркивал на приглашенных по этому случаю углях. Вокруг початой четвертинки соблазнительно жалась нехитрая закуска, состоявшая из ржавой селедки, мятого огурца прошлогоднего засола и щедро нарезанной полбуханки ситного, а над всем этим нищим великолепием плавало облако махорочного дыма, выпускаемого «козьею ножкой» хозяина.

— Как тут мои-то, — хмелея, Влад намеренно бередил себя, — живут, не бедствуют?

Губер шарил по его лицу горячечным взглядом, растроганно попыхивал цигаркой, успокаивал:

— Карашо живут, Владья, сестра твой кароший девоншка, учится карашо, твой мать кароший работа получил, твой тетья ордена Ленина получил... Карашо!

Боже мой, Боже мой, чего ему — этому случайному чужеземцу, знавшему когда-то куда лучшие времена и куда удобнее кущи, чем грязная котельная на столичной окраине русского бедлама, — до Владовой родни, до сестриных отметок и теткиных наград? Но, видно, яд дешнего тлена уже коснулся его души, разрушая в ней целостную основу представлений о добре и зле, тьме и свете, лжи и правде, и все сущее для него замкнулось теперь в пределах этой котельной, этого двора и этой растворившей его в себе чужбины. Страшен век, когда даже общая погибель становится притягательной...

Окончательно отогреваясь, Влад поспешил переменить разговор:

— А сам-то ты как, на родину не думаешь подаваться, я слышал, выпускать стали таких, вроде тебя?

— А! — тот безнадежно махнул рукой, как бы отменяя самую мысль о такой возможности. — Зашем минье мой Австрий, мой Австрий — мой котельный. — Он любовно осмотрел свое подземное логово. — Не хошу в Австрий, тут карашо, ошень карашо...

Прощаясь, они долго и неуклюже мяли друга друга, словно пытались на ощупь удостовериться во всамделишности происшедшего, а расцепившись, все еще не могли разойтись, оттягивали расставание в первых попавшихся словах:

— Бывай, Вальтер, может быть, еще встретимся, мир тесен.

— Мой котельный — твой котельный, заходи, Владык.

— Скоро опять в Москве буду, зайду.

— Не забывай старый Губер, скоро помер будет.

— Брось, Вальтер, тебе еще жить и жить, всех нас еще переживешь и похоронишь, смотри здоровый какой!

— Ньет здоровый, Владык, софсем ниет, больной много, скоро помер будет твой Вальтер, Владык.

— Увидимся, Вальтер, помяни мое слово, увидимся. Бывай, Вальтер, и моим ничего не говори, так лучше, пусть думают, что пропал, им легче, и мне спокойней. Бывай...

Снаружи Влада встретила спящая тишина вечерних сумерек. Метель улеглась, густо выбелив улицу, которая проглядывалась теперь насквозь, почти до самого дальнего поворота. Небо над головой раздвинулось вширь и вглубь, звездной пылью стекая к горизонту. В морозном воздухе чутко отзывался любой звук или движение. Гудки маневровых паровозов и лязг вагонных сцеплений из-за ограды товарной станции Митьково, едва возникнув, тут же сникали, не в силах пробиться сквозь его вязкую густоту. Казалось, морозную темь перед глазами можно было зачерпнуть, будто стоячую воду.

На углу Старослободской перед ним выявились две — одна на голову ниже другой — женские фигуры, от которых отделились и потекли навстречу ему негромкие — первый обиженный, почти детский, второй спокойный и тоном погуще — голоса:

— Но ведь это несправедливо, Нина Петровна!

— Успокойся, Катя, возьми себя в руки.

— Но ведь я сказала правду!

— Не всякая правда к месту, Катя.

— Раньше вы учили меня другому, Нина Петровна...

— Ладно, иди домой, мы поговорим с тобой завтра, утро вечера мудренее, будь здорова...

Девчушка мелкими шажками, низко опустив голову, прошмыгнула мимо Влада, и здесь, в одно мгновение, всем своим внезапно обмершим сердцем Влад инстинктивно определил, что это его сестра — Катерина...

Так он и встретился с нею впервые после десятилетнего перерыва, чтобы уже через два быстротекущих года окончательно пересечься с ней для долгой жизни и больших скитаний. Катя, Катя, Катерина, Екатерина Алексеевна!..

— Извините, — непроизвольно окликнул он женщину, уже повернувшуюся было в другую сторону. — Эта девочка — Катя Самсонова?

— Да, — остановилась и оглянулась на него та. — А что вы хотели?..

Влад не ответил, устремляясь в стылую темноту, прочь от властно влекущего его к отчужденному дому соблазна, навстречу грядущей маете и возбуждающей неизвестности. Еще не вечер, господа, еще не вечер!

3

Помнится, в аэропорту Мельбурна он перед отлетом в Европу рассматривал с одним провожающим сувениры на витрине случайного киоска, когда кто-то несмело, но требовательно вдруг тронул его за рукав:

— Вы куда йидыге? — Влад обернулся и обнаружил перед собой старушку — Божий одуванчик в темном платке до бровей и ватном жакете без воротника, с туго набитой всякой всячиной «авоськой» в руках: ее словно нарочно вычленили

из вязкой толпы районного рынка где-нибудь на Харьковщине или Тамбовщине и перенесли сюда, в стеклянно-пластиковое царство пятого континента. — А я чувю, будто по-русски балакают.

— Во Франкфурт, — он даже не успел удивиться, настолько неожиданно для него было это бесподобное явление на другом от России конце земли. — А вы куда?

— Та в Тернополь.

— Ну и что там у вас в Тернополе?

— Та пьють!

— А здесь чего делали?

— Та у брата гостила.

— Ну и что брат?

— Та пьеть!

— А каким рейсом лететь-то?

— Та до Сингапуру, а там напрямки до Москвы...

Она стояла перед ним, переминаясь с ноги на ногу затасканными бурками в калошах, неколебимо уверенная в том, что Сингапур — это что-то вроде пересадочной станции между Москвой и Тернополем, откуда ей местным поездом до своего села рукой подать, господи, как все-таки отсутствие воображения облегчает человеку жизнь!

Вот тебе, таганский соловей, сокамерник Коля Патефон, и «в бананово-лимонном... где вы теперь, кто вам целует пальцы»!..

— Та до Сингапуру, а там напрямки до Москвы!

4

Хотите вы или не хотите, но мороз в Москве с каждым днем все-таки действительно крепчал, подгоняя Влада в его регулярных походах по столичным издательствам и редакциям. Целыми днями мотался он из конца в конец города в поисках спроса на свой незамысловатый стихотворный товар, где «жизнь», конечно же, рифмовалась с «коммунизмом», а концовки, по всем правилам социальности, дышали бодростью и оптимизмом. Но, видимо, охотников поставлять подобную жизнеутверждающую макулатуру было всюду так много, что усталые редакторы (хотя чаще всего почему-то редактрисы, но тоже усталые), едва взглянув мельком на первую страницу его машинописи, произносили скучным голосом одну и ту же фразу:

— Оставьте, мы вам напишем...

Влад знал цену этим посулам, сам, бывало, в Динской тем же манером выпроваживал из редакции районных стихоплетов, но, как всякий утопающий, забрасывал и этот крючок: авось клюнет? С этой спасительной для него в ту пору надеждой он и заканчивал день, отогреваясь по вечерам в метро и ночуя на вокзальных скамейках. «Все равно пробьюсь, — в чуткой дремоте случайных пристанищ не оставляла его обида, — ведь не хуже, чем у других!»

Невдомек ему было тогда, что и не лучше. Даже теперь, дожив до седых волос и глядя в прошлое со снисходительным недоумением, он не мог объяснить себе то смутное состояние ума и души, когда явь в человеке как бы распадается на две реальности, каждая из которых, сосуществуя с другой, живет самостоятельно вне зависимости от логики происходящего. Казалось бы, после всего пережитого — сиротского детства, бродяжьей юности, этапов и пересылок, психушек и вербовочного ярма, казенной изнанки и этого вот теперешнего его бездомного прозябания — можно было бы понять, какая же из тех двух реальностей имеет отношение к подлинности, но инерция молчаливого сговора, в котором каждый оказывался бессознательным соучастником, а все вместе — собственной западней, — была в нем сильнее здравого смысла.

Влад отмахивался от прошлого, считая его цепью досадных случайностей, недостойных не только воскрешения на бумаге, но даже воспоминаний. Ему мучительно хотелось забыть и до конца избить в себе тянувшийся за ним по пятам давний кошмар, чтобы полноправно войти, враски, вжиться в ту новую для

него жизнь, где перед ним, как он полагал, открывалась, наконец, настоящая и отныне уже беспрепятственная дорога.

И это особое состояние ума и души было для него и всех других вовсе не возвышающим их обманом или нарочитой ложью во спасение; скорее, естественной реакцией человеческой сути на окружающую ее опасность, продиктованной инстинктом самозащиты и самосохранения, в чем, за редчайшим исключением, писатель не отличается от таксиста, академик от дворника, музыкант от колхозника, и прочая, и прочая, и прочая. Спонтанная ложь сделалась нормой существования, за пределами которой все считалось как бы вне закона.

— Вот какие книжки надо писать, Владислав Алексеич, — поучал его, бывало, еще там, в Пластуновской, заядлый книголюб станичной библиотеки Гриша Таратута, раскачивая у него перед носом очередным томом Бабаевского, — если бы все так-то вот умели, за книжками бы очередь стояла, точно тебе говорю...

Гриша этот — учетчик с птицефермы, лобастый парень лет тридцати, при четырех детях мал мала меньше, содержал еще на свои куцые трудодни парализованную старуху мать и родителей жены, перебивался, что называется, с хлеба на квас, нищета в его саманной хатенке не выветривалась даже по великим праздникам, но он, видно, как и большинство людей вокруг, считал, уверен был, что судьба, выпавшая ему, лишь редкое исключение из общего счастливого правила, а стоящая жизнь разворачивается где-то совсем рядом, чуть ли не рукой подать, причем точь-в-точь такая, как в лауреатских книжках, где триста шестьдесят раз в году выходные дни, а остальные — праздники, где все сало с салом едят и салом закусывают, и где по щучьему велению в один момент любые беды руками разводятся.

Гораздо позже, окончательно осев в Москве и уже уверенно прозревая, Влад не раз выслушивал сетования своей первой тещи по поводу его прозаических опусов:

— Владислав Алексеич, голубчик, что же это все у вас в таком черном свете, — близорукие глаза ее укоризненно шурились, — неужели уж все так плохо в нашей стране? Жизни вы не знаете, дорогой, на люди не выходите, в общественной работе не участвуете, сидите бирюком или пьете с приятелями вроде вас. Оглянитесь вокруг себя, Владислав Алексеевич, какой вокруг энтузиазм, какой оптимизм! — При этом она горделиво вскидывала свой острый подбородок, сияющими глазами устремляясь куда-то поверх его головы: точь-в-точь женщина с популярного плаката «Родина-Мать». — Загляните хотя бы к нам, в нашу школу, какую замечательную стенгазету выпускают ребята, какая у нас художественная самодеятельность, какие походы за город мы устраиваем, с кострами, с песнями, с веселыми играми!..

Эта большая энтузиастка загородных походов и художественной самодеятельности ухитрилась до пятидесяти с лишним лет остаться в полном неведении относительно всего происходящего вокруг нее и в счастливой уверенности, что ее личные обстоятельства никак не нарушают гармонии текущего времени и общего оптимизма.

А еще позже другой человек, не чета колхозному учетчику или школьной учительнице, после прочтения первой рукописи Влада отечески выговаривал ему, принимая его в своем кабинете на Пушкинской площади:

— Вы несомненно талантливы, даже очень талантливы, вы знаете, я это редко кому говорю, но, согласитесь, ваши герои живут на обочине жизни, а не в ее стремнине, это отходы эпохи, не более того. Задайте себе вопрос: могли бы такие люди взять Берлин?

Владу было жаль этого усталого человека, его сломленной судьбы и раздавленного таланта. Он знал, что за плечами у того больше, чем способен вынести один человек с умом и совестью, — лапотное детство, кошмар коллективизации, медные трубы сомнительной славы, фронт, перемежаемая черными запоями тоска и позднее разочарование, из которого уже не виделось выхода, — поэтому не стал спорить, а лишь примирительно отшутился, подаваясь к выходу:

— Может быть, вы и правы, только мы этот самый Берлин два раза при крепостном праве брали...

Так мы и жили в замкнутом мире этого странного забвения, где в одном лице совмещались жертва и палач, заключенный и надзиратель, обвинитель и обвиняемый, не в силах вырваться за его пределы, ибо там — в разреженном пространстве свободы — любого из нас подстерегали гибель или одиночество, которого наши слабые дырявые души боялись еще больше гибели. Смелчаки же, которые шли на этот риск, мгновенно исчезали, растворялись в запредельном пространстве, не оставляя после себя ни следа, ни памяти.

Исключение составляли те редкостные одиночки, чья высокая судьба брала свое начало еще в том золотом веке, когда литературу не так уж сильно уважали, чтобы за нее расстреливать. В известном смысле они, эти одиночки, были счастливее нас. То, к чему мы пробивались сквозь свинцовые пластины лжи и беспомощности, сдирая с души коросту полых слов и фальшивых понятий, огороженные стеной грозных табу и лукавых соблазнов, им дарилось свыше вместе с самой жизнью. Знание меры подлинных ценностей облегчало для них их молчаливое сопротивление, но платили они за это знание куда дороже, чем впоследствии пришлось заплатить нам. Мне на плечи бросается век-волкодав...

Последнюю в этот приезд ночь в Москве Влад провел на Казанском вокзале. В текучих видениях чуткой дремы перед ним кружился хоровод лиц, помещений, предметов...

— Оставьте, — наплывали на него усталые глаза знакомой редактрисы, — мы вам напишем...

Следом за нею ему являлось испитое лицо полубезумного графомана, с которым он регулярно сталкивался в издательских коридорах:

— Главное, слова надо особенные употреблять, не как у всех, — заговорщицким шепотом убеждал он Влада, — вот, например, я недавно откопал: «стапеля!» Слышишь, как звучит: ста-пе-ля! — Безумный взор его завлакивался обморочным туманом. — Стапеля-я-я-я...

И вдруг, почти с самого доньшка его памяти, из уже забытых ее тайников, потянулся к нему, замаячил, словно в бреду, образ высокого, с легкой сутулостью человека, гордая голова в лохмах темных, почти вороного цвета волос:

— Ничего, малыш, мы еще поживем, а может, и напишем чего-нибудь, как говорится, такого, а помрем, что ж, другим больше достанется. Будешь в Москве, заходи, адреса пока не знаю, да через нашу писательскую лавочку найдешь...

Черная стужа игарской ночи пахнула на Влада, сотрясая его изнутри зыбким ознобом, отчего он сразу же пришел в себя.

— Подъем, солдат, — над ним возвышался милицейский сержант, растягивая губастый рот в снисходительной усмешке, — закрываем лавочку на уборку, в метро доспишь, там теплее...

Пожалуй, впервые со дня приезда фиолетовое утро зимней столицы показалось ему не таким бесприютным, как прежде. Сейчас он чувствовал себя, словно путник в метельной пустыне, перед которым забрезжил первый огонек: теперь он не пропадет, тот игарский знакомец поможет ему, должен помочь!

За время своего суетливого кружения по издательской и редакционной Москве Влад успел завязать кое-какие шапочные знакомства с пишущей мелкотой, поэтому отыскать по внутреннему справочнику необходимый адрес не составило для него большого труда: уже пополудни он петлял лабиринтами Сретенских переулков в поисках полученного адреса.

Желанный дом тонул в сутробах горбатой улочки, белым шлейфом стекавшей от Сретенки в сторону Цветного бульвара. Паутина снежных тропинок во дворе в конце концов вывела Влада к приземистому, в два этажа, флигелю со слепыми от наледи окнами. У двери, на косяке которой значилась знакомая фамилия, он перевел дыхание и, оглушенный биением собственного сердца, позвонил, как это и было отмечено в списке жильцов, четыре раза.

Открыл сам хозяин. Прищурившись, оглядел гостя с головы до ног, узнал и сразу же заторопился:

— Входи, входи, малыш, — отступая в темноту, он потянул Влада за рукав к светлому пятну открытой в глубине коридора двери. — Так я и знал, что когда-нибудь явишься. Много я вас, глазастых, повидал на своем веку, отговаривай —

не отговаривай, все равно в эту петлю лезете. — Он легонько втокнул его впереди себя в комнату. — Раздевайся, сейчас чай хлебать будем, а к чаю и выпить не грех.

Нет, совсем не так представлял себе Влад быт маститых писателей! В тесной, заставленной книжными полками комнате с одним окном, выходящим в глухую стену соседнего дома, едва помещались небольшой канцелярский стол с тремя разнокалиберными стульями впридачу и диван — не дивен, тахта — не тахта, скорее нечто вроде временного лежачка, нехитрой комбинации пружинного матраца с деревянными ножками по углам. Поверх полок, почти под самым потолком, вперемежку с разного формата иконами свисали картины без рам, не изображавшие ничего, кроме цветowych линий и пятен в многообразных сочетаниях. В сумрачной и душной тесноте комнаты пахло застоялым куревом и бумажным тленьем. «Небогато нынче сочинители живут, — озадачился мысленно Влад, — не из первых, видно».

— Ну, как мои хоромы, малыш? — войдя с посудой и чайником на подносе, угадал его недоумение хозяин. — Привыкай, милый, каждому свое, не всем дано в высотных домах жить и в Переделкине прохладиться, мне-то и это логово из особой милости дали, после лагеря полгода у приятелей ночевал. — С привычной холостяцкой небрежностью он расчистил от бумаг место на столе, разлил по чашкам чай и водку, подвинул к гостю миску с солеными огурцами, нарезал колбасу и хлеб. — Закусывай, малыш, на голодный желудок пить вредно. Закусим, выпьем, опять закусим, а после, как люди, чайком зальем. — Но сам он к чаю не притронулся, медленно, с видимым удовольствием выщедил в себя водку, пожевал вялым ртом хлебную корочку и уперся в гостя захмелевшим глазом. — Ну, рассказывай, с чем в престольный град пожаловал? Хотя, впрочем, догадываюсь...

Под чай и водочку Влад незаметно для самого себя, перескакивая с одного на другое и опять возвращаясь к началу, поведал тому свою одиссею за все три года после их первой встречи, кончая этими последними днями в Москве. В заключение, расчувствовавшись от собственной исповеди, решил даже прочесть кое-что из привезенного сюда с собою хлама...

Хозяин слушал его не перебивая, только сокрушенно мотал лохматой головой, насмешливо хмыкал, сочувствующе посапывал, а когда тот кончил, облегченно откинулся на спинку стула:

— Так я и знал, так я и знал, что не бросишь ты бумагу пачкать, не излечишься от этой чумы, уж больно глазастым ты мне показался тогда. Такие глазастые, пока до самой сути не дойдут, не успокоятся, а когда доходят, то руки на себя накладывают или спиваются. Но уж коли ты решил на эту пытку, малыш, тебе надо почаще обжигаться, быстрее привыкнешь, а не привыкнешь — сгоришь от обид. Поэтому слушай и терпи: стихи твои — дерьмо, с таким дерьмом по стране тысячи бегают, к тому же понаглее и половчее тебя. Брось это гнусное соцсоревнование с ними, все равно затопчут, у них копыта и мускулы не чета твоим. — Он вскочил и размашисто заходил из угла в угол, отчего комната сделалась еще теснее. — И кто только тебя набил этой трухой? Разве это слова, разве это темы? Мусор, шлак, газетные отбросы! Чем других повторять, ты бы лучше самому себе в душу взглянул: тебе двадцати четырех нет, а судьба у тебя — на трех Вечных Жидов хватит. Вот это и есть золотая жила настоящей литературы, а не «народ-вперед» и не «весна-страна». Палат каменных, понятно, тут не наживешь, может, даже голову сломишь, но зато умрешь со спокойной совестью, а это, поверь, чего-нибудь да стоит! — Продолговатое, со впалыми щеками лицо его решительно напряглось. — Вот что, малыш, нечего тебе больше здесь по присутственным местам пороги околачивать, толку, поверь мне, старику, все равно не выйдет. Я бы тебя у себя оставил, авось поднабрался бы разуму, не стеснил бы, вдвоем веселее, да соседи у меня сквальжные, сразу в милицию настучат, а я у них там на особом счету. Поэтому, мой тебе совет: поезжай на Кавказ, в Черкессию, там у меня один приятель вроде тебя переводами промышляет, я тебе к нему цидулоу дам, он на первых порах поможет, а потом сам выплывешь. Придешь в себя, пораскинешь на досуге мозгами, глядишь, за ум

возьмешься. Денег я тебе на дорогу отслонявлю, не бойся, а теперь давай на боковую, а то, я гляжу, ты скоро свалишься.

Последние слова хозяина пробились к Владу уже сквозь сморившую его дремоту.

На другой день тот проводил его на Курский вокзал. В ожидании поезда они устроились в станционном буфете, где за выпивкой и разговорами просидели чуть не до самого отхода, после чего еще долго прощались у вагонных ступенек, обещая не забывать друг друга и писать.

— Держись, Владька, — гудел тот вслед уже отходящему поезду, — мы еще свое возьмем!

На голову выше других провожающих, его долговязая фигура еще долго маячила на обледенелом перроне, призрачно растворяясь в морозном тумане.

5

Ты вспомнишь это прощание спустя четверть века, когда другой человек, с другого конце земли, француз армянского происхождения Арман Малумян — бывший партизан, бывший смертник и бывший зэка, несломленное дитя ГУЛАГа, расскажет тебе о своих встречах с ним в лагерных бараках Тайшетской командировки:

— Этому высокому угловатому парню я дал три прозвища: Ворон, Нос и Дон-Кихотский. На ворона он был действительно чем-то похож: глубоко сидящие в орбитах глаза, осторожность, ум и естественная сухощавость, подчеркнутая «фасонной стрижкой», обязательной в «домах отдыха», предоставленных в наше распоряжение «голубыми фуражками». Должен признаться, что ему не очень понравилось это прозвище, напоминавшее ему «воронок» и ворону из басни. Нос? Он у него был выразительным, солидным, внушительных размеров. Юрию очень понравилась знаменитая тирада Сирано де Бержерака, которую я продекламировал ему в шизо, и каждый раз, когда мы вступали в споры с гебистами и Нос хотел подать мне знак, что его очередь брать слово, он делал жест роستانовского героя и говорил: «Я попаду в конце посылки...» И все-таки Дон-Кихотский ему шло больше всего. Его человечность, целомудрие, его чувствительность были скрыты под маской ворчуна; он обладал глубоким умом; юмором, заостренным, как толедский клинок; благородством и гордостью испанского гранда. А его рост и худоба, о которых уже говорилось, делали его похожим на ветряную мельницу, вроде тех, с которыми он собирался сражаться, — стоило ему только поднять руки, и впечатление было полным. Острога языка его побивались не только окружающие, но и начальство. К примеру, однажды в ответ обратившемуся к нему на «ты» лагерному оперу он коротко отчеканил: «На «ты», гражданин опер, обращаются только к Господу Богу, а я, извиняюсь, простой смертный, так что прошу вас и обращаться ко мне соответственно». В другой раз, будучи в кабинете того же опера свидетелем получения мною денег из Франции, он взял у меня из рук бланк перевода и почтительно его поцеловал, а удивленному этим жестом «куму» с достоинством пояснил: «Вам не лишне будет узнать, что даме всегда целуют руку. Франция, уважаемый, тоже — дама, и — великая. Она научила нас, русских, как, впрочем, и остальные народы, что такое Свобода. Я должен был здесь воздать ей должное...»

Ты еще встретишься с ним, родимый, еще встретишься, вам еще пить и пить вдвоем, разговаривать и разговаривать, но договорить до конца так и не удастся: ему суждено будет умереть, поставить точку в книге, которую он всегда мечтал написать, тебе — молча оплакать его на чужбине.

6

Оттого, что бывшая станица Баталпашинская стала Черкесском, она еще не сделалась городом. Над саманным царством станичных построек урюмо, словно флагман с конвоем сторожевых канонерок среди сплошной флотилии рыбацких посудин, возвышались Дом советов, воздвигнутый в духе провинциального

конструктивизма конца двадцатых годов, почта, кирпичный комплекс пединститута и вокзал, что создавало этой захолустной тмутаракани некое подобие административного центра.

Отдав таким образом дань времени и склонной к радикальным преобразованиям эпохе, местная жизнь принялась течь по тем же, хотя и неписаным, но извечным правилам и законам, по которым она текла здесь со дня своего возникновения. Пыльными летом и непролазными зимой улицами с утра до позднего вечера слонялась в поисках добычи всякая домашняя тварь — ссорились и мирились куры, промышляли стаями гуси, от бесхозных собак отбоя не было, над садами и огородами струился кизячий дым, властно перебивая редкие наплывы машинной гари, по престольным праздникам отсталое население в выходных обновах пестрыми ручейками тянулось в церковь на окраине, и все это не имело никакого касательства к тому единственному в городе заасфальтированному пятчку, где в каменном доме-крепости кружилась бумажная канитель в тщетной гордыне изменить не только самый облик земли, но даже природную суть чело века. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.

В микроструктуре этого дома зеркально отражалась, лишь убывая по мере наклонного спуска в размерах, структура целого государства. Люди, имевшие право служебного допуска сюда, так же, как и на руководящем верху, составляли невыполнимые планы и затем отчитывались в их выполнении, издавали газеты и книги, в которых слово в слово повторялось все то, что уже написано и напечатано до них или одновременно с ними в вышестоящих издательствах и газетах, созывали пленумы и совещания, где заговаривали друг друга цитатами из установочных докладов вождей и передовиц партийной печати.

По торжественным праздникам устраивались также военный парад и демонстрация трудящихся по тем же образцам, что и в столице и ниже, только соответственно своему положению поскромнее и побесцветней. На затянутую красной холстиной деревянную трибуну против Дома советов ровно в десять часов утра степенно, строго по рангу поднималась местная власть. Затем полупьяный лабук из кладбищенского оркестра трубил сигнал «Слушайте все», следом за чем на площадь перед трибуной на пожилой кобыле, одолженной по этому случаю в городской пожарной охране, выезжал облвоенком подполковник Галушкин во главе нестроевого воинства престарелых отставников и тюремных надзирателей, за которыми вытягивалось разномастное шествие представителей если и не самых широких, то по убеждению устроителей, самых активных слоев населения.

Руководство, из тех, что помоложе и погорластее, выкрикивало в микрофон лозунги и здравицы, вроде «Привет славным труженикам канатникового завода имени фабрики Первого мая!» или «Животноводам секретного пригородного хозяйства, почтовый ящик номер три, ура!», демонстрирующие трудящиеся нестройно вторили этим призывам, по окончании чего обе стороны, довольные друг другом, растекались по домам, пивным и забегаловкам, чтобы с помощью сивушного ассортимента окончательно закрепить свое праздничное состояние.

И только военком Галушкин долго еще кружил по опустевшей площади на одолженной у пожарников кобыле, командуя вохровцами, разбиравшими начальственную трибуну до следующих торжеств. Щекастое лицо подполковника при этом пылало яростью и вдохновением, что делало его отдаленно похожим не героического фельдмаршала в решающей битве при Бородине.

Разумеется, никакой областной центр, даже такой крошечный, как Черкесск, да еще многонациональный, не мог обойтись без собственной творческой интеллигенции. Здесь существовала та же иерархия организаций, должностей, имен и культурных ценностей, спланировав по нисходящей спирали до того качественного уровня, откуда Демьян Бедный уже выглядел эталоном для подражания.

Все творческие союзы имели в городе свои отделения: писателей, художников, композиторов, актеров и даже архитекторов. Каждый из них возникал по принципу: была бы организация — члены найдутся. Члены, конечно, тут же отыскивались, порой, к сожалению, в избыточном числе, а если нет (как это

случилось с архитектурными кадрами), то их просто назначали в административном порядке, руководствуясь спущенным сверху постулатом: «Незаменимых людей нет и не может быть». Как говорится, собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов!

Естественно, что во всех областях этой деятельности сразу же появились свои классики и основоположники. Поэтому, если заезжего гостя познакомили, к примеру, с кем-либо из таких столпов, то обычно, небрежно обронив фамилию последнего, со значением подчеркивали: «Наш Лев Толстой», «Наш Репин», «Наш Станиславский», «Наш Растрелли», «Наш Глинка» и так далее, в соответствии с занятием и должностным рангом.

Но при всей внешней смехотворности претензий страсти здесь разыгрывались всамделишные с результатами порою не менее трагическими, чем в эпоху Монтеки и Капулетти. Яд местных Сальери, выливаясь в доносы, действовал если не так мгновенно, то не менее эффективно, приканчивая местных Моцартов в недавние времена руками местных же чекистов, а в новейшие — стараниями медспецов областной психушки или городского вытрезвителя. Труп врага, как известно, хорошо пахнет.

Если же учесть, что в области, кроме русских и заезжих примесей, обитало четыре национальности, каждая от шести до сорока тысяч зарегистрированных статистикой душ, к тому же восточного темперамента, то можно ясно представить себе накал здешних междоусобиц, давно превзошедших критическую массу по Цельсию и Фаренгейту и способных в любой момент поднять в воздух городское благополучие бывшей станицы.

Веянья нашего своенравного времени, скрыв от потомков досадные для себя подробности, отложились в памяти аборигенов города только неоднократной сменой его названия. Нареченный в день своего рождения Баталпашинском, он вскоре, в связи с ударным ростом национального самосознания среди бывших станичников, был переименован в Черкеск. Затем, отдавая день холодному уму, горячему сердцу и чистым рукам карательных органов страны, он сделался Ежовском, но по исчезновении железного наркома в следственных подвалах собственной вотчины стал называться Карачаевском в знак признания революционных заслуг самого большого народа, населяющего новорожденную область, хотя спустя несколько лет, точнее, во время последней войны, оказалось, что никаких таких заслуг перед революцией за этим народом не числится, а вовсе наоборот — одни преступления против нее, и вместе со злополучной национальностью кануло в историческое небытие и очередное имя города, после чего он снова обрел свое прежнее тавро — Черкесск. Кажется, в коротких промежутках между переименованиями он назывался еще и Сулимовым и еще как-то, но это уже не суть важно. Правда, еще не вечер, господа, а наш завтрашний день подчинен целеустремленным зигзагам генеральной линии нашей партии, которая, как известно, является и самой прямой.

Так он и назывался, этот город, когда Влад тихим солнечным утром сошел здесь с поезда и ступил на привокзальную площадь. После заснеженной бесприютности Москвы здешний простор ослепил его своей благодатью. В резкой синеве широко распахнутого неба город плавился яичным смешением белых строений и желтой почвы, весь в паутине оголенных деревьев и кустарников. В зябком воздухе тянуло терпким дымком оживающих печей, от которого слегка першило в горле и слезились глаза. Волнообразная линия предгорий за дальними крышами, размытая расстоянием, со всех сторон опоясывала призрачным кордоном городские пределы. Безветренная тишина над головой казалась звенящей.

В ожидании начала присутственного дня Влад рассеянно кружил по сонным улицам, как бы вживаясь в фон, на который судьба нанесет письма еще нескольких лет его пути через врачующую боль клевет и унижений к душевному исцелению.

Город исподволь оживал, заполняя утреннюю тишь суетой и звуками разбуженной жизни. Во дворах, за глинобитными оградами, все нарастая, просыпалось многоголосье живой твари. На мостовые выкатывались первые повозки и

грузовики. Первые прохожие прерывистыми цепочками торопливо устремлялись к городскому центру. Дневная ворожба быта начинала свой озабоченный круговорот.

Поток служащих втянул его в воронку парадного входа Дома советов и, покружив по этажам и коридорам, оставил у двери с табличкой «Ответственный секретарь редакции Д. Майданский».

В крохотной проходной комнате из-за стола, стоявшего торцом к выходу навстречу Владу поднялся грудастый парень лет тридцати с копной темно-рыжих кудрей над выпуклым лбом:

— Вы ко мне? — не ожидая ответа, он кивнул на стул возле стены. — Садитесь. — Массивное, с чувственными губами лицо его расплылось в понимающей ухмылке. — Наверное, стихи? — Но едва гость назвал свою фамилию, как лицо у него отвердело в деловитой озабоченности. — Знаю, знаю, милости просим, Седугин уже звонил, сам он сейчас в отъезде, в Ставрополе, будет дня через два-три, просил о вас позаботиться. Что ж, давайте сюда все, что у вас есть, может чего-нибудь в номер втиснем, аванс я вам у редактора вырву. Устройтесь пока в общежитии, на неделе съездите в район, в командировку, с местными Джамбулами мы вас познакомим, а там видно будет. Одну минутку. — Он требовательно постукал кулаком в стену. — Леня, зайди!

В дверной проем из соседней комнаты высунулась продолговатая, в остатках волос на затылке и в трехдневной щетине чуть не до самых глаз голова.

— Ну? — голова нетрезвым взором блеснула в сторону Влада. — Что стряслось?

— Вот познакомься, товарищ из Москвы, молодой поэт Владислав Самсонов, — пальцы его с привычной небрежностью уже листали стопку полученных от Влада рукописей. — Седугин просил помочь, ему из Москвы звонили.

По-хозяйски устраиваясь на краешке секретарского стола, мешковатый верзила из соседней комнаты уперся в гостя с веселой злостью:

— Кто звонил? — он ожесточенно пожевал в желтых зубах мундштук погашенной папиросы. — Борис Пастернак? Анна Ахматова? Или, может быть, Александр Твардовский?

— Кончай, Леня, травить баланду, не убивай нас своей начитанностью, еще успеешь, — небрежно отмахнулся от него секретарь. — На-ка вот, — протянул он Владову стопку, — отбери пару-тройку стихов в номер, а я пойду к редактору, выужу аванс парню для поддержки штанов.

— Ну-ну, — насмешливо протянул верзила вслед исчезающему за дверью секретарю, — аванс — дело стоящее, будем уповать на редакторскую щедрость, — он начальственно кивнул Владу. — Айда ко мне, будем посмотреть, что вы тут понатворили. — В соседней, столь же крошечной, как и первая, комнате он долго и старательно размещал свое неуклюжее тело за письменным столом и, лишь окончательно утвердившись на месте, взялся за рукописи. — Так... Так... Так... Да, уважаемый Самсонов Владислав, прямо скажем, вы не Пушкин и даже не Блок, но для «Советской Черкессии» и это сойдет, не такое сходило. — Он поерзал по гостю хмельными глазами, задумчиво потер подбородок и вдруг решительно, с необыкновенной для его нескладной фигуры живостью поднялся. — Пока Данька из шефа аванс выколачивает, мы успеем к дяде Саше смотаться. Есть тут один дядя в одном теплом местечке, где собирается вполне теплая компания, для своих открыто круглые сутки без перерыва, а теперь давайте знакомиться: Леонид Епанешников, заведуя в этой лавочке культурой, которой в здешней округе даже не пахнет. Айда за мной!

Епанешников мимоходом кинул на стол к секретарю несколько листочков из Владовой кипы, сунул остальное в руки гостю и, увлекая его за собой, стремительно ринулся по коридорам и этажам вниз, воодушевленный близкой возможностью опохмелиться.

— Эта дыра не для белых людей, дорогой мэтр, — изливался он Владу по дороге, — здесь даже кошка сопьется с тоски, одно название, что областной центр, а крикни «ау», за городом откликнется, была захолустная станица, станицей и осталась. Но все, как у больших: обком, облисполком, эмгебе, кегебе, у секретаря

обкома личная охрана, а от кого охранять-то, тут собаки — и те беззубые. Под стать вождям и наш брат — интеллигенция: таланту на грош, а претензий, как у Ротшильдов. Вся духовная жизнь в подвале у дяди Саши помещается, там алкаши со всего Союза самоутверждаются. Всех их, конечно, завистники в эту Богом забытую глушь загнали, всех, конечно, не понимают окружающие, всех, конечно, среда заела, а то бы они показали человечеству высоту духа. Как говорится, бодливой корове Бог рог не дает. Меньшие братья из местных тоже не отстают, врать и пить научились не хуже нашего, скорее, лучше, потому что и то, и другое делают проще, без комплексов. Короче, сейчас сами полюбуетесь, — он потянул Влада за рукав. — Мы у цели, оставь надежды всяк сюда входящий!

Несмотря на ранний час, в темном подуподвале топталось изрядное количество народу, алчущего первой похмельки и взаимопонимания. Под низкими сводами густо пахло волглой плесенью, затхлой кислятиной, перебродившим вином. В сумрачном свете единственного и переслоенного пылью окна все кругом выглядело смутно и расплывчато. Оживавшие по мере выпивки голоса звучали здесь глухо и сдавленно, словно в закупоренной бочке.

За стойкой неторопливо, с некоторой даже торжественностью, двигался сухощавый старик в фуражке черной кожи, из-под куцего козырька которой печально мерцали отрешенные, как у большой собаки, желудевые глаза. В каждом его движении, жесте, взгляде сквозило такое скорбное безразличие к миру и населяющему этот мир человечеству, что казалось, будто он пережил уже конец света и поэтому ничто на земле не может вызвать в нем ни удивления, ни интереса.

— Дядя Саша, будь добр, плесни нам с товарищем по сто пятьдесят пожар залить, — отнесся спутник Влада к старику, привычно ввинчиваясь в людную тесноту у стойки. — Маэстро, вы уже здесь? — крикнул он кому-то поверх голов. — Одобряю, если водка мешает работе, надо бросить работу. Причаливайте к нам, тут нашего полку прибыло, молодой поэт из Москвы на постоянное место жительства, есть об чем перекинуться.

Тут же, словно из-под земли, перед ними вынырнул жидковолосый, с кукольным личиком блондин, галстук бабочкой под кургузым пиджачком в поло-ску:

— Очень рад, очень рад, — зачистил он, обшаривая Влада беспокойными глазками, — будем знакомы, Петр Дубров, артист драмтеатра. — Было в нем, в его мелких движениях и быстрых словах что-то укорененно торопливое, словно, однажды зашпешив, он уже никак не может остановиться. — Живем, как в пустыне, живого человека встретить — редкость, какая уж тут духовная жизнь, интриги да сплетни, порядочных людей с идеями раз-два и обчелся, душу отвести не с кем. Как сказал поэт: «Нас мало, нас, может быть, трое...»

Первая выпивка только раззадорила собеседников. Тосты последовали один за другим. Лица, призрачно чередуясь, возникали из душной полутьмы, чтобы тут же исчезнуть в ней, пока, после долгого кружения, перед Владом не утвердилось одно: резкое, испитое — угольные, безо всякого выражения глаза под сильно выдвинутыми надбровьями.

— Знакомься, брат, — пьяно гудел у него над ухом Епанешников, — это, брат, глыба, матерый, можно сказать, человечище, ногайский классик Фазиль А. В одном лице — Пушкин, Гоголь и Лев Толстой своего народа, по его учебникам вся ногайская интеллигенция выучилась. Народу, правда, всего шесть тысяч, зато интеллигенции на шесть с половиной наберется, от чекистов до солистов все интеллигенты. Насчет алкашизма тоже у них классик, пример, так сказать, для подрастающего поколения...

Ногаец словно не слышал или не слушал собеседника. Он молча смотрел впереди себя, не двигаясь и не реагируя на окружающее. Когда ему подставляли стакан, он все так же безмолвно, большими глотками втягивал в себя содержимое и снова застывал в той же позе. В нем как бы заглохло, онемело все, кроме этой вот неутоляемой жажды вливать в себя любую жидкость, какую перед ним поставят.

И только, когда пришла пора прощаться, не замечая протянутой Владом ру-

ки, вдруг обнажил в мрачной усмешке свои почти коричневые зубы и внятно выцедил ему в лицо:

— А тебе на допросах кое-что в дверях не зажимали, товарищ?..

Много раз впоследствии придется ему пить и забывать, бесчисленное количество лиц при этом вберет в себя его память, несметное число слов услышит он от своих собутыльников, но никогда и нигде ему не придется вот так же близко, как в это мгновение, заглянуть в гремучую пропасть, которую называют — Россия.

7

Все дороги местной богемы, как на узловой станции, сходились в подвале у дяди Саши. Здесь знакомились между собой, ссорились и мирились вновь, здесь обмывали театральные и концертные премьеры, издательские авансы и сигнальные экземпляры книжек, заказы худфонда и сдачу архитектурных объектов, здесь создавались замыслы, концепции, репутации. Отсюда по всему городу разносились новейшие анекдоты и версии событий закулисного толка, слухи, новости, сплетни, дурная и добрая слава. Не происходило в городской округе сколько-нибудь заметных происшествий, которые не подвергались бы тут самому тщательному анализу и обсуждению. Приобщиться к этому пьяному ордену, быть в нем принятым считалось в среде здешнего полусвета знаком признания и авторитета.

Единственным человеком, который не принимал участия в общем гвалте, был сам дядя Саша — хозяин этой хмельной преисподней, обрусевший черкес, никогда не снимавший с коротко стриженной головы хромовой фуражки. Медленно и величаво двигался он за прилавком, открывая бутылки и наполняя стаканы, недоступный страстям и ревностям, какие бурлили вокруг, а вернее, поверх и мимо него безо всякого касательства ко всему тому, что происходило в нем самом. Лишь изредка, и лишь встречая желанного гостя, дядя Саша слегка обнажал полоску металлических зубов в приветливой улыбке, но желудевые глаза его при этом продолжали светиться вовнутрь себя, отчужденно и слепо.

Поговаривали, будто он служил в ранней молодости ординарцем у Султан-Гирея, прошел с «дикой дивизией» весь путь от Невинномысской до Новороссийска, был связан с мятежным генералом клятвой верности и лишь из-за тифозной горячки не смог сопровождать своего любимого командира в его заморских мытарствах.

Теперь, за прилавком винного подвала, как бы оставаясь душой там — в повергнутом мире, он являл собою последнего свидетеля давней эпохи, с торжеством наблюдающего, как победители и их потомки справляют вокруг него свою Пиррову тризну.

Однажды спустившись сюда, Влад вскоре сделался здесь завсегдатаем, а вслед за этим и одним из тех немногих, кто удостоивался приветственной улыбки хозяина. Утро Влада начиналось с обхода редакционных кабинетов, где он рассовывал по отделам свежие переводы и заказанные накануне статьи, получал деньги за предыдущие публикации, договаривался о новой поденщине и с компанией жаждущих, а если таковых не находилось, в одиночку спешил в знакомое заведение.

В прохладной полутьме подвала изо дня в день повторялся один и тот же ритуал: гостеприимно оскалившись, дядя Саша молча наливал ему стакан мускателя до краев и заученным жестом выщелкивал конфету на закуску. Пей до дна!

Утренний мускатель был подарком, честью, знаком внимания со стороны хозяина к постоянному и желанному гостю. Напиток и впрямь стоил того, чтобы ублажать избранных. И пить эту золотистую жидкость следовало несомненно только с утра, когда обоняние, еще не замутненное сивушной мешаниной, было в состоянии ощутить всю знойную неповторимость ее букета: смесь сеносных сумерек с чуть подслащенной горечью августовского полдня. Кавказ подо мною.

Первый стакан как бы закладывал надежный фундамент для последующих возлияний в разных сочетаниях и пропорциях. Мало-помалу подвал раздвигался вширь и ввысь, полутьма рассеивалась за счет душевного восхищения, город за обросшим пылью окном отодвигался за пределы досягаемости, и посетители, заполнявшие постепенно пространство вокруг, казались ему теперь пришельцами из потустороннего мира.

В радужной карусели окружающего оживления Влад обычно выделял лишь слова и лица, пропуская остальное мимо внимания к памяти. И, как всегда, прежде других перед ним выявлялся кукольный профиль Дуброва:

— Тонем в пошлости, Владислав Алексеич, в мещанстве задыхаемся, — дергался он, перебрасывая стакан из руки в руку. — Репетируем «Гамлета», понимаете, Владислав Алексеич, «Гамлета»! А Людка Степанова на читке юбку порет, а ей, корове, Офелию играть. Я ей: мол, побойся Бога, Людочка, в такой момент, где же сопереживание, где проникновение в образ? А ей хоть бы что: «Пошел ты, — говорит, — Петя, к такой-то матери, зарплату три месяца не платят, не то что жрать, выйти не в чем!» Это, Владислав Алексеич, мне — Гамлету — каково?! Может представить, что это будет за Офелия?..

Затем, где-то пополуночи, в час обеденного перерыва, у него над головой обязательно возникал низкий, с ленцой голос Епанешникова:

— Видишь, вон в углу чмур карячится, ну, вон тот, в кителе «а ля Сталин», не человек, заметь, а бездонная прорва, наш местный Гаргантюа, проел и пропил швейную фабрику, канатниковый завод, два совхоза, один укрупненный колхоз, радиомастерскую облпотребсоюза, и как с гуся вода! Временно не у дел, состоит в номенклатурном резерве обкома партии, ждет своего часа. Говорят, начальство прочит его в директора танцевального ансамбля, благо, что там пропивать нечего, кроме перелицованных черкесок. Такие, брат, как ваньки-встаньки, никогда не падают, только покачиваются...

К концу рабочего дня неизменно появлялся черкесский классик Х. Х. в чесучовой паре и с обкомовской, под крокодилову кожу, папочкой у бедра. Он брезгливо лавировал между стойками, стараясь не коснуться кого или чего-нибудь, что могло бы запятнать его чесучовые ризы или партийную непорочность, навеки запечатленную у него на изможденном до восковой бледности лице.

Будучи непьющим, он вынужден был регулярно наведываться сюда, чтобы всучить Владу подстрочник своего очередного опуса к очередной торжественной дате. Как правило, маститый мэтр не утруждал себя излишним творческим напряжением, предпочитая старательно варьировать сочинения, срифмованные им на заре его туманной комсомольской юности. Его система была не хитра, но безотказна: если, к примеру, требовалась торжественная ода по случаю годовщины Октябрьской революции, он брал две строфы стиха десятилетней давности, написанного в честь праздника первого мая, добавлял к ним три четверостишия из своей же поэмки о героических буднях советских пограничников, завершая этот высокопарный винегрет концовкой, отхваченной ножницами от виршей в память Парижской коммуны или на смерть Ленина (Сталина, Пушкина, Дзямбула и так далее — по настенному календарю). С помощью этого рукоделья основоположник родимой литературы не только обеспечил себе завидно безбедную жизнь, но и с младых ногтей уверенно менял одну руководящую должность на другую, с годами все выше и влиятельней.

Холостяцкая квартира классика помещалась непосредственно над подвалом, что позволяло ему достигать Влада врасплох в любое время дня, наподобие чумы или стихийного бедствия.

— Товарищ Самсонов, в обкоме есть мнение поручить вам перевод моей поэмы о Зое Космодемьянской. Вы должны оправдать доверие партии, вам необходимо использовать весь свой талант, чтобы передать народу вершины черкесской поэзии, — его восковое лицо торжественно каменело. — Вы переводите теперь А. Б., я не могу сказать о нем ничего плохого, но в его творчестве еще имеются феодальные пережитки. В обкоме есть мнение...

В таком духе Х. Х. мог нудить до бесконечности, не забывая при этом извлекать перед Владом из обкомовской папочки все новые и новые подстрочни-

ки. Словотечение это, казалось, не в состоянии были остановить никто и ничто, включая светопреставление, но когда вконец осоловевший Влад начинал терять последнюю надежду спастись, в подвале, будто сказочный вестник — спаситель, по обыкновению появлялось другое черкесское светило — А. Б., степенный, в благообразной седине старик с повадками вкрадчивого царедворца.

Еще издалека он расцветал в сторону своего лютого врага улыбчивым дружелюбием и беззащитной кротостью: точь-в-точь святочный Дед Мороз в пьяной компании.

— Салям алейкум, здравствуй, дорогой Хусин, дай тебе Бог здоровья! — точно обволакивал он недруга. — Читал вчера твои стихи ко Дню танкиста, дорогой, читал и завидовал, это жемчужина черкесской поэзии, в семье читали — плакали, дорогой. Ты — наша гордость, Хусин!..

Вымучивая из себя ответное радушие, тот поспешно прятал в папочку листочки с подстрочниками, выуженные было оттуда в разговоре с Владом:

— Салям алейкум, дорогой, здравствуй, твоя похвала для меня дороже любых статей, я всегда считал тебя своим учителем, — и бочком, бочком, все так же брезгливо сторонясь людей и предметов, поспешил к выходу. — Рад тебе, друг, но у меня совещание в обкоме...

Старик по-прежнему дружелюбно светился ему вслед лучистым взглядом восточных глаз, но речь его уже предназначалась для Влада:

— Опять этот ублюдок, помесь шакала с лисой, хотел навязать тебе свой бездарный хлам? — Глядя на него издалека, могло показаться, что в эту минуту он расстается со своим лучшим другом. — Завалил редакции этой белибердой, импотент, чтоб ему жить на одну зарплату! Всех обкомом пугает, шантажист проклятый! — выдержав позу ровно до того, как за Хусином захлопывалась дверь, он поворачивался к Владу и деловито осведомлялся: — Что у тебя с моими подстрочниками? Это тебе, дорогой, не День танкиста, это настоящая поэзия, без халтуры!..

Влад слушал вполуха, заранее зная, что за этим последует предложение новых подстрочников, сдобренное щедрым угощением. В хмельной прострации все вокруг виделось и слышалось ему, как через толстое стекло. Явь, словно ссохшийся грунт на старом холсте, постепенно растрескивалась в его сознании, но, когда беспмятство грозило замкнуться в нем, откуда-то из темной глубины второго плана этого почти немого для него кино к нему устремлялись недвижные глаза стеклянно непьянеющего Фазиля А., и он сразу же приходил в себя, столько горечи и презрения маячило в них, в этих глазах.

В час послеобеденного затишья Влад отправлялся на служивший тут городским парком остров на Кубани, где, расположившись в прибрежном подлеске, строчил халтуру в очередные номера местных газет и наскоро рифмовал переводы в том обязательном количестве, чтобы никого не обидеть.

Небо шелушилось над ним перистой известкой, река, вспениваясь на порогах, скользила в распаде плоскогорья, стекая в голубеющие вдаль степи, в кружеве ветвей и трав перекликалась теплая живность, и все это, цельно взятое, никак не сочеталось с тем, о чем складывалось у него на бумаге и что в повседневности суетно хлопотало вокруг него и в нем самом, будто плесенью оплетая светоносную ткань бытия.

Покончив с заданной писаниной, Влад снова возвращался к дяде Саше, чтобы после закрытия закончить дневную маету в компании временных собутыльников, доверив очередной шлюхе довести себя до ее гостеприимного ночлега.

По вечерам над ресторанами.

8

Сколько раз потом, в парижской промозглости, грезилось ему, как безоблачным летним днем он сходит на случайном полустанке с проходящего поезда и, не разбирая дороги, идет куда глаза глядят сквозь знойный простор и травяной стрекот к струящимся на горизонте селяням. Это видение преследовало Влада, настигая его в самые неожиданные моменты и в самых неподходящих

местах: днем и ночью, в поезде, в самолете, среди сна или разговоров, перед микрофоном собраний, съездов, пресс-конференций, в концерте или перед телевизором, но чаще всего в пьяном бреду, когда текучие химеры змеились вокруг него, а душа то возносилась в горние кущи, то низвергалась в спиральную темь. В такие минуты он благодарно затаивал сердцем, стараясь подольше удержать возникшую вдруг перед ним фата-моргану в тщетном ожидании, что она вот-вот в следующую секунду обернется явью. Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Но оно, увь, не останавливалось. Наваждение, словно наледь на стекле, испарялось, уступая место тоске и опустошению. Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни? За кудыкины горы. А ты думал куда?

9

Когда тебе двадцать три, а позади и огни, и воды, и первые медные трубы, то душа поневоле начинает стареть и томиться в тоске раньше времени. В редких просветах между суетой и выпивкой Влад, оставаясь наедине с собой, казнил себя тщетой своих забот, жалел растраченного на них времени, клялся самому себе разорвать этот заколдованный круг, но уже на следующее утро все начиналось сначала, по раз и навсегда заведенному порядку: Дом советов, подвал дяди Саши, остров, снова подвал и ночь в случайном вертепе.

Дни сливались в пеструю ленту с редкими пятнами засвеченных хмельным беспамятством кадров, которой не видно было конца и края: те же люди, те же разговоры, те же подстрочники, та же безотчетная, но изнуряющая хандра. То, что еще совсем недавно казалось ему издавлека вереницей сплошных праздников — редакционная суета, верстка, правка, сигнальный экземпляр номера, пахнущий еще типографской краской, где под столбцами знакомых строчек, среди других волнующе маячит собственная фамилия, — обернулось для него теперь серыми буднями, мелкой нервотрепкой по поводу редакционных придинок, бездарной правки и грошового гонорара: тайна, перестав быть тайной, по законам убывающей любви, рассеивалась, вызывая в душе с течением времени лишь тошнотворную, изо дня в день оскомину, словно от пресной жвачки.

Единственной отдушиной в этом однообразном круговороте оставался театр, куда, с легкой руки Дуброва, Влад заглянул однажды и вскоре незаметно для себя зачастил, по обыкновению просто так, без всякой надобности, чтобы хоть чем-то заполнить набухавшую в нем гремучую пустоту.

Театр в городе был, что называется, последнего разбора, служа временным — на сезон-два — пристанищем для тех, кого исторгла из себя театральная периферия от Полоцка до Владивостока по славной сорок седьмой «ге» статье трудового кодекса страны зрелого социализма, или тихой заводью для выходящих в актерский тираж пенсионеров. Комики-алкаши и трагики-многоженцы в бегах от алиментов, увядающие травести, склонные к перемене мест на почве половой истерии, спившиеся декораторы и кассиры-рецидивисты с глазами загнанных серн оседали здесь в первые дни осени, чтобы, чаще всего уже весной, податься дальше, в поисках лучшей доли или более надежной глуши. Идут, как говорится, искать по белу свету, где оскорбленному есть чувству уголок.

Театр стена к стене соседствовал с областной госбезопасностью, но это ободряющее соседство почему-то никак не способствовало его процветанию. Жизнь в нем двигалась от полочки до полочки, которая здесь называлась «дербанкой», когда директор Кныш, из бывших подполковников десантных войск, навеки пришибленных демобилизацией, ссыпал в реквизитный цилиндр очередную выручку в купюрах достоинством не более полусотни и, запустив туда натренированным еще с курсантских времен жестом свою волосатую длань, обводил актерскую братию тоскующими с похмелья глазами: «Кому?» После чего главреж Томановский, полная, почти цирковая, противоположность Кнышу — профессорское пенсне на остром, всегда вызывающе вздернутом к собеседнику профиле — принимался поочередно выкликать фамилии, в строгом соответствии со штатным расписанием или близостью к нему — главрежу Томановскому —

лично. Остатки и, разумеется, в более крупных ассигнациях шеф с мэтром по-братски делили между собой. «Все поровну, все справедливо», — как впоследствии говаривал раздутый буржуазной пропагандой поэт Булат Окуджава.

Первое, что отмечал здесь свежий посетитель, был легкий, но устойчивый запах отхожего места, слегка перебиваемый горечью гашеной хлорки и пряным настоем застоялого буфета: увы, эпохальные преобразования, явившие благородному человечеству облик нового мира, к сожалению, и, конечно же, только по недосмотру местных властей, не повлияли на улучшение системы местной канализации, которая так и осталась в городе на уровне примитивного феодализма.

Однажды случайно завернув сюда, Влад уже до седых волос не смог избыть этой удушливой смеси, навсегда отныне осевшей в нем, как знак и зов провинциальной Мельпомены. И не только провинциальной. Когда через несколько лет капризная авторская судьба вынесет его после шумной премьеры кланяться на столичные подмостки, к нему сквозь рукоплескания и спертую духоту зрительного зала пробьется из далекого далека тот въедливый запах, с которого началось его знакомство с театральной изнанкой. Привкус первой любви, как известно, неистребим.

Уже в первое посещение Томановский, едва услышав фамилию гостя, требовательно уперся в него острым профилем и засверкал перед ним мутными стеклышками, зачастил телеграфной скороговоркой:

— Самсонов. Поэт. Журналист. Писатель. Наслышан. Возникает вопрос: где пьеса? Театр ждет современной темы. Читали вчерашнюю передовую в «Советской культуре»? Нашему зрителю нужен пример для подражания. В следующий раз жду вас с пьесой. Герои живут среди нас. Слушайте. Наблюдайте. Только помните, что подлинный социализм не в том, что есть, а в том, что должно быть. Улавливаете мысль? — и сразу, без перехода: — Триппером болели? — с видимым удовлетворением от замешательства гостя, он пренебрежительно пожал плечами и устремился дальше, бросив на прощание через плечо: — Поэт. И не болел триппером. Удивительно!

С восхищением глядя тому вслед, Дубров легонько подтолкнул Влада локтем в бок:

— Матерый человечиче, а? Потрясающее видение материала, чутье, как у Моцарта, вы ему понравились, Владислав Алексеич, о триппере он не у всякого спросит, значит, выделил, творческая, так сказать, провокация, — и сразу же просиял к нему всем лицом, требовательно вцепившись в его пиджачную пуговицу: — Давайте пьесу, Владислав Алексеич, могу даже сюжетец предложить, уверяю вас, пальчики оближете...

С этим Влад и ушел из театра, а к вечеру того же дня, в редких промежутках между разговорами и выпивкой, у него в голове сложилось довольно сносное действие о некоем блудном сыне, который после пятнадцати лет безвестного отсутствия возвращается к овдовевшему за это время отцу, профессору-атомщику, занятому сверхсекретными изысканиями. Затем, в лучших традициях советской драматургии, блудный сын оказывается сукиным сыном, завербованным иностранной разведкой на почве морального разложения специально для того, чтобы выкрасть у любящего родителя, а заодно и у родимой страны тайные документы оборонного значения. В общем, все складывалось, как в хорошей сказке: чем дальше, тем страшнее.

По всем правилам заданной игры в пьесе фигурировала жена-отроковица из породы искательниц профессорских наследств, старая нянька, так сказать, глас народа, битком набитая трухой истертых поговорок, и талантливый аспирант, он же проникательный чекист, зорко охраняющий мир во всем мире. С активной помощью двух последних, то есть гласа народа и его карающего меча, коварный враг в конце концов обезвреживается, хищная отроковица духовно возрождается, отправляясь закалять вновь обретенное мировоззрение на казахскую целину, а окончательно прозревший ученый в финале выходит на авансцену с вдохновенным взглядом, устремленным в атомные дали человечества. Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка!

Владу уже не забыть той давней недели горячечной гонки, в которой дни и ночи сливались в сплошной калейдоскоп лиц, сцен, пейзажей, сменявших друг друга на чистом листе бумаги. В сравнении с этой азартной игрой в словесные поддавки проза окружающего выглядела материей, не достойной усилий духа и игры воображения, как сало на крючке кажется всякой мыши важнее и увлекательнее изучения самой мышеловки. К тому же, ощущение авторской сопричастности к сферам, где, может быть, решаются судьбы государств и народов, облегчало ему переговоры с собственной совестью, так что у возвышающего его обмана имелись и более реалистические мотивы.

После нескольких дней томительного ожидания вездесущий Дубров внезапно настиг его где-то в полпути от редакции к дяде Саше:

— Вас ждут, Владислав Алексеич, ни пуха вам ни пера, но, судя по всему, будем репетировать, — не в состоянии сдержать своего воодушевления, он мельтешил перед Владом, сиял, захлебывался в словах. — Я же говорил вам, что вы ему понравились, он сразу нащупал в вас театральную жилку, недаром он тогда о триппере с вами заговорил, по Фрейду работает, вам, может, покажется — пустяк, случайность, каприз гения, а в результате у нас в портфеле современная пьеса местного автора, теперь ему «заслуженного деятеля» на блюдечке поднесут, помяните мое слово, Владислав Алексеич!..

Томановский встретил его все с той же телеграфной безапелляционностью:

— Вы не Шекспир. И даже не Корнейчук. Но в вас что-то есть. Пьеса состоялась. Будем ставить. Но придется поработать, молодой человек. Искусство — это пот. Прежде всего, хотя не всякий. Лошадь тоже потеет. Что толку. Читка — в следующий понедельник. В одиннадцать. Прошу без опозданий. У меня театр начинается с виселицы. Салют...

Главреж резко повернулся к гостю профилем и, словно древесный лист, ребром по ветру, понесся в полутьму фойе почти без шума, и не отбрасывая от себя тени...

Приходилось Владу читать свои пьесы и после того, и на трупках куда погуще и посановнее, но эта первая его читка так и останется той единственной, о какой ему вообще захочется когда-нибудь вспоминать.

До понедельника Влад ходил сам не свой, даже пить бросил от волнения, в назначенный день встал спозаранку, бесцельно кружил по окраинам в ожидании урочного часа, в волнении же растерялся во времени, поэтому, когда он, вконец растерянный, добрался до места, все уже были в сборе.

Вступительное слово Томановского сразу определило уровень и заинтересованность собравшихся:

— Есть пьеса. Автор перед вами. Будем ставить. Прошу прослушать. Мнение высказывать не обязательно. Все равно ничего умного не придумаете. Людмила Сергеевна, рукодельем будете баловаться в кружке «Умелые руки»! Занятия по воскресеньям от пяти до семи. Ведищев, порядочные алкоголики к одиннадцати утра успевают не только похмелиться, но и протрезветь! Анна Ванна, Густав Саныч, может быть, вы отложите свою бухгалтерию до перерыва? Считать следует до базара, а не после, — и вдруг вскидываясь на шум в глубине сцены: — Что еще там за трудовой энтузиазм в бардаке? Заваливайтесь-ка снова спать. Сон пожарника — лучшая гарантия безопасности. Итак. Начинаем. Внимание. — Стекляшки его пенсне, описав пикирующую дугу над головами слушателей, требовательно уперлись в гостя. — Прошу вас, дорогой мэтр!

Опомнился Влад только в перерыве, зажатый в угол социальным героем Ведищевым:

— Старик, это гениально! — актер стиснул руку Влада, источая ему в лицо аромат ранней похмелки. — Какая экспрессия, какие типажи, прямо горьковский размах, удружил, брат, я тебе такие красочки к образу подкину, зритель под себя кипятком писать будет. Давай, знаешь, подпустим чего-нибудь эдакого, лирического, вроде «На заре ты ее не буди», а? Понимаешь, брат, выхожу это я у тебя в конце первого акта, натурально, «подшофе», соображай, человек переживает, сажусь, понимаешь, за рояль, если у тебя нету, надо поставить, и этак меланхолическим манером начинаю напевать, будто размышляю вслух, — у героя нео-

жиданно оказался довольно приятный тенорок: — «На заре-е-е ты ея-я-я не-с-е буди, на заре-е-е она са-а-ладко-о так спит...» Ух, сыграю!

За Ведищевым последовал «заслуженный артист» Лялечкин, недавно сменивший трагическое амшлу на роли «отцов благородных семейств». Он отчаянно шепелявил, что в его новом качестве только придавало ему убедительности:

— У ваш, батенька, актерские данные, хоть шегодня на шцену, но шледует поработать над дикшией. С дикшией у ваш слабовато, если надумаете, я могу ш вами пожаниматьша. Дикшия в нашем деле — вше, — он заговорщицки потянулся к уху Влада, отчего дряблая шея его напряглась и слегка побагровела. — Я вашего профешора шыграл бы, у меня появилишь мышли по роли, хотелось бы многое обшудить ш вами, но, ражумеетша, в более творшешкой обштановке. Жена будет вешьма рада...

Влад беспомощно улыбался, одобрительно кивал, благодарно пожимал руки, в панике отмечая, что очередь объясняться ему в любви не редает, а разрастается, и начал было терять всякую надежду вырваться, но положение спас директор театра Кныш. Беспцеремонно растолкав цепь вокруг гостя, он брезгливо, словно пыльную портьеру, отодвинул Лялечкина в сторону:

— Ладно, батя, будя, закругляйся, тебя вже со стула ложками вычерпывать надо, у нас на тебя вже боле года пенсионное дело открыто, а ты опять людям глаза мозолить собрался, об ролях хлопочешь, — шефа заметно развозило, поэтому он старался как можно устойчивее расставлять ноги, отчего его и без того приземистая фигура казалась почти квадратной. — Слухай сюда, Самсонов. Не-хай их языками чешут, а ты айда ко мне, я с тобой в момент договор по всей форме составлю, зараз и подпишем, не отходя от кассы, как говорится...

Разумеется, прения высоких договаривающихся сторон, как и следовало ожидать, были продолжены в подвале у дяди Саши, откуда после закрытия они, нагруженные изрядным запасом спиртного и в сопровождении наиболее стойких собутельников, вернулись в ночной театр, где гульба по случаю приобщения неопита к тайнам сценического искусства продолжалась чуть не до третьих петухов.

Где-то за гранью, которая отделяет рядовую пьянку от вакханалии, Ведищев, взгромоздившись на директорский стол, принялся изображать «стриптиз в Париже» (где он, конечно, отродясь не был), потерявший память Епанешников поочередно требовал от каждого ответа на вопрос, как его зовут и где он находится, а ногайский классик А., благополучно пребывавший в начатом им еще полгода тому запое, по-собачьи вперялся угольным взглядом в распаленное лицо Кныша и заученно повторял время от времени: «Так точно, гражданин следователь!»

Но бывший десантник, грузно расплываясь за столом, не обращал никакого внимания на происходящее, глушил стакан за стаканом, а в коротких промежутках между выпивкой восторженно ревел в раскрытые настежь двери, в темноту фойе:

— Бросай яйца на сковородку, глаза сами вылезут!

И плакал навзрыд от расправшего его восхищения.

10

Часто потом, на куда более крутых виражах судьбы, он задавался вопросом, кем и за что была от рождения дарована ему — нищему наследнику московской окраины — способность падать и подниматься вновь, цепко карабкаясь по отвесной спирали жизни, много раз соскальзывая вниз и снова начиная с нуля, чтобы подняться еще раз, уже витком выше к неведомой никому цели? Кто ответит?

Как-то в Германии, в гостях у принца Луи-Фердинанда, он, расчувствовавшись после нескольких кружек баварского, пооткровенничал с хозяином:

— Вот, Ваше Высочество, какие фокусы выделывает с нами история: вы, принц крови, потенциальный кайзер великого государства, встречаетесь за пивом с внуком русского крестьянина, простого хлебопашца.

Тот — высокий и крепкий еще старик с апоплексическим лицом старательно пьющего интеллигента — лишь добродушно хохотнул в ответ и дружески похлопал гостя по плечу:

— Пусть вас это не беспокоит, мой дорогой друг, все мы с этого начинали. Ваше здоровье!..

Может, это и есть ответ? Господи, как поздно мы начинаем о чем-то догадываться!

11

Слух об этой читке на труппе вызвал в редакционных кругах некоторое замешательство и даже, в известном смысле, переполох. Влад по простоте душевной и предположить не мог, сколько уязвленных самолюбий, нереализованных амбиций и скрытых комплексов разбередит он своим микроскопическим успехом! Издательское крыло Дома советов шуршало, словно растревоженный муравейник: как, почему, по какому праву, кто он такой, без году неделя в здешней литературе, не по чину, не по рангу, не по заслугам, и вообще надо проверить, что за птица, откуда взялся и чем дышит?

Заведующий промышленным отделом областной газеты Кунов — лысеющий карлик с вывернутыми чуть не наизнанку ноздрями, маститый, но так и не признанный драматург местного масштаба — на другой день после случившегося затащил Влада к себе в кабинет и, возбужденно бегая из угла в угол, с детской откровенностью обнажил перед ним свою израненную душу:

— Годами бьюсь головой об стену, забыл, когда в последний раз выспался, отбарабаню дневную ляжку и — за стол, на одном кофе, как Бальзак, держусь, а его — это кофе — еще достать нужно, благо я на промышленности сижу, связи есть, а то бы совсем загнулся, только в этом году шестую пьесу заканчиваю и все на самые жгучие темы сегодняшнего дня — укрупнение колхозов, молодежь на производстве, целина, эх, да что там говорить, без дураков будет сказано, стою на переднем крае, как солдат по зову партии, а ты не успел с поезда сойти и, здрасте-пожалста, уже репетиции, — гневный взор его заволокло слезами, подбородок предательски задрожал, а из вывернутых почти наизнанку ноздрей, казалось, вот-вот польхнет серное пламя. — Нехорошо, брат, нехорошо!

Эх, Кунов, Кунов, жалкая жертва неблагодарной Мельпомены, не помогут тебе твои бдения, актуальность тематики и верность партийным постановлениям, а непомерное для твоего большого сердца количество кофе раньше времени сведет тебя в гроб, так и не дав тебе вкусить сладкой отравы театральных оваций! Через несколько лет, завернув по старой памяти в эту чиновничью тмутаракань, Влад наткнется на городском кладбище на мраморную плиту его могилы с надписью от безутешной вдовы: «Какой светильник разума угас!» Как видите, хотя и посмертно, но признание коснулось покойного своим волшебным крылом. Мир праху его!

Майданский приветливо померцал навстречу Владу печальными глазами, озабоченно осведомился:

— Аванс дали? Нет еще? В нашем деле написать — пара пустяков, печатать еще легче, ты попробуй за это деньги получить. Тем более, в театре. Там, я слышал, закон джунглей: кто — кого, ты умри сегодня, я — завтра, кто был ничем, тот станет всем. — По обыкновению, массивное лицо его оставалось непроницаемым, и не понять было, шутит он или говорит всерьез. — Бери их за горло, дружище, они на ходу подметки рвут,хватишься — поздно будет.

Как всегда, из соседней комнаты на голоса выплыл Епанешников и сразу же осклабился, благоухая похмельным амбре:

— А, Шекспир Чехович, поздравляю, с утра ждем с нетерпением, с вас причитается, душа горит, и сердце, извините за выражение, песен просит, — он деловито повернулся к ответсекретарю. — Даня, я с тобой в расчете, в наборе триста строк как одна копейка, моя совесть чиста, как слеза ребенка. Тебе тоже, кстати, не мешало бы пробздеться, дорогой, делу — время, потехе — вечность, айда с нами, мэтр угощает...

У дяди Саши компанию уже ждали, как званых гостей. Едва завидев их, хозяин молча выставил на прилавок две литровых бутылки мускателя и царственно отмахнулся от протянутых ему купюр:

— Сегодня — даром.

Тосты потянулись вереницей, взаимопонимание нарастало по мере выпитого, каждый говорил с каждым и одновременно со всеми вместе, не слыша и не воспринимая один другого, да и не нуждаясь в этом. В общем гвалте заметно выделялся лишь хорошо поставленный баритон Ведищева:

— Искусство призвано возвышать, человек в театре должен забыть о личном и приобщиться к вечному. Мелочи жизни могут волновать только обывателей, тех самых гагар, которым недоступно, ибо рожденные ползать, как говорил поэт, летать не могут. Великая мысль, я вам должен сказать, даже для ученых. Красота, кто-то тоже написал, мир спасет, так сказать, красота искусства. Современный человек смотрит вперед, а не назад. Мы, если по большому счету, эпоху на себе тащим. Куда, спрашиваешь? А куда притащим, там и останется. Наливай...

Очнулся Влад в незнакомой, полусовершенной ночником комнате. Предельным усилием памяти он попытался было восстановить цепь событий минувшего дня, и что-то забрезжило уже, но тут же, будто спасительный ориентир во тьме, над ним возник голос Майданского:

— Чаю или похмелиться?

— Если не трудно, и то, и другое, только в обратной очередности, — цепь смыкалась, возвращая его к действительности. — Сколько сейчас?

— Ночь. Третий час.

— Чего не спишь?

— Жена у хахалы, дети у бабки, такая жизнь.

— У всех одинаковая, шеф.

— Если бы.

— Чего так?

— Тебе это трудно понять.

— Почему?

— Ты русский, а я еврей, и этим все сказано.

— Я — русский, но ты — еврей — мое прямое начальство.

— Все верно, но если бы ты был на моем месте, тебе бы это меньше стоило, намного меньше, вот в чем разница.

— Где же выход?

— Выход есть, только у этого выхода много часовых во главе со Змеем-Горынычем. Помнишь, как в детской сказке говорится: «направо пойдешь, налево пойдешь» и так далее, — мерцающие глаза его вдруг озорно засветились. — Хочешь байку на эту тему? Славная байка.

— Валяй, шеф...

ВЕЧНЫЙ ЖИД В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Жил-был, извини, так всегда начинается, один бедный еврей. Действительно бедный, потому что среди бедных евреев есть очень богатые люди. Жил он где-то между Бердянском и Пятихатками, в коммунальной квартире со своей женой, предположим, Розой и целым выводком детей, мал мала меньше. Сам понимаешь, жизнь его была полна неприятностей и долгов, а будущее не сулило ему ни повышения зарплаты, ни, тем более, выигрыша в лотерее. Как ты уже догадываешься, целыми днями в его доме стоял крик и причитания затурканной жены. От всего этого домашнего бедлама, а также от жизненных невзгод и безденежья у нашего Гриши, давай назовем его так, хотя он вполне мог бы называться и Мишей, и Тишей, и вообще как нам и ему вздумается, отчаянно болела голова, а душа разрывалась от жалости и печали, и невозможности что-либо поправить. Год был похож на год, день на день и час на час, как, извини, однойцевые близнецы; по мере увеличения платы за электричество рождались новые дети, долги росли в обратной пропорции к доходам, наш Гриша безнадежно старел, и Роза, само собой, не становилась с годами красивее или добрее. Что же,

согласись, остается делать человеку в его положении, если не мечтать? И он, бедолага, мечтал, упиваясь своими мечтами, как алкаш водярой или наркоман анашой.

Правда, при этом Грише приходилось еще немножко и шить, чтобы прокормить свою ораву, но, тем не менее, и во время работы он не переставал отдаваться сладким мечтам, которые скрашивали его каторжную жизнь. Ему доставляло наслаждение постоянно находиться в том волшебном мире, где не оставалось места для мирской суеты и грубой прозы. В разгоряченной голове Гриши роились такие манящие видения, что возвращаться к пошлой действительности было бы с его стороны, по крайней мере, глупо. В мечтах он путешествовал по городам и весям экзотических стран, пересекал солнечные моря и океаны, изнывал от зноя в Сахаре и трясся от холода на Южном полюсе. В окружении красивых женщин он пил прохладное вино в притонах Сан-Франциско и делал крупные ставки в казино на Лазурном Берегу. В часы самопознания Гриша обсуждал вопросы жизни и смерти с Главным раввином, Папой Римским, Вселенским патриархом, индусскими браминами и другими заинтересованными лицами. Гриша поднимался в небеса и опускался на дно морское на пару с самим Жаком Кусто. Когда ему надоедало быть Гришей, он становился то белым Вальтером или Франсуа, то черным Боа Тумбой, то желтым Чаном, а то и гостем с «летающей тарелки» безо всякого цвета и имени. По малейшему гришину капризу мир в его воображении принимал самые причудливые формы и очертания. Так и пребывал наш Гриша, или Миша, или Тиша под этим кайфом до поры до времени, до той самой поры, пока его, как говорится, жареный петух не клюнул, то есть, когда жить стало совсем нечем. Огляделся он тогда и увидел вокруг себя тлен и запустение, нищету нищенскую, кучу вечно голодных детей, давно немолодую жену, и сердце его возрпало к Всевышнему: «Неужели, Господи, такое мое сиротское счастье, что суждено мне околевать в этой окаянной дыре?» От одной этой мысли Гриша уже готов был впасть в окончательное уныние, но отчаяние неожиданно вызвало в нем благородный протест. «Нет, — сказал он себе, — ни за что, никогда, ни за какие коврижки я не останусь здесь ни одного дня больше. Уйду, уйду, куда глаза глядят, лучше уж сдохнуть в дороге, чем в этой коммуналке!» Сказано — сделано. Спозаранку, чтобы не дай Бог не разбудить домашних или соседей, он поднялся, сложил в авоську кусок черного хлеба, луковицу, тряпочку с солью — больше, собственно, и складывать было нечего — и потихоньку вышел из дому. Дорогу, как сказано, осилит идущий. Шел он себе по этой самой дороге и радовался: солнышко светило, травка шелестела, птички верещали, всякая ползучая и прыгучая мелюзга под ногами путалась, живи — не хочу. «Господи, — радовался про себя Гриша, — как же это я до сих пор сидел, ушами хлопал, когда кругом благодать такая, сколько лет потерял!» К вечеру он подустал и решил закусить, чем Бог послал, а затем соснуть для пущей бодрости духа. Присмотрел стожок при дороге, устроился, насытился слегка своей нехитрой снедью и прилег на чьм сидел, а во сне, известное дело, перевернулся на другой бок, чего утром сам не заметил, пошел себе дальше, не замечая, что возвращается обратно. То же солнышко светило, та же травка поигрывала, та же мелюзга под ногами суетилась, но, что еще чуднее, дома, что встречались ему на пути, как две капли воды походили на вчерашние. И даже городишко на горизонте подозрительно смахивал на тот, из которого Гриша вчера ушел. «Надо же, — удивился путешественник, — куда ни ходи, все одно и то же, чего было только ноги бить!» Идет дальше, входит в город, смотрит, и впрямь, как в зеркале, — его местечко, а скоро и дом перед ним вырос — точь-в-точь его коммуналка. Навстречу ребятишки высыпали точь-в-точь его собственные, да еще кричат: «Папка, папка, где ты был так долго, мамка уже и сапоги твои выходные продала!» За ребятишками — женщина — копия его Розы. «Где ты шляешься, горе мое, — запричитала она, завидев Гришу, — мне не на что купить даже картошки!» И тут Гриша, или Тиша, или Миша окончательно капитулировал: «Стоило мне пускаться в такую даль, чтобы нарваться на то же самое? Дудки, с меня хватит, от добра добра не ищут, останусь-ка я здесь, а то еще помрешь в дороге, похоронить будет некому!» И Гриша остался в этом до-

ме, и прожил в нем до глубокой старости, и можешь мне верить, можешь нет, но всю остальную часть жизни он тосковал по родине. Мораль, если хочешь, проста, как апельсин: в наше сугубо интернациональное время, тем более в нашей, лишенной расовых предрассудков стране, Вечный Жид уже не шляется по свету в поисках родины, а лишь тоскует по ней. Вот и все. Теперь ты можешь спать.

— Нет, шеф, я, пожалуй, пойду.

— Среди ночи?

— Не заблужусь. А за байку спасибо, на всякий случай запомню.

— Носи на здоровье, Самсонов, как говорится, прочитал сам, передай товарищу.

— У меня не задержится. До утра, шеф.

— Как хочешь, не держу, не маленький — без нянек обойдешься.

Провожая гостя до двери, хозяин искоса посвечивал в его сторону искательным взглядом, словно ожидая от него какого-то последнего, решающего слова, которое бы окончательно определило степень и прочность их отношений в будущем, но тот не откликнулся, и они расстались молча.

Влад нырнул в ночь, как в стоячую воду, и поплыл сквозь нее без направления и цели. Город спал, застегнувшись на все крючки и запоры, — тесный, приземистый, скрытный, равнодушный ко всему, что происходило за его пределами и вне его интересов. И если среди этой карточной россыпи глухих ставен где-то маячило светящееся пятно, можно было с уверенностью определить: или милиция, или госбезопасность, или, в лучшем случае, сторожевой пост складского помещения. «И куда ни пойдешь, — не выходила у него из головы байка Майданского, — везде одно и то же, не страна, а загон».

12

Та ночь через много лет всплыла в его памяти, но уже в другой стране и при иных обстоятельствах...

Они сидели у камелька в загородном доме под Гамбургом, где хозяин, обременительно богатый и все изведавший за свои неполные семьдесят немец, печально глядя в затухающий огонь, рассказывал Владу долгую историю своей жизни, прожив которую, он наблюдал теперь как бы со стороны.

Господь, казалось, одарил его всем — здоровьем, деньгами, славой, любящей женой и красивыми детьми, но лишил главного — покоя. Того покоя, когда человек может поздним вечером безбоязненно лечь в собственную постель, чтобы утром спокойно проснуться для обычных дневных забот и волнений. К примеру, выйти из дому, заняться любимым делом, а после работы заглянуть к родственникам или знакомым, перекинуться словом с соседом или лавочником, посидеть в ближайшем баре за кружкой пива или отправиться с женой в театр. Да мало ли что может захотеться человеку, если он свободен, живет на своей земле, в поте лица зарабатывает свой хлеб, а совесть его чиста и помыслы безмятежны.

Но дав ему все, Бог обошел его этими маленькими радостями, без которых жизнь человеческая оскудевает, словно морская вода, прошедшая сквозь опреснитель. Лучшие годы он прожил и продолжал жить дальше в, может быть, сладком, но, без сомнения, удушающем аду.

Его обкладывали, как зверя, — методично и мстительно, не давая ни отдыха, ни передышки. Ложась спать, он не был убежден, проснется ли живым, а просыпаясь утром, сомневался, дадут ли ему дожить до вечера. Он мог выбраться из дому только в сопровождении наемных «горилл» или под конвоем частной полиции. Когда он приезжал на работу или к родственникам, цепь вооруженной охраны разворачивалась в радиусе чуть ли не целого квартала. Театральное действие ему приходилось разглядывать из-за частокола полицейских затылков, а о том, чтобы запросто посидеть в пивном баре, не могло быть и речи, ибо в таком случае для обычных посетителей просто не осталось бы места.

Этого человека ненавидели за все, чем одарил его Бог, но кроме прочего и за

то, что, имея столько, он еще и позволял себе говорить людям правду. Такой роскоши общество по своей человеческой слабости не прощает никому, тем более богачу, и оно мстило ему за эту роскошь со сладострастием оскорбленной котки.

А он, считая богатство даром свыше, щедро раздавал деньги, не заглядывая в душу или послужные списки просителей. Разорившиеся дельцы и соломенные вдовы, инвалиды и пионеры-киббуцники, эмигранты со всех концов света и политические неудачники, включая беглых коммунистов, тоскующих по социализму «с человеческим лицом», — никто из них не получал у него отказа в утешении или помощи. Но чем шире открывались его карманы и сердце для всех страждущих и промышленяющих, тем яростнее накалялась вокруг него стена злобы и непонимания: бочка людской зависти, как известно, бездонна...

Камин угас, пугливыми тенями растекаясь по стенам и предметам. В наплывающих сумерках лицо хозяина тускло, отдалялось, меркло, оставляя гостя наедине с отрешенно звучащим голосом:

— О, если бы вы знали, Владислав, во что превратилась Германия сразу же после этой злосчастной войны! Города лежали в руинах, а в наших деревнях поля зарастали сорной травой. Миллионы немцев бродили по развалинам в поисках еды и топлива, стараясь не вспоминать о прошлом, но и не думая о будущем. Казалось, что эта страшная расплата за наши грехи будет продолжаться вечно. Я был тогда еще вполне молодым человеком, но если вы спросите меня, о чем я мечтал в те дни, я мог бы вам ответить, что почти ни о чем определенном. В те поры, помнится, меня преследовало одно и то же видение: ночной лес, и я иду сквозь него, а где-то впереди мерцает огонек одинокой сторожки, где, как мне грезится, меня ждут и где я найду, наконец, приют и надежду. Иногда по ночам мне это грезится и теперь. С вами случалось что-либо похожее, Владислав?..

Гость не решился сказать хозяину в тот сумеречный вечер, что в стране, где он вырос, и в тех лесах, через которые ему пришлось ходить, огонек впереди почти всегда сулил лишь опасность или полную гибель и что, едва завидя такой огонек, Влад бежал от него, как от чумы или пущей напасти. В наши чудные времена даже пословицы сами выворачиваются наизнанку: что немцу здорово, то русскому — смерть!

13

Перед самой премьерой Влада вызвали в обком партии. Предусмотрительность, с какой гостя встретила секретарша в отделе пропаганды, обнадеживала, но, по привыкнув за годы толчеи в служебных кулуарах к ветреной изменчивости руководящих капризов, радоваться он не спешил. Кроме того, жизнь давно научила его золотому правилу всегда готовиться к худшему, чтобы потом не разочаровываться. Как говорится, уж не жду от жизни ничего я.

— Заходи, заходи, именинник, — заводелом Сладков даже поднялся и вырулил ему навстречу, чего раньше еще не бывало. — Говорят, головокружение от успехов наблюдается, зазнался, нет времени к старшим товарищам зайти, посоветоваться! — добродушно, слегка бабье лицо его улыбочиво растеклось, белевые глазки в частых складках анемичной кожи светились покровительственным расположением. — Как от милиции выручать, так к Алексей Федорычу, а как по душам поговорить, так к дяде Саше, вот она, людская благодарность!

— Я уж и дорогу туда забыл, Алексей Федорыч, — облегчаясь сердцем, пробовав отшутиться Влад, — вкуса не помню.

— Говори, говори, — беззвучно заколыхался тот, — думаешь, ты один такой умный, мы тоже не лыком шиты, у нас разведка работает, как часы. Ты, Самсонов, уже сегодня туда заглядывал, могу даже сказать, чего выпил и сколько, — Сладков прицелился в собеседника смеющимся взглядом, явно собираясь сразить его степенью своей осведомленности. — Двести мускателя и столько же изабеллы, итого — два стакана. Правильно?

Влада так и подмывало озорное желание осадить зава, посрамив его вездесущую разведку сообщением, что сегодня он выпил уже не два, а четыре стакана,

но на всякий случай поостерегся, как бы его хохма не обернулась себе дорожке, предпочел сдаться:

— Ваша взяла.

— То-то, — самодовольно откинулся тот на спинку кресла, — родина видит, родина знает. Ладно, шутки в сторону. В одиннадцать ноль-ноль тебя примет Василий Никифорович. Не подкачай, у него, по-моему, на тебя виды, поменьше разговаривай, побольше слушай, от молчания еще никто не умирал, фантазии свои оставь при себе, не забывай, что разговариваешь с первым секретарем областного комитета партии, это я тебе, как отец, говорю. Понял? Тогда пошли...

Тесна земля, Алексей Федорович, тесна земля: через несколько быстротекущих лет судьба снова сведет вас в другом российском захолустье — в Калуге, где после разных ведомственных превратностей ты осядешь директором областного издательства и однажды, выпустив на свою голову в свет скандальный сборник, плод любви несчастной дружины непризнанных гениев столичной литературы, поднятый затем на щит реакционными кругами догнивающего (но до сих пор почему-то все еще не догнившего) Запада, подпишешь окончательный приговор своей несостоявшейся номенклатурной карьере. Так проходит земная слава!..

Расстояние из одного крыла здания в другое — противоположное — было подобно сужающемуся тоннелю: по мере хода шаги становились тише, голоса приглушеннее, освещение сумрачней. Там царь Кащей, там златом пахнет, русалка на ветвях сидит.

Русалка и впрямь выплыла им навстречу, едва они появились в приемной первого секретаря:

— Здравствуйте, товарищи, — открывая перед ними дверь в тамбур кабинета, она вильнула перед ними хвостом серебристого платья, — Василий Никифорович вас ждет.

Под ее волооким взглядом и подхваченный волной исходящих от нее русалочьих запахов, Влад и скользнул следом за Сладковым в открытую настеежь дверь, одобрительно отметив про себя, что вкус у начальства по этой части, видимо, имеется.

Размеры кабинета, как, впрочем, все присутственные места в городе, находились в обратной пропорции к более чем скромной областной территории, состоявшей из трех крошечных районов, что, тем не менее, не умаляло патриотических амбиций местной администрации. В самой его глубине, на дистанции, достаточной, чтобы всяк сюда входящий сразу почувствовал разницу между собой и государством в лице очередного хозяина, располагалось нечто похожее на поле для настольного тенниса, за которым восседал (именно восседал, а не сидел) как бы в некоей туманной дали вождь области Василий Никифорович Фирсов — роговые очки на бульдожьей расплюснутом носу, короткая, в бульдожьих же складках шея, женоподобный бюст под чесучовым кителем — сосредоточено углубленный в изучение разложенных перед ним и, судя по его сосредоточенности, весьма важных бумаг.

Выждав паузу, в течение которой, в строгом соответствии с общепринятой традицией, приглашенные должны были успеть оценить значительность оказанной им чести, Фирсов, наконец, поднял от бумага лобастую голову, отрешенным взором скользнул по вошедшим и жестко уперся во Влада:

— Не по таланту пьете, товарищ Самсонов, — он решительно захлопнул папку перед собой, слегка придавив ее тяжелой ладонью. — Да, да, не по таланту. Не знаю, как там у вас с книгой стихов, а вот книгу протоколов, — указательный палец его постучал по папке, — хоть сейчас в печать, тут все ваши художества в милицейском стиле изложены, лучше некуда, кому другому с такой творческой натурой сидеть бы уже не пересидеть. Да вот и у товарищей из комитета, — кивок куда-то в угол от себя, — на вас материалов больше, чем достаточно...

Только тут оторопевший от такого начала Влад выделил для себя цыганистого обличья полковника, безучастно маячившего в простенке между дальних от двери окон. Полковник сидел там на краешке стула, положила руки на колени, с одобрением кивал в такт хозяйской речи, но голоса не подавал в ожидании знака

или очереди. Казалось, они разыгрывают сейчас здесь какой-то заранее отрепетированный спектакль. «Чего-то затевают, — пронеслось в нем, — неспроста это».

А вслух сложилось:

— Вам виднее, только...

— Ладно, — не дал ему договорить Фирсов, видно, удовлетворенный его первым замешательством, — садитесь, разговаривать будем, — зайчики его очков снова скользнули в сторону полковника. — Давай-ка, подсаживайся поближе, Иван Григорьич, вместе посоветуемся, как парню жить-быть дальше, у тебя опыт, дай Бог всякому, пускай парень послушает, — выждав, пока тот подсаживался, он опять подступил к Владу. — Мы тут обменялись на бюро, есть мнение двигать молодежь на руководящую работу. Пора тебе, товарищ Самсонов, за ум браться, — незаметно переходя на «ты», он этим как бы уже приобщал собеседника к ордену, сонму избранных, тайная тайных общества, что, наверно, по его мнению, тот обязан был оценить и принять к руководству, — погулял, покуражился и довольно. Думаем выдвинуть тебя заведующим лекторской группой обкома комсомола, — и пристально проник в него, словно бы оценивая произведенное впечатление. — Пойдешь?

— Только я ведь не комсомолец, — откровенность приманки располагала его к осторожности, — не вступал еще.

— Это не твоя забота, — он коротко переглянулся с полковником, лицевые складки его тронуло нечто вроде улыбки. — Как это там в твоей епархии говорят, Иван Григорьич? — женоподобный бюст Фирсова беззвучно заколыхался, колыхание это, наподобие морской волны, тут же передалось собеседникам, и те, в свою очередь, заколыхались вместе с ним, объединенные в этот момент дареным только им, избранным, взаимопониманием. — Справишься, поддержим, дальше пойдешь, если что, посоветоваться надо, не стесняйся, заходи, меня нет — к Алексей Федорычу, к Ивану Григорьичу тоже не мешает почаще заглядывать. На этом, думаю, — выразительно блеснув очками в сторону полковника, он снова постучал указательным пальцем по крышке папки, — пока поставим точку, но не совсем, забудешь — освежим в памяти, приведем в чувство. Понял? Лады. Твое мнение, Алексей Федорыч?..

Влад ликующе вибрировал: Фортуна во весь горизонт распушила перед ним свой радужный хвост. Золотая труба удачи выводила у него в голове солнечные мелодии. Ковровая дорожка в кабинете, ведущая от стола к двери, виделась ему сейчас лишь началом того победного пути, продолжение и конец которого терялись где-то в заоблачной дымке: лови момент, малыш, не упускай случая, одно-ва живем! И хотя наличие коварной папочки под тяжелой ладонью областного вождя омрачало полную безмятежность предстоящего взлета, жизнь в перспективе сулила с лихвой возместить эту досадную издержку роста. Нам нет преград на море и на суше!..

Прощаясь, вождь поднялся, что само по себе уже было большой честью для всякого смертного в пределах этого кабинета, и протянул Владу короткопалую руку:

— В двадцать три года, Самсонов, я еще у станка вкалывал, а ты уже в партийной печати сотрудничаешь, но заруби: кому много дано, с того много и спрашивается, подведешь — на себя пеняй.

И осел на место, сразу же монументально окаменев женоподобной грудью, хоть бери его в портретную раму или бюстгальтеры примеряй: государственная гора приготовилась встретить очередного изнывающего в приемной Магомета.

Влада всегда озадачивало искусство власть имущих производить на собеседника впечатление значительности и силы. В разговоре с ними ему всегда казалось, что каждый из них знает что-то такое, чего ему, не вхожему в их магический круг, знать не дано и не положено. Он никак не мог взять в толк, как, каким образом, какими средствами достигают они подобного эффекта. Через десять лет случайно на Цветном бульваре в Москве Владу доведется встретить того же Фирсова, и он не найдет в этом жалком пенсионере, доживающем свой век в столичной коммуналке и давно забытом даже собственными детьми, ничего, что

напомнило бы ему того монументального владыку, чьего движения бровей было когда-то достаточно, чтобы решить его, Владову, судьбу по своему усмотрению. И только ли одну Владову! Обрадованно узнав бывшего подопечного, тот будет долго обеими руками трясти его руку, заискивающе заглядывать в глаза, зазывать в гости, а в конце концов не выдержав, расплчется у него на плече (Лишь до крови пообломав бока в сановных коридорах и съев с иными не один пуд соли, он с течением времени поймет, что их сила не в них самих, а в мистике той эпохи, в страхе власти, которую они, сидя на своих местах, представляют. Она отражается в них, наполняя тем иллюзорным, но тем не менее впечатляющим содержанием, какое улечивается, едва в них отпадает нужда. Иди, пали в белый свет, как в копеечку!..).

Первый, с кем Влад столкнулся, выходя из обкома, был Епанешников. К Владову удивлению, красочный рассказ о только что случившейся аудиенции не вызвал у того ответного восторга.

— Да, Владислав Алексеич свет Самсонов, — насмешливо пожевал тот губами, — далеко пойдешь, если тебя белая горячка не остановит. — И вдруг отвердел ликом и уже без обычного своего ерничанья спросил, будто ударил наотмашь: — А зачем?

14

Поклон тебе, Леня, за урок, хотя и не сразу он тогда отрезвел от твоего отпора, долго еще затем продирался сквозь обиду и раздражение на всех и вся, но вскоре опаматовался и, оглядываясь впоследствии назад, не раз мысленно благодарил тебя за науку, которая сгодились ему и на чужбине, где уже не партийные бонзы советской провинции и не по должности, а вполне respectable европейские божки местной интеллектуальной мафии и по искреннему убеждению сулили русскому неофиту золотые горы с кисельными берегами впридачу за ту же, примерно, цену: промолчи, слукавь, не вмешивайся. Только, видно, не в коня корм, глаз у него так устроен, не к синице в руке, а к журавлю в небе тянется.

15

В день премьеры с утра все в театре ходило ходуном. Кныш, трезвый и принаряженный, с озабоченным видом курсировал в обком и обратно, загадочно поглядывая на всех и усмехаясь. Улучив свободную минуту, он затащил Влада в кабинет и пошел на него полковничьим животом:

— Слухай сюда, Алексеич, ты ишшо под стол пешком ходил, когда я с парашютом на немецкие штыки прыгал, как отец тебе говорю, ты меня хучь сегодня послухай: до вечера ни-ни, ни капли чтобы в рот. Все будут, вся головка, на тебя большущий глаз положен, ты теперь, как сапер: чуть в сторону — и кранты тебе, а если не дурак будешь, сразу — в дамки. Ясна дурьей голове моя диспозиция?

И хотя эта самая «диспозиция» была Владу еще яснее, чем директору, клятвы ему хватило только до встречи с Ведищевым.

— А, именинник, — едва завидев его, заорал тот, — сегодня-то с тебя вдвойне причитается, вся пьеса на мне, хочу — казнь, хочу — милую, айда к Сашку, начнем помолясь!

— Да ведь тебе играть!

— Запомни, трезвый я не работаю, трезвый я отдыхаю, хотя, честно тебе сказать, отдыхать мне некогда, себе дороже, — отрезая ему пути для отступления, тот подталкивал и подталкивал его к выходу. — Понимаешь, — толковал ему актер по дороге, — в трезвой игре огня нет, вдохновения, так сказать, искры природы не чувствуется, сила духа оскудевает. Трезвый творец это бесплодная смоковница, евнух и даже хуже. Помню, как-то принял я восемьсот без закуски перед выходом, вышел, слова, понимаешь, не помню, что играем, между прочим, тоже, но когда дали занавес, зал лежал, а главреж руки мне на сцену прибежал целовать, ну, сам понимаешь, я ему так поцеловал промеж рогов, что его по-

том водой отливали, в общем, уволили меня тогда по сорок седьмой ге, без права работать в театре, только в этой тмутаракани и оклемался...

У дяди Саши все раскручивалось, как по заезженной пластинке: конечно же, в темном углу торчали аспидно-черные глаза ногайского классика, затем появился Епанешников, как черт из-под стойки выскочил Дубров, даже неизменные Х. Х. с А. Б. наперевес со своими подстрочниками по очереди сменили друг друга у их столика.

Кончилось тем, что на обратной дороге в театр Ведищев во все горло изображал, как он будет сегодня вечером «класть зал» своим исполнением. «На заре ты ее не буди», — Дубров нежным тенорком подпевал ему, а тянувшийся за ними следом Епанешников нудил у них за спиной:

— Жрецы хреновы, нажрались в день премьеры, пижоны вшивые, до вечера не дотянули, теперь на банкете вам даже лимонаду нельзя давать. Боже мой, что за поколение, что за нрав, что за мужские правила, наконец!..

Кныш, выкатившийся им навстречу, даже дар речи потерял, только руками махал перед собой, как бы пытаясь отвести от себя кошмарное наваждение, а случившийся тут же Томановский выверился к ним профилем, втянул в себя исходящие от них запахи и презрительно скрестил руки на груди:

— Так, — сквозь его медальность отчетливо проглядывалось холодное бесенство. — Вы, Ведищев, завтра же увольняетесь без выходного пособия, теперь вам прямая дорога в сельский клуб билетером, больше вы ни на что не способны, — он клюнул глазом в сторону директора. — До спектакля два часа, срочно тащите этого недоделанного Мочалова в баню, а вы, — это уже касалось Влада, — Шекспир районного масштаба, завтра со мной в обком, единственное, что я мог бы сейчас сделать, это нарвать вам уши.

И здесь Влад почувствовал, как поднимается в нем та темная всеподавляющая ярость, от которой у него всегда, сколько он себя помнил, темнело в глазах и жарко перехватывало дыхание. В такие мгновения он переставал владеть собой, и горе тому, кто тогда вставал у него на пути:

— Слушай ты, областной Станиславский...

Но тот, уже, видно, сообразивший, чем этот разговор может для него кончиться, мгновенно улетучился, бросив на ходу уже откуда-то из глубины фойе:

— Хорошо, поговорим в обкоме...

С этим самым Томановским его еще сведет дорога, и не раз, хотя жизнь у них сложится по-разному, тот кончит театральную свою судьбу нелепо и жалко, чуть ли не попавшись на мелкой краже в майкопской драме, у них еще будут и неожиданные ссоры и куда более неожиданные сближения, но, тем не менее, этого человека он всегда будет вспоминать добрым словом: он все-таки получил от него больше, чем потерял.

Из бани Ведищева привезли более или менее на ногах. Кныш возился с ним не хуже хорошей няньки: закрыл его у себя в кабинете, поил чаем, достал для него в обкомовском буфете холодного нарзана, кормил бутербродами с икрой, бегал вокруг него и все причитал, причитал жалобно:

— Как же тебя, Миша, угораздило, ты же меня, лучшего своего друга, под монастырь подводишь? Сколько разов я тебе говорил, отыграл свое, хоть залейся, я сам по этой части мастер, но племяра же, начальство явится, куда годится, скажи? Непорядок это, Миша, а все начнут, тогда хоть театр этот занюханый разгоняй. Сыграешь сегодня, все тебе спишется, никуда я тебя не отпущу, кто мне передовые роли играть будет? Ромка, что ли, с его рожей? Я у начальства в доверии, не отдам на распыл, выручу, только ты мене сегодня выручи, не подкачай.

Тот блаженно мычал в ответ, потягивал чаек под обкомовские бутерброды, и не понять было, чему он больше радуется — даровой закуске или избавлению от завтрашнего рокового для него свидания с отделом кадров.

Но театральная Фортуна оказалась гораздо изобретательнее директорского рвення. Где-то за полчаса до начала, когда тревоги Кныша окончательно поулеглись, на пороге кабинета, словно призрак в лунную ночь, вырос взмочаленный

помреж Пыжков — тщедушный очкарик из недоучившихся студентов — и плачуще возопил:

— У Лялечкина геморрой в тяжелой форме! Он двигаться не может! Что делать, Дмитрий Степаньч!?

Это было слишком даже для бывшего десантника. С завывающим ревом Александра Матросова, решившего закрыть собою амбразуру фашистского дота, он бросился к двери:

— Еморой, говоришь, в тяжелой хворме, говоришь, говоришь, двигаться не может! Я ему такую свечку в задницу запузьюрю, что он у меня не двигаться — прыгать будет и на стометровку побегить, что тебе твой Куц! Он у меня, козел, раком играть будет, мать твою так, в отца, в бога и в три погигбели!

Их вместе вынесло из кабинета с такой ураганной стремительностью, что можно было подумать, будто это именно о них был написан знаменитый, но весьма печальный роман «Унесенные ветром».

— С меня этого сумасшедшего дома тоже хватит, — вставая, отнесся Влад к все еще блаженствующему в чайной нирване Ведищеву, — пойду прогуляюсь перед игрищем.

Театр фасадом выходил на городской пятачок, служивший местом вечерних гуляний, где, как на небесах, разрешались браки и разводы, новые встречи и новые последствия таких встреч.

Плотный людской поток бесцельно, на первый взгляд, тек вокруг чахлого скверика, но опытные глаз и ухо сразу улавливали в этом живом монолите сложность его подспудной работы: что-то похожее на кружение муравейника, в котором все вместе кажется бессодержательным, а каждое движение в отдельности имеет для посвященного конкретные смысл и значение. Это были одновременно смотрины, выставка мод, атлетические состязания, выборы мисс Черкесск, детективные поиски, театр, полет в открытом пространстве, замкнутое уединение, чистое искусство и даже, если хотите, тараканьи бега. Сколько раненых самолюбий, несбывшихся надежд, несостоявшихся самоутверждений и растоптанных гордостей погребалось здесь каждый вечер под собственными обломками! Да минет меня чаша сия!

Влад по привычке втек в этот круговорот и мгновенно растворился в нем, включаясь в его магическую игру. Сегодня в ней он чувствовал себя если и не основным призером, то, во всяком случае, одним из них: над главной аллеей, по которой двигался поток, был перекинут рекламный транспарант: «Владислав Самсонов. Волчья тропа. Психологическая драма»...

Постой, постой, мой мальчик, задержи дыхание и набери побольше воздуха, чтобы встретить ее сейчас на чистом листе бумаги, как ты встретил ее тогда, там, на городском пятачке!..

Она увиделась ему в скрещении света и тени — игры вечерних фонарей и листвы деревьев, случайно выхватывающей из толпы первые попавшие в их фокус лица. На вид ей было не больше двадцати, хотя потом, когда руки их встретились, она сказала ему, что она — старая женщина, и что ей уже целых двадцать три года.

Это маленькое и невольное кокетство было, если ему сейчас не изменяет вкус или память, единственной фальшивой нотой в ее поведении по отношению к нему за те немногие часы, какие они провели в этот — и, увы, последний — вечер вместе.

Для своего возраста она выглядела несколько полноватой, но в ее манере двигаться, говорить, искоса поглядывая на собеседника с необидной усмешечкой из-под полуопущенных век, сквозило что-то такое притягательное, от чего у Влада при всяком ее слове-взгляде гулко опадало сердце.

— Меня зовут Фая, — все с тою же усмешечкой предупредила она его вопрос, — а вас я знаю, поэтому считайте, что мы уже знакомы.

...Затем оказалось, что Фая с подругами как раз собралась на его премьеру, что стихи его, из тех, которые ей доводилось читать, ей в общем (это ее «в общем» его слегка укололо) нравятся, что она учится в московском университете на истфаке, а сюда лишь приезжает на каникулы и что, если у него есть время и

желание, они могли бы встретиться сразу после спектакля и поговорить обо всем подробнее.

Разумеется, Влад отвечал девушке в том же духе, только в обратном порядке, то есть, что времени и желания, чтобы встретиться с ней, у него хоть отбавляй, что стихи свои ему нравятся тоже лишь в общем (здесь он откровенно слукавил из одного только желания ей понравиться), что мог бы даже, ради продолжения вечера с ней не пойти на собственную премьеру и что, если она этого хочет (чего она, конечно же, не захотела, горячо запротестовав), то он к ее услугам. В конце концов они расстались только в фойе, откуда она отправилась в зал, а он, окрыленный, за кулисы, чтобы там в окружении сочувствующей труппы ждать своей авторской участи.

Но того, что творилось на сцене, Влад не мог себе вообразить даже в самых худших предположениях. Так и не протрезвевший окончательно Ведищев вместо авторского текста нес со сцены такую несусветную ахиною, и нес ее с таким ужасающим завыванием, что от стыда и обиды Владу каждую минуту хотелось плакать, выскочить на сцену, чтобы бить мерзавца, пойти в буфет, выпить до бесчувствия или, на худой конец, провалиться сквозь землю.

Партнеры, впрочем, выглядели ничуть не лучше. Лялечкин с искаженным болью лицом, стараясь как можно меньше двигаться, путал все мизансцены и шепелявил так тихо, что половину его отсебятины вообще не было слышно в зале, причем при одном взгляде на него угадывалось, что такая геморроидальная развалина не то что атомной бомбы, а вообще ничего, кроме манной каши, изобрести не может. Героиня — Степанова, — перед самым спектаклем расставшаяся с очередным любовником и, как всегда, демонически переживавшая очередной разрыв, вообще не соображала, на каком она свете находится, и лишь надрывно стонала в паузах между репликами, какие тоже не имели никакого отношения к каноническому тексту. Положение пытался как-то спасти чекист-аспирант Дубров, но делал он это так беспомощно и бездарно, что вызывал у всех одну только жалость, а в это время ОНА сидела в зале! О, если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют!

К его удивлению, стоявший рядом с ним помреж Пышков, удовлетворенно потирая руки, дышал ему в ухо запахом гнилых зубов:

— Алексеич, а? Что творят, черти полосатые? Мишка еще гримировался, лыка не вязал, а смотри, что творит! Что значит — талант, не пил бы он по-черному, давно бы в Москве гремел! А Людка, Людка, Алексеич, ведь сам своими руками перед выходом от йода молоком отпавал, целый пузырек махнула, а будто ни в одном глазу! Богиня! Ермолова, как пить дать! А Петро-то, а, Алексеич, моторный актер, в любом спектакле незаменим! И старик тоже, хоть с гермодем, а тянет, тянет, Алексеич?

Аплодисменты начались уже в первом акте и шли по нарастающей до самого конца, пока не обратились в настоящую овацию. Но по мере их нарастания Влад вдруг почувствовал, как в нем закипает опустошающая ярость, от которой тихо кружилась голова и холодели кончики пальцев. Ему тогда еще не дано было понять источника ее происхождения, но у него возникло такое ощущение, будто его мелко надули, заставив сделать какую-то непростительную гнусность, а теперь вот хотят заплатить за эту гнусность шумной, но пустой дешевкой.

Она — эта ярость — не оставляла его и на сцене перед аплодирующим залом, и потом на банкете, когда все наперебой лезли к нему чокаться или целоваться, включая самого Василия Никифоровича, который даже позволил себе фамильярно расслабиться перед ним:

— Эх, Владислав Алексеич, по правде говоря, я ведь тоже в молодости баловался, иные говорят, что и надежды подавал, но партийная работа это вам не фунт изюму, всего человека от человека требует, да...

А его первый протезер и нынешний ненавистник, заочник Литинститута, поэт-переводчик Седугин сам подошел к нему со стаканом лимонада:

— Давай, хоть этим чокнемся, — он страдал застарелой язвой, отчего изможденное лицо его всегда выражало брезгливое презрение к роду человеческому, — все-таки, как-никак, ты мой крестник.

И, подхваченный снедавшей его ненавистью, отошел, подсвечивая во все стороны своей язвенной улыбочкой.

Эх, Седугин, Седугин, твоя ненависть разест тебя до того, что ты откажешься от услуг ненавистного тебе соседа, который захочет вызвать врача в минуту смертельного для тебя приступа, и сойдешь ты в могилу, не оставив по себе ни любви друзей, ни памяти врагов. И кроме Влада — по твоему мнению, лютейшего твоего недруга, — некому во всем городе будет сказать над открытой еще твоей могилой доброго о тебе слова. Если бы только узнал об этом, ты мог бы воскреснуть, чтобы опротестовать такое кощунство. Но он сказал, прощаясь с тобой: спи спокойно, дорогой друг! Значит, спи.

Влада, кстати, всегда поражала в некоторых людях их беспричинная ненависть к нему. Порою он ощущал ее без слов, почти физически: в случайной компании за столом, в кабинете какого-нибудь начальника, который, казалось, и видел-то его впервые в жизни, в поезде, в магазине, в театре, в самых, в общем, неожиданных местах. Это преследовало его с детства, но и дожив до седых волос, он так и не смог разобраться в ее природе и происхождении. Ну да и Бог с ней — с этой ненавистью, от нее еще никто не умирал, хотя жить без нее ему было бы много легче...

Но все это восстановилось в нем позже, задним числом, а тогда, на самом банкете, происходящее несло мимо, не отзываясь в его душе или сердце ни одним отзвуком: всем своим естеством он рвался туда, где сейчас ожидало вдруг возникшее у него в жизни существо, которое, может быть, сумеет найти так необходимые ему в этот вечер слова.

И она нашла для него эти слова. И еще очень много других слов, но тоже необходимых ему в этот вечер. И тени их, в общем-то, качались на пороге...

Они расстались только до завтра.

16

Когда Влад вспоминал о женщинах в своей жизни, о которых ему вообще хотелось вспоминать, он вновь обращался к тому сумрачному вечеру в доме под Гамбургом, где его гостеприимный хозяин, стареющий, но все еще сохранивший эластичность и красоту спортсмена, рассказывая гостю о себе, вспоминал о начале собственного миллиардного дела:

— До войны, мой дорогой друг, наша семья имела небольшую типографию, но, чтобы снова получить право на нее, я должен был пройти комиссию по денационализации. Слава Богу, у нас в семье не было человека, который бы когда-либо связывался с этой шайкой, мы сумели остаться в стороне от всеобщего безумия. Но война только что кончилась, и союзники требовали от немцев, желавших получить права на свои предприятия, большего — участия в Соппротивлении или хотя бы статуса гонимого. Поэтому когда я пришел к английскому коменданту за лицензией, он спросил меня:

— Вас преследовали при нацизме?

Я ответил, не задумываясь:

— Конечно.

— Кто?

— Женщины.

Англичанин оказался с чувством юмора, он расхохотался и немедля выдал мне эту проклятую лицензию...

К счастью или к сожалению, но Влада женщины не преследовали никогда, во всяком случае те, кого положила руку на сердце, можно было назвать женщинами.

17

Она не пришла ни завтра, ни послезавтра, ни, тем более, на третий день. Он отправлял ей умоляющие письма, она не отвечала. Он засылал к ней гонцов, они уходили ни с чем. Он пытался искать ее сам, но ему это не удавалось, хотя

весь город можно было обойти из конца в конец и еще в один конец в течение примерно двух часов. Она, что называется, исчезла, как сон, как утренний туман.

Казалось бы, о чем особенно тужить, провел несколько часов с молодой женщиной, которую видел в первый и в последний раз в жизни, мало ли их у него перебивало? Но чувство невозвратимой потери не оставляло его, несло в пространство перед собой с единственной целью во что бы то ни стало увидеть, услышать, прикоснуться еще один, хотя бы единственный раз, заворачивало по всем мыслимым и немислимым местам, где бы он мог, по его предположениям, настичь ее, чтобы попытаться объяснить или объясниться. Но все оказалось тщетным: я звал тебя, но ты не обернулась, я звал тебя, но ты не снизошла.

И тогда впервые в жизни, хотя признаки этого намечались и раньше, — легкое дуновение некоей ауры или, скорее, сладостной немочи, как бы у бездны на краю, когда окружающее отодвигается за пределы физической осязаемости, а собственное тело и дух приобретают гигантские размеры, и кажется — вот-вот из ушей брызнет кровь. Выдержать такое состояние достаточно длительный срок человеку не под силу, и человек пробует укротить себя самого любыми подсобными средствами. В России для этого другого средства, кроме водочного забытья, нет.

И ничего не стало вокруг. Листва митьковских тополей сомкнулась над ним и понесла его в своей зеленой колыбели через молочные реки и кисельные берега Сокольников:

— Влади-и-и-ик!..

— Прощай, ма-а-ать!

— Куда ты, горе мое-е-е?

— За кудыкины горы, мать, за кудыкины горы, больше некуда мне.

— А где они, горе мое?

— Еще сам не знаю, мать, еще сам не ведаю.

— Вернешься ли, голова забубенная?

— Если голову не сложу, мать, если голову не сложу...

Первое, что Влад увидел, когда пришел в себя, было склоненное над ним насмешливое лицо Епанешникова:

— Очухался? Давно пора. Восьмой день гудишь. Тоже мне, Печорин херов! Первый раз живую черкешенку пощупал и сразу с копыт, а зачем она тебе, сам не знаешь. Ее полобкомом с горкомом впридачу гоняло, ее папашка, тварь номенклатурная, нарочно в Москву сплавил, к сынку министра подложил, потому как здесь на нее охотников давно нету. Ну, ну, не лезь в бутылку, ты еще из нее не вылез, и слушай, когда тебе старшие говорят. Терпи, но слушай — пригодится на старости лет. Теперь по делу. Хозяйка твоя со страху настучала в обком, хотели было тебя уже в больницу, да мы с Майданским на себя взяли, так что, если подведешь, табачок врозь. А теперь поднимайся, пойдем попаримся и ко мне — чай пить. У меня и переночуешь, а завтра посмотрим, утро вечера мудреней. По коням!..

Явь возвращалась к Владу сквозь свинцовую тяжесть головной боли. Город, через который они шли, выглядел чужим и громоздким, словно заброшенные театральные выгородки, всякий случайный взгляд или улыбка у них по пути дразнились злорадством и, казалось, предназначались лично ему — Владу.

Еще несколько дней плавал он в бредовом аду долгого похмелья, текущие видения калейдоскопически сменяли друг друга, кружили его по лабиринтам горячки, пока мир, со всем своим содержимым и звучащим, встал перед ним на все четыре ноги. Блажен, кто испытал.

Только после этого Епанешников потащил Влада в редакцию, где Майданский встретил его так, будто они виделись лишь вчера, и с тех пор ничего особенного не случилось:

— А, на ловца и зверь! Здорово, Владик. С утра из Союза писателей звонили — тебя ищут: надо классика А. в больницу отправлять, а он засел у матери в ауле и — ни в какую. Силой брать не хотят, чтобы в народе нездоровых настроений не разводило, а подобру он не хочет. Тебя спрашивает, с тобой, говорит, со-

гласен, — он впервые взглянул на Влада, и тот прочел в его усталых глазах откровенную укоризну. — Не знаю уж, на чем вы сошлись, но сам посмотришь, чем это кончается, — и опустил тяжелую голову к верстке. — Леня, поезжай с ним, а то они там вдвоем по новому заходу начнут. Берите машину и — айда. Пока.

Вскоре редакционный газик тянул их по безлесым плоскогорьям в сторону ногайской столицы — аула Икон-Халк. Вокруг, насколько хватало глаз и воображения, не проглядывалось ничего, на чем можно было бы задержать взгляд: одна лишь волнообразная цепь пологих бугров, кое-где в желтых разломах эрозии, и сквозь них — к тусклому горизонту — крученая плеть грейдера. За весь путь, километров эдак тридцать с лишним, ни одна живая тварь, как Влад ни взглядывался, не перебежала им дорогу. Пустыня внемлет Богу.

— Понимаешь, — словоохотливо рассказывал ему по пути Епанешников, — занятный тип этот А. Кем он только ни перебивал в области: вторым секретарем обкома комсомола, зав. военным отделом обкома партии, редактором газеты, помощником председателя облисполкома, секретарем Союза писателей несколько раз. Трезвый — ты к нему не подступишься: педант, пунктуален до болезненности, тарабарщину номенклатурную знает назубок, произносить ее умеет с таким, я бы даже сказал, шиком. Без «товарища» ни шагу и всех на «вы». Просохнет — сам увидишь, ты еще с ним дерьма наглотаться, он не из благородных, все забудет, как будто и не было. Но собьется с круга — сразу человеком запахнет, и действительно не без таланта. К фокусам его здесь попривыкли, просохнет, снова в кабинет определяют. У него это, говорят, еще до войны началось, он тогда с последней волной, уже в тридцать восьмом попал, когда в комсомоле работал. Неизвестно, какой ценой, но после Ежова сумел выскочить. Вот тогда первый раз и сорвался с винта. Пойми меня правильно, я лично к нему хорошо отношусь, только ты не заблуждайся, не строй иллюзий, он сломан, уже без хребта.

Селение, которое вынеслось им навстречу из-за очередного бугра, совсем не походило на аул в классическом смысле этого слова: никаких тебе сакль, лепящихся к горе наподобие ласточкиных гнезд. Влад увидел скорее довольно унылого вида предгорную станицу, чем что-либо похожее на городское жилье: пыльное скопление однообразных хат под шифером и железом с несколькими каменными постройками в центре. Черкесск в миниатюре.

При всей невзрачности здешних построек дом матери ногайского классика оказался из самых неказистых: однокомнатный скворечник под старым, в ржавых потеках, шифером, на пороге которого маячила старуха в платке и, держа над слезящимися глазами козырек ладони, всматривалась в них, словно с другого берега.

Она молча поклонилась им первая и молча же пропустила их мимо себя в дом. В ее окаменелости сквозило такое черное отчаяние, что, проходя рядом с ней, Влад отвернулся. «Господи, — мгновенно пронеслось в нем, — и моя бы вот так!»

В единственной комнате этого скудного жилья, в углу, на чем-то вроде топчана, с сомкнутыми глазами, сжавшись, будто мерзнувший ребенок, в комок, лежал А., не двигаясь и вообще не подавая признаков жизни. Это был уже не человек, а человеческая тень, источавшая животное зловоние и теплившаяся одной лишь горячей тоской.

— Фазиль, — тихонько позвал Епанешников, — мы за тобой, тебя дома ждут. Фазиль!

После недолгого молчания тот разлепил гноящиеся глаза, остановился на Владе, губы его раздвинулись, обнажая провал желтозубого рта:

— А, это ты...

— Я за тобой, — как бы боясь спугнуть его хрупкое пробуждение, Влад говорил не двигаясь, — возвращаться пора.

— Хорошо, хорошо... Если ты говоришь...

Он был так по-детски жалок, этот вывернутый на чуждую ему изнанку и раздавленный чужой слабостью горец, что Влад не сдержал подступивших к гор-

ду спазм, заплакал, но опять-таки не столько от сочувствия, сколько от бессильной ярости, хотя и здесь не понял, за что и на что.

«Какого черта, — только и отложилось в нем, — отчего все это?»

— Ладно, ладно, — снисходительно заворчал Епанешников, — будет сентименты разводить. Давай его загружать. У меня еще воскресная полоса на столе.

По дороге забившийся в угол А. напряженно молчал и, только поймав на себе чей-то взгляд, пытался улыбнуться в ответ — слабо и благодарно.

Они завезли ногайца к нему домой, где их так же молча, как и мать в ауле, приняла нестарая еще и довольно милостивая татарка, вызывающе не скрывающая своего глубочайшего презрения и к ним, и к родному мужу, и, едва позволив гостям сложить его на продавленный диван в прихожей, с грохотом захлопнула за ними дверь. Старый муж, пьяный муж.

— Вот стерва, — в сердцах сплюнул, выходя во двор, Епанешников, — а стоит ему очухаться, она ему ноги на ночь моет, а если ему блажь в голову вдарит, то и юшку выпьет. Что за сволочная порода — человек, особенно — женщина...

В редакции Майданский встретил его внезапной новостью:

— Сверху приказано взять тебя пока к нам, так сказать, на стажировку, с дальнейшими перспективами. Цитирую по памяти. Поздравляю с прибытием на нашу каторгу, дорогой товарищ. Иди, оформляйся к кадровику, и к Лёне на культуру вместо мальчика. Адью.

С этого закутилась его вторая газетная жизнь.

18

Как-то на Сорок второй улице в Нью-Йорке, в сквере, на лавочке, лежал точь-в-точь в фазилевской позе черный того же, примерно, возраста. Он явно доходил, во всяком случае, выглядел на последнем пределе. Рядом с лавочкой, под его бессильно свисающей рукой, серел пакет с торчащим из него горлышком бутылки.

Мимо тек, разливался во все стороны, в том числе и в этот сквер, огромный многомиллионный город, для которого этого черного уже просто не существовало.

Цивилизация приняла этих пришельцев, вырвав их из естественной для них среды, но не дала им взамен ничего, кроме дешевого забытья.

19

Голос Х. Х. в телефонной трубке на этот раз вибрировал с особой значительностью:

— Товарищ Самсонов? Здравствуйте. В обкоме есть мнение включить вашу книгу стихов в план издательства на следующий год. Мне поручено...

Остальное до Влада доносилось, словно сквозь подушку, хотя тот что-то пытался нудить насчет доверия партии, воспитания растущих талантов и, конечно же, своих новых подстрочников. Но какое теперь это могло иметь значение? Он готов был сейчас не только перевести весь его бред от начала до конца, но и насочинять за того впятеро больше, лишь бы услышать еще раз подтверждение уже сказанного.

О, эта первая книга, любовь и проклятие всех начинающих! При всей обычной ее немогущности она вбирает в себя столько душевных сил, страданий и сердечного горения, что в зрелом возрасте всего этого с лихвою достало бы на целое собрание сочинений с приложениями. Нет таких унижений (во всяком случае любому автору впоследствии так кажется), такого горя (об этом говорить не приходится!), такой жестокости (а это уж само собой), каких не вынес бы автор ради того, чтобы поддержать в руках пахнущий типографией экземпляр собственного сочинения и впервые в жизни начертать на нем свой автограф. Безумству, так сказать, храбрых поем мы песню. Им, гагарам, недоступно.

Наметанный глаз Епанешникова мгновенно по лицу подчиненного определил важность полученного им сообщения:

— Чего там у тебя?

Влад не произнес — выдохнул:

— Включили.

— Поздравляю, — сразу догадался Епанешников, — Седугину обеспечено прободение. Такого у нас отродясь еще не бывало, чтобы русский автор получил приз в виде книжки стихов. Ты, мэтр, в этом смысле черкесский Колумб, — он повернулся к двери. — Даня, Дани-и-ил!

Из соседней комнаты выпросталась лобастая голова Майданского:

— Ну, чего стряслось?

— Вот, полюбуйся, — Епанешникова прямо-таки распирало торжествующее злорадство, — опять всем нам нос утер. Включили в издательский план, можешь себе представить, что будет с Седугиным? Бедняга гнется здесь десятый год, все пороги обил, все передние облазил, Фирсова завалил челобитными, из Литинститута рекомендацию имеет, и хоть бы что, как заколодило, нет бумаги, говорят. А вот для этого варяжского гостя, оказывается, есть, ну не чудеса ли, Данька? Видно, этот гусь явно родился в чесучовой паре. Это дело мы не можем оставить без последствий, закрывай, Даня, лавочку, все равно номер готов. Труби, труба!..

По случаю жаркого послеобеденного времени подвал был пуст и прохладен, словно заброшенный склеп. Догадливый дядя Саша, скользя по гостям оттаявшим взглядом, выставил сразу литровую марочной, присовокупив к ней уже от себя тарелку с сыром и зеленью:

— Кушайте, гости дорогие...

Пожалуй, впервые они пили здесь, не торопясь, не подгоняя друг друга тостами, мирно смакуя как запах вина, так и вкус закуски. Душный город солнечно заглядывал к ним через запыленные окна сверху, отчего трапеза ощущалась ими еще более вятно и благостно.

— Кончается лафа, ребята, — печально сетовал Майданский, — и у меня для вас пренеприятное известие: к нам едет новый редактор. — Несколько месяцев в газете царила разгульная атмосфера междувластия. — Наша разведка показывает такую раскладку: фамилия — Голубко, зовут — Андрей Петрович, по всему судя, из обрусевших хохлов, только что кончил вепеша в Москве. Итак, что имеем: первое — чужак, второе — хохол, третье — из вепеша. Подвожу итоги: дело дрянь.

— Может, все еще образуется, — подал голос Епанешников, — этих из вепеша, бывает, с полдороги сманивают.

— Ребята, этот доедет, — еще печальнее продолжил тот, — чует мое еврейское сердце.

Епанешников не выдержал характера, съязвил:

— Сколько раз оно тебя обманывало, Даня.

— На этот раз нет.

— Не скажи.

— У него здесь баба...

Воцарилось красноречивое молчание, и Бог знает, как долго бы оно длилось, если бы его не прервало громкое низвержение в эту винную преисподнюю разбойно пьяного Ведищева:

— Бандиты, — с порога возгласил он, наподобие стоголового и сторукого чудовища заполняя собою помещение, — лучшего друга обошли, не позвали. Чуть что, Ведищев спасай, Миша выручи, а как праздник, так по междусобойчикам разбегаются, где правда, кому верить! Знаю, знаю, — замахал он на них руками, хотя никто не собирался ему ничего сообщать, — Михаил Ведищев все знает, у Михаила Ведищева везде глаза и уши, и еще кое-что. Я, как узнал от Верки из издательства, сразу к вам кинулся, а вас уже и след простыл, паскудники. Я вот по дороге сюда один на радостях четыре стакана принял, от обиды — без закуси. Нет правды на земле, сказал поэт, но нет ее и далее...

С нашествием Ведищева ни о каком задушевном застолье нечего было и думать. Началась обычная в таких случаях вакханалия, вызвавшая к жизни покорных ей духов в лице Дуброва и прочей компании. Последний, по обыкновению,

появлялся как бы из пустоты, благоухая во все стороны запахом дешевого одеколлона. Способность появляться именно таким образом являла его особую привилегию, персональное свойство, претензию на оригинальность, а, может быть, даже природный дар.

— Поздравляю, поздравляю, — сразу ввинтился он в разговор, — приятно, когда преуспевают порядочные люди, а то ведь кругом или держиморды, или мещане, слова осмысленного не услышишь. Поневоле, как Диоген из бочки, пойдешь с фонарем по городу искать, извините, человека, — он пил наравне со всеми, но никогда не пьянел, только болотные глазки его стекленели, да заострялся и без того остренький носик. — Кстати, Владислав Алексеич, давно хотел поговорить с вами о ваших стихах. У меня зреет идея вечеров вашей поэзии под девизом — «Поэзия в массы». Не правда ли, в этом что-то есть, коллега?

Но, перебив Ведищева в самый разгар его словоизвержений, Дубров тем самым, незаметно для себя, зашел в заминированную зону, а когда заметил, было уже поздно.

— Захлопни капот, бездарь, — моментально взвинтился тот, — что ты понимаешь в большой поэзии! Поэзия это, — он взвел к потолку сумеречные от пьяного безумия глаза, — та же добыча, можно сказать, золота или, может, какого другого благородного металла, горы приходится дерьма переворачивать, пока до жемчужного зерна доберешься. Вот знал я, к примеру, одного поэта из Сызрани или из Сарпула, не помню уж, но это и не важно. Нет, точно из Сарпула, Гущин его фамилия, Вениамином звали, Веней попросту, мы с ним накоротке были, так этот Веня, хотя вроде и Вася, впрочем, и это не важно, так вот он мог тыщу пятьсот принять без закуси и читать. И как читать, доложу я вам! А ты тут лезешь, Петька, со своим мусором, ты бы лучше за женой своей смотрел, опять с моей спуталась...

Остановись, Ведищев, ты ужасно! Он выдумал тебя от начала до конца, он составил тебя, словно монстра, гомункулуса, робота, из целой кучи мелкого актерского хлама, набранного им в скитаниях по городам и весям страны перезревшего социализма в поисках преимущественно литературной поденщины. Сгинь, Ведищев, с глаз его, ибо ты фантом, а фантомы должны знать свое место, но с Петром мы еще разберемся...

Пьянка раскручивалась с быстротой сорванного с тормозов и пущенного под гору тяжеловесного состава, грозя вскоре похоронить под собой всех участников, что, наверное, и случилось бы, если бы в самый ее разгар в подвале не появился еще один посетитель.

В самом его появлении не было ничего сверхъестественного, хотя визиты новичков-одиночек воспринимались здесь, как известного рода бестактность, граничащая с плохим тоном, но слишком уж вызывающе бросилась всем в глаза его трезвая начальственная вальяжность, чтобы посетитель этот мог остаться незамеченным или оставленным без внимания.

Он был высок, осанист, хорошо упитан, но без излишней грузности, и чем-то напоминал викинга из недавнего исторического фильма, только в отлично шитом штучном костюме и при галстукке.

Посетитель с любопытством осмотрелся, хмыкнул многозначительно, насмешливыми глазами навывкате выделил из общей сутолоки именно их компанию и барственно подплыл к ней, игнорируя всех остальных:

— Здравствуйте, товарищи, — посетитель буквально излучался снисходительным добродушием, — я — ваш новый редактор, Голубко Андрей Петрович. Давайте знакомиться...

Так Влад встретился со своим новым шефом.

Давно канули в вечность те блаженные времена, когда он с замиранием сердца ждал выхода своей новой книги. Когда казалось, что стоит ей выйти, как у погрязшего в неведении человечества, наконец-то, откроются глаза, и оно, это человечество, начнет слезно благодарить автора за совет и науку; когда читатель

представлялся ему не в виде некоей абстрактной величины мистического нечто, критической фикции, а живые, во плоти и крови, вроде соседа по квартире или попутчика в общественном транспорте.

Теперь они захлестывают его — эти первые экземпляры собственных книг. Под самыми немислимыми обложками и на самых разных языках, но уже не приносят с собой в жизнь ничего, кроме досады и скуки. Мир вокруг давно оглох и ослеп, не желая читать и слушать витий и почище него. В любом захудалом супермаркете рядом с бойкой распродажей устаревшей моды бюстгалтеров беспорядочной грудой навалены книги, которых еще не касалась рука человека.

Книга давно перестала здесь быть делом избранных. Пишут все, от захудалых телевизионных обозревателей до консержек, и будьте уверены, что, чем хуже окажется очередное сочинение, тем больше шансов имеет оно на шумный успех.

К тому же для него выход каждой новой книги — это еще и бомба с зажженным фитилем: десятки ядовитейших перьев готовы наброситься на нее, не читая, только потому, что автор ее осмеливается нарушать детские правила их огнеопасной игры в политические прятки.

Его теперешняя молитва: Господи, спаси меня от новой книги!

21

А уже на следующий день новый шеф вызвал его к себе.

— Я тут полистал ваше личное дело, — добродушие в нем явно преобладало над всеми другими качествами, — с товарищами в обкоме посоветовался, и есть мнение, что хватит вам ходить в детских штанишках отдела культуры, пора попробовать себя в партийном разрезе. Завтра в станции Преградной районная партконференция, отправляйтесь-ка туда вместе с Николаем Георгиевичем. И еще вот что, — деловито определил шеф, — меня не интересуют пустые бутылки моих подчиненных, меня интересует только их деловая отдача, остальное — ваше личное хозяйство, — и снова добродушно расслабился. — Знаете, как говорил Хаим из Шепетовки, когда хоронил тещу: сначала дело, потом — удовольствие. Идите-ка прямо к Николаю Георгиевичу, договаривайтесь о деталях, он человек опытный, у него есть чему поучиться.

Что правда, то правда, подумал про себя Влад, но пререкаться не стал, следуя на этот раз золотому правилу не спорить с начальством, тем более новым. Завпартотделом Николай Георгиевич Пономарев, или попросту Коля, был алкашом-одиночкой, предпочитая принципиально индивидуальную пьянку всем остальным. С молодых ногтей пройдя хорошую военную школу, зав даже в питейном деле проявлял свою офицерскую косточку. Где бы, к примеру, ни заставало его черное беспамятство — в кабинете, в забегаловке или под забором, — он никогда не забывал снять с себя сапоги и повесить на них портянки. Военная выгучка сказывалась и в его статьях, походивших более на армейские рапорты, чем на газетное чтиво.

Когда Влад заглянул к нему, тот еще оказался в состоянии шевелить языком. И зашевелил:

— Значит, уже под меня копаешь, голубь, востер ты, брат, востер, я смотрю, осадить бы не мешало, — лиловый его нос принялся усиленно багроветь. — Ты еще «папа—мама» палочками выводил, когда я уже партотделом в корпусной газете заведовал. Бывало, приедешь в часть, а там из командного состава один ефрейтор, и тот косою. Берешь, конечно, все в свои руки. Полк, кричишь, слушай мою команду: «За Родину!», «За Сталина!». — Он вдруг рывком выбросил себя из кресла, чтобы, видимо, наглядно продемонстрировать новичку степень тогдашнего своего порыва, но слабое пьяное тело его не выдержало внезапной перегрузки и снова вязко потекло на место. — Ладно, завтра в шесть ноль-ноль у автобусной остановки. Отправка шесть тридцать. Задача ясна?..

Утром на автобусной станции Влад нашел Пономарева опять-таки чуть теплым. Но и в затуманенном мозгу завпартотделом спасительный механизм расхожих стереотипов срабатывал безотказно:

— Хвалю, — он невидящим взглядом скользнул по циферблату над кассой, — точность — закон строевой службы. — Хотя Влад опоздал ровно на двадцать минут. — Значится, так. Садимся — на служебные, контроль беру на себя: ответственное партийно-государственное задание. В случае чего, поиграешь блокнотиком для остратки. Проверено, действует без осечки. Пятьдесят хрустов чистой экономии. Билеты под отчет нам обеспечит товарищ из районного комитета, который нас встретит, — он вдруг, остервенясь, напрягся. — Я за пятьдесят хрустов полдня кропаю, у меня они не ворованные, чтобы этому жулью за билет отдавать. За мной! — и уже кому-то впереди себя. — Посторонитесь, товарищ, мы — на задание...

В дороге он сладко похрапывал, просыпаясь лишь для того, чтобы покоиться в сторону Влада бессмысленным оком и членораздельно сложить:

— Запишите... — после чего, икнув, он снова сладко засыпал.

Что записать, Пономарев не уточнял, но, судя по той почтительной тишине, которая сразу вслед за этим воцарялась в автобусе, магическое слово производило впечатление. Затем сзади заводилось одобрителное перешептывание:

— Строга-а-ай.

— Потачки не даст.

— Во всяком деле порядок должен быть.

— С нашим братом иначе никак...

На автостанции в Преградной они вывалились прямо в объятия «товарища из районного комитета партии».

— Здоров, Никола, сколько лет, сколько зим! — «Товарища», приземистого карлу с лицом боксера-перестарка, бил хмельной восторг. — С полгода, считай, к нам носа не показываешь, может, принимаем плохо? Виноваты — исправимся, гражданин начальник. И на старуху бывает прореха, хе-хе-хе. — Гости еще не успели опамятоваться с дороги, а он уже по-хозяйски заталкивал их в случившуюся туг же «Волгу». — На этот раз лицом в грязь не ударим, начальство распорядилось принять по первому классу, а наше дело солдатское: приказано — исполняй. — Он воссел рядом с шофером. — К тете Клаше! — И повернулся к гостям, отчего воротник его насквозь пропотевшей и густо обсыпанной перхотью гимнастерки «а-ля Сталин» утонул в складках индюшачьей кожи. — Матерьялы я для вас подготовил, все в полном ажуре: доклад, прения, резолюция, выборы руководящих органов. Работайте по-стахановски, отдохайте еще лучше, я вам только птичьего молока не приготовил, но если захочется — достану, кур подою, хе-хе-хе.

— Может сначала на конференцию, — заикнулся было несколько озадаченный Влад, — послушать, с людьми поговорить?

Между его спутниками последовало многозначительное переглядывание, после чего Пономарев примирительно осклабился прокуренными зубами:

— Молодой еще, только-только стажировку начал, поживет с наше, поварится в партийном котле, поумнеет. Верно говорю, Самсонов?

Они дружно рассмеялись, и, неожиданно для самого себя, Влад присоединился к ним, как бы включаясь этим в безвыходный загон их круговой поруки. Падать, так падать!

Из-за поворота дороги перед ним открылась уютная лощинка над рекой, посреди которой, наподобие карточных домиков на зеленом сукне, высилось несколько финских коттеджей, притененных шапками маячивших вокруг них деревьев.

— Приехали, — подмигнул в сторону спутников райкомовец. — Ты здесь у нас еще не был, Никола? — и, не ожидая ответа, пояснил: — Весной поставили, по указанию из области, для дорогих, так сказать, посетителей.

В одном из этих коттеджей гостей встретила средних лет женщина в белом халате и, скользнув по ним откровенно оценивающим взглядом, радушно поинтересовалась:

— В баньку или сначала кушать будете?

— Чего я там не видел, — как от зубной боли поморщился Пономарев, — в баньке этой?..

Там стол был яств. Такого стола в скудной деликатесами жизни своей Влад еще не видывал, да и впоследствии, во времена куда более обильные, видывать доводилось не часто.

— Да, — восхищенно вздохнул Пономарев, жадно обозревая открывшееся ему застольное великолепие, — разблюдовка первый класс, есть разгуляться где на воле. Кони сытые бьют копытами, как в песне поется, встретим мы по-сталински врага!

Трудно сказать, чего тут только не было! Эскадра марочных бутылок плыла им навстречу в сопровождении тарелок и ваз, в которых всеми цветами радуги светилась, блистала, переливалась снедь в самых разнообразных количествах и видах: икра в трех цветах соседствовала здесь с лоснящейся собственным соком семгой, а та, в свою очередь, со всевозможными мясами и ветчинами, оттененными дарами земли — от сортовых помидоров и огурцов до персиков и винограда включительно. Пир победителей.

Но не прошло и часа, как весь этот дорогостоящий натюрморт обернулся мешаниной огрызков, окурков и битой посуды, среди которой два осоловевших от даровой жратвы и выпивки друга предавались сентиментальным воспоминаниям:

— А помнишь, Коля?

— Помню, Евсей, помню.

— Какая жизнь была, Коля, какая жизнь!

— Не говори, Евсейка, плакать хочется.

— А ты поплачь, Коля, поплачь, облегчает. Я, честным делом, люблю иной раз всплакнуть.

— Эх, Евссюшка!..

— И не говори, дорогой...

Сквозь теплый туман к Владу еще долго пробивались их всхлипы и междометия, пока хмельное забытье окончательно не сморило его под горестное причитание райкомовца:

— Коля, родимый, мы им доклады, выступления пишем, сволочам, они бы хоть читать нашу писанину научились по-человечески!..

Пробуждение Влада было внезапным, но тягостным: в голове гудели чугунные колокола. Над ним сочувственно склонилось знакомое лицо женщины в халате:

— Велено в это время разбудить вас, а то к последнему автобусу опоздаете.

К удивлению Влада, Пономарев оказался на ногах, был быстр, собран, бодро излучал из себя энергию и деловитость.

— По коням, Самсонов. К ночи полоса должна быть в наборе, кровь из носу или голова с плеч.

В дороге он внимательно, с карандашом в руках, прошелся по материалам конференции: что-то подчеркнул, сократил, вычеркнул, а прощаясь на автовокзале в Черкесске, дружески подмигнул спутнику:

— Порядок в танковых войсках. Иди, спи, в типографию я сам обернусь. Завтра читай свое произведение в номере.

— Как в типографию, — вновь удивился Влад, — ведь еще и рукописи нет?

Тот лишь снисходительно усмехнулся в ответ, отечески хлопав его по плечу:

— Эх ты, молодой еще, небитый, немятый, непуганый, учись у меня, старика, покуда я жив. Я, брат, когда аврал, прямо на линотип диктую, где же ее теперь взять, рукопись-то! Пить надо было меньше. Иди, иди, спи.

И они разошлись по сторонам: Влад к себе, а Пономарев в типографию.

Скандал на следующий день разразился небывалый.

Где-то около полудня в отдел влетел взволнованный сверх всякой меры Майданский:

— Самсонов, к шефу, одна нога здесь, другая — там.

По одному тому, что ответсекретарь назвал его по фамилии, Влад почувствовал адуновение беды, поэтому по пути к редактору готовил себя, по обыкновению, к худшему, но случившееся оказалось и того хуже.

— Мне интересно знать, товарищ Пономарев, чем вы там в Преградной занимались с Самсоновым? — от редакторского добродушия не осталось и следа: красный и распаренный, словно после бани, он махал около носа стоявшего перед ним навтыжку завпартотделом сложенной четверо газетой. — Вы меня весьма обяжете, если сообщите хотя бы в порядке обмена информацией. А, вот и второй мыслитель! — мгновенно вскинулся он на вошедшего Влада. — Может, вы раскроете тайну этого мадридского двора и расскажете нам кое-какие подробности вчерашней партконференции? Наверное, вы услышали там много нового: мнения отдельных товарищей, выступления с мест, настроения делегатов, а? — Он остановился и, широко расставив ноги, вытянулся перед Владом во весь свой могучий рост. — Чего молчите?

— Да я, собственно, — затянул было Влад, но тут же осекся под уничтожающим взглядом редактора, — чего уж там, Андрей Петрович... Выпили малость.

Тот даже застонал от негодования:

— Выпили! Вы только послушайте его, они выпили! Да вы мне хоть залейтесь этой дрянью! Можете, если хотите, вместо воды употреблять, ноги мыть в ней, в этой гадости, но не до того же, чтобы печатать отчеты с конференции, которая не состоялась, — его трясло. — Понимаете, не состоялась! — и почти в голос: — Пе-ре-не-сли-и! Хватит с меня. Чтобы духу вашего завтра в газете не было! И не надейтесь на доброго дядю из обкома, никакой обком не заставит меня держать вас, я до Цека дойду! Не нужно мне в редакции растущих талантов в постоянной белой горячке! Обойдусь! Я вам, негодяям, такое в трудовую книжку не прощание впечатаю, что вы меня по гроб не забудете и детям передадите. А сейчас — вон отсюда!..

Закрутилась шумная административная карусель, которая пошвыряв Влада по приемным и кабинетам областных инстанций, остановилась в Союзе писателей — у Х. Х.

— Мне поручено, — с достоинством приступил он, но не выдержал тона, выдал мстительную свою злопамятность, заспешил, заторопился, захлебываясь собственной слюной, — информировать вас о невозможности дальнейшего использования в нашей области по литературной специальности, — и вперился в него оловянными глазами, проверяя произведенное впечатление. — Идите на завод, в колхоз, на производство, поживите с народом.

Нет, Влад больше не хотел этого слышать. Мутная волна ярости обожгла ему горло, застучала в висках и обжигающе накрыла с головой:

— Теперь буду говорить я, понял, гнида, а ты сиди и слушай меня внимательно. Запомни сам и передай своим занюханым начальникам, что если вы все один раз сходите как следует по-большому, то от вас ничего не останется. Понял, червь могильный? Еще передай, что вы все мне настолько омерзительны, что я даже ненавижу вас не в состоянии, вы не люди, вы — моль. И еще персонально тебе на прощание, запомни, что ты гнусный и наглый графоман, и никакая сила не поможет тебе сделаться поэтом, хоть издай ты двадцать томов. А теперь сиди и думай над тем, что я тебе сообщил. Обдумаешь — повесься...

И с грохотом захлопнул за собой дверь, одним махом отключая от себя потекший было следом за ним номенклатурный визг.

22

Так закипает в человеке ярость, которая затем становится частью его души, источником силы, слухом сердца и цветом глаз. С годами она — эта ярость — отложит в нем и дар прозрения человеческой порчи, хотя едва ли кому-нибудь нужно много ума или прозорливости, чтобы прочесть на лице ближнего основные письмена его помыслов. Недаром же русские говорят: «Бог шельму метит», а французы добавляют: «После сорока лет каждый отвечает за свое лицо». Поэтому, когда какой-либо косоглазый и заросший шерстью до самых ушей Шариков от литературы изо всех сил пытается изобразить из себя человека, потрясая окружающих рассказами о «колчаковских фронтах», распознать в нем его собачью натуру не составляет большого труда, да будь благословенна праведная

ярость. И Христос гнал кнутом торгующих из Храма. Сказано же: хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах.

23

Утром, побросав в чемодан нехитрые свои пожитки и рассчитавшись с хозяйкой, Влад уезжал из Черкесска. По дороге в пригород, где он рассчитывал воспользоваться попутной машиной, чтобы добраться до железнодорожной станции в Невинномыске, путь ему неожиданно заступил Дубров:

— Уезжаете? — Впервые за месяцы их знакомства Влад видел его тихим и растерянным, и эта разительная перемена вдруг обнажила в нем совсем другого, неведомого до сих пор Владу человека, будто ряженого переодели. — Опять тощица зеленая начинается, хоть вешайся, я только-только отогрелся около вас от всего этого, — он кивнул куда-то себе за спину, — кладбища, а теперь снова с ними. Один Ведищев чего стоит! Вы не обижайтесь, — отсутствующий взгляд его смущенно скользнул в сторону, — я ведь знал, что у вас с моей благоверной, так сказать, роман случился, ну, может, не роман, но все-таки, — он не договорил, махнул рукой, отвернулся. — Дайте я вас хоть обниму на дороге, что ли. Не поминайте лихом Петра Петровича Дуброва.

Он долго мял Влада легкими своими ладошками, потом оттолкнулся от него обеими руками, словно от падающего предмета, уже не оборачиваясь более, потянулся прочь.

И это тебе урок, Владислав Алексеич, и это носи на здоровье! За городом Влада подобрала первая же попутка. Когда старенькая полуторка переехала мост через Кубань, город впервые открылся ему из конца в конец, во всю длину противоположного берега. Отсюда, из-за моста, это беспорядочное нагромождение белых хат, увенчанное бледно-голубым тортом Дома советов, с голубой же маковкой церкви на самой ближней окраине и с зеленой стрелкой реки у своего подножия виделось даже красивым. Отныне там, среди этих хат, оставалась часть его жизни, чего уже нельзя было вычеркнуть из собственной судьбы.

Не раз он будет еще возвращаться сюда в поисках утраченного времени и всякий раз убеждаться, что утраченное не возвращается, что ничего невозможно унести с собой, кроме памяти, и что легче сохранять в себе боль этой памяти, чем пытаться воскресить перед глазами прошлое. Что было, то было, того уж не вернешь.

Пух кружевных облаков плыл над городом, небо просвечивало сквозь них наподобие холста, загрунтованного желтком и синькой, горизонты набухали возникающими сумерками, и все это спасительным куполом возносилось над землей, над тысячами таких же вот городков провинциальной России и над этим, лежавшим сейчас на том берегу, — тоже. Будь же ты благословен во веки веков, со всем, что в тебе существует — плохим или хорошим, — Черкесск! И еще: прости, прощай и помни обо мне.

(Продолжение следует)

Вадим БЕДНОВ

ВАГОННЫЕ ПЕСНИ

Родился в 1937 году. Окончил исторический факультет Архангельского пединститута. Автор восьми поэтических сборников. Член Союза писателей СССР. Живет в Архангельске.

Расширение льгот, повышение пенсий.
Значит, лучшие дни вам, отцы, суждены.
Только как позабыть нам вагонные песни
инвалидов великой и страшной войны?

...Бьют куплеты на жалость прямою наводкой,
вышибают слезу, если дашь слабину,
и, пропахшие порохом, кровью и водкой,
тщетно будят оглохшую нашу страну.

Сквозь дымы проступают небритые лица,
и торчит почерневших культей естество...
Это верно, что «смелого пуля боится»,
равнодушие своих убивает его.

Потускнели от времени ваши медали,
ваши фотки в семейных альбомах темны.
Вы свое отмытарили, отвоевали
и отмаялись после победной весны.

На железных и прочих дорогах России
вы безвестно пропали, гонимы нуждой...
Ваши однополчане в своем магазине
получают пакеты со скромной едой.

Не катиться к вокзалам колесикам вашим
с металлическим визгом, привычным, как брань,
не стучать костылям, сотни верст прошагавшим
по вагонам, чтоб выстукать скудную дань...

Расширение льгот, повышение пенсий.
Но грызет меня боль неподсудной вины:
худо слушал я в детстве вагонные песни
инвалидов великой и страшной войны.

* * *

Неужели все это напрасно?
 Эта кровь,
 эта грязь,
 эти слезы.
 Этот свет,
 ослепительно красный,
 эти жуткие наши морозы.
 Этот звон,
 оглушительно гордый,
 на Олимпе,
 где кормят икрою.
 И рекорды,
 рекорды,
 рекорды,
 и герои,
 герои,
 герои.
 И безвестные русские бабы —
 неизменные кариатиды,
 и безумной войны инвалиды.
 И масштабы,
 масштабы,
 масштабы...
 Неужели напрасно?
 Ответа
 нет для всех одного,
 как ни горько.
 Но платить нам придется за э т о —
 всем —
 сегодня —
 неведомо сколько.

«ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО...»

Свобода приходит нагая...
В.Хлебников

Свобода приходит нагая,
 не пряча насильственных ран
 и всем своим видом пугая
 отечественных пуритан.

«Потребна ль народам державы
 свобода без мяса во щях?»
 «А сколько заморской отравы
 в ее распрелестных речах!»

Они — видит бог — не готовы
 впустить «эту бабу» в свой храм:
 «Вот если бы листик фиго́вый,
 иль фи́говый — как его там...»

«Ей, ведьме, и паперть — эстрада,
 на пастырей льется хула!»...
 Свобода! Она без доклада
 приходит в чем жизнь родила.

Ей выдадут робу на вате
 и кирзовые сапоги,
 кирку и кайло и — «Давайте, —
 ей скажут, — не пудрить мозги!»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПИРУШКА

Что, старик, приуныл?
Наливай — не ленись!
Всё допьём —
и тогда перестанем.
Ведь куда в верхах —
хоть один сталинист,
наше счастье —
в граненом стакане.

Этим счастьем
славяне давно опились,
а похмельная жажда
все мучит.
Вон живет за стеной
отставной сталинист, —
еле ходит,
а горькую жучит!

Нам Указ — не указ:
не боясь ни рожна
пьет страна —
от бича до министра.
Наливай, старина!
А не хватит вина,
раскулачим
того сталиниста.

И нальём, и споем,
а чуть-чуть погода,
разбавляя сивуху слезами,
мы с соседом
по-русски
помянем вождя
с низким лбом
и большими усами.

КАК НА ДУХУ

И молчуны сегодня
воздух с трибун колышут.
Я говорю, что думаю,
вот уж который год.

А между тем замечаю —
люди меня не слышат:
шумно права качают,
каждый свое поет.

Но — голоса все глуше,
слышится в них усталость
или тоска невнятная, —
что-то не разберусь.

Я ведь и сам все высказал,
мелочь одна осталась,
мне помолчать бы лучше —
да трусом прослыть боюсь.

* * *

Готов я был
в лицо швырнуть ему,
меня оговорившему
лжедругу:
«Подлец!»

Но, как случилось,
не пойму...
пожал
его протянутую руку.

Он просиял —
какой тут, к черту, стыд?! —
как будто получил
за подлость орден.

Но он-то мне
до смерти не простит
того,
что я не дал ему по морде.

НАКАЗ

Всё слабее у правящих сил
упования на кнут и на пряник...
...Ты не царь на престоле Руси,
а честного народа избранник.

С вороватым боярством борись,
что тебя оболгало намедни.
На Руси ты не Первый Борис
да, наверное, и не последний.

Знай собратьев и стой за народ,
что безмолвствовал тяжко и долго,
а не то и тебя проклянет
беспартийный безумец Николка.

Пусть болит у тебя голова
о расхристанных судьбах сограждан.
И... прости за такие слова, —
верить в Мудрого Кормчего страшно!

ЗА УПОКОЙ

Могильщик в телогрейке иностранной,
по-нашенски — по матушке бранясь,
уронит в яму ящик деревянный
и звучно разотрет под носом грязь.

Исполнив долг, завещанный от бога,
и отхватив безбожный гонорар,
он сквозь толпу попрет своей дорогой,
распространяя винный перегар...

Неужто затесались в службу смерти,
в земное похоронное бюро,
агентством ада посланные черти
драть с нас в беде грабительский оброк?

Но черти и безроги, и бесхвосты,
и бога не пугаются — как мы;
и ведомо, что русские погосты
загадили не слуги князя Тьмы.

Там по ночам «тусовка» у «фанатов»
и пляска на отеческих гробах;
там по утрам ханыги воровато
бутылки подбирают на тропях.

В беспамятстве свой кайф живые ищут,
не веря ни в кумира, ни в Христа.
И нет покоя старому кладбищу,
где словно в коммуналке, теснота...

Пусть в этой жизни помереть не трудно,
но похороны — тяжкий крест родных:
когда усну я, грешный, беспробудно,
гора забот обрушится на них.

Им будет не до скорби и кручины:
их доля — суета и беготня.
К исходу похоронной штурмовщины
мне втайне позавидует родня...

ПРОВОДЫ

От этой немыслимой вести
как будто в ознобе душа.
Вчера староверов на съезде
он болью мирской искушал.
Но — тянется скорбная лента,
по телеэкрану плывет:
несломленного диссидента
хоронит прозревший народ.
Бредет по декабрьскому снегу —
меж смертью и долей земной —
навстречу грядущему веку,
единою маясь виной.
Одною тревогою мучась:
— Неужто грядут холода
и праведной совести участь —
внезапно уйти в никуда?
— И верная наша дорога
опять приведет нас в тупик?
— В отечестве масса пророков,
заступников счет не велик...

И словно бы тень опустилась
на розовый зимний закат.
— Прости нас!

Прости нас!

Прости нас!.. —

слова, как молитва, звучат.
Мы к правде тянулись не быстро
под сенью парадных побед,
не веря и веря фальшивкам
высокоидейных газет.
— Прости за безмолвье пустое,
за леность души и ума...
Теперь в осуждении застоя
мы поднаторели весьма.

...Гражданскою казнью распятый
и снятый недавно с креста,
он вовсе не жаждал расплаты
и мужествовать не устал.
В эпоху разлада, распада
и всеразъедающей лжи
он в почву для общего сада

безгрешную душу вложил.
Надежа и пасынок века,
над самоуправством держав
вознес он права Человека,
Защитника славу стяжав.
И, вычислив зло мировое
и штатных его трубачей,
погиб он в сраженьи, как воин,
что крови не пролил ничьей.
А людям, за гробом идущим,
которых согнула беда,
назначил он встречу в грядущем,
не зря возвратился туда...

Звучи, покаянное слово! —
сомненья былые не в счет.
Прощенье просить у живого
мы не научились еще.
Но тяжкую эту работу
грешно оставлять про запас
нам, с детства привыкшим,

что кто-то

страдает и мыслит за нас...
И гибнет... Но разум не в силах
принять эту правду сперва.
Вчера над толпой восходила
седая его голова.
В наэлектризованном зале
гудел верноподданных рой, —
с трибуны «крамольника» гнали,
как будто он снова изгой.
И явственно слышались крики,
знакомые крики: «Позор!» —
как будто наветы-вериги
не сняты с него до сих пор.
А он-то, взваливший на плечи
сверхтяжесть всеобщей вины,
и был и остался Предтечей
и Совестью нашей Весны.
...Течет многоликая лента,
со всех различима широт:
великого интеллигента
оплакивает народ.

КАЧКА

Крен у Ковчеге то влево, то вправо,
всё предвещает крутой поворот.
Тонет в кипящем болоте Держава,
лоцманы ссорятся, ропщет народ.

Митинги. Стачки. Восстания в зоне.
Гласность, и цены, и рэкет растут.
Уйма законов, и воры — в законе,
а на окраинах — крут самосуд.

Трезвый Указ — и повальная пьянка;
рокер пугает гражданской войной,
тут же, с экрана, родная тальянка
страдающих в рай зазывает земной...

Что на ковчеге: аврал или смута? —
ведь неизвестно, куда он плывет.
Может быть, с картами штурман напутал,
а рулевой прозевал поворот?

Чистых с нечистыми мучает качка,
дразнит виденье железной руки...
Прервана двадцатилетняя спячка,
да не пришли золотые деньки.

Что же с тобой происходит, Держава?
Или по нраву тебе холода?
Крен у ковчеге то влево, то вправо,
в рубке — дебаты, а в трюме — вода...

У МОГИЛЫ ПОЭТА

Не на Муромской дороге, —
в Переделкинском краю
три сосны, обличьем строги,
кружат голову мою.

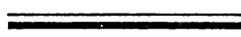
Разведу кусты руками —
и увижу наяву
бел-горючий грустный камень,
устремленный в синеву.

А на камне — рукотворный,
страстный мученика лик, —
лик того, кто в год свой черный
был несуетно велик.

И до самой до кончины
плыл упрямо встречь волне,
доказав, что есть мужчины
в заколдованной стране...

Вижу чувственные губы
и пророка зоркий взгляд.
И серебряные трубы
в соснах кладбища звенят.

И, шепча поэта строки,
на распутье я стою,
не на Муромской дороге, —
в Пастернаковском краю.



Евгений ПОПОВ

САДЫ АЛЛАХА,
ИЛИ ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ
ЗЕРКАЛА ОТ ПЛАТЯНОГО ШКАФА

заметки неизвестного

Отчетливо помню, что я тогда как раз вышел с профсоюзного собрания и, любуясь пробуждающейся от зимней спячки природой, спустился по весенней улочке вниз к Речному вокзалу, сел на скамейку. И там ко мне, стуча зубами, приблизился какой-то человек, по своему желанию оставшийся до сих пор неизвестным. Он молча плюхнулся рядом и протянул мне вот эти самые, предлагаемые ныне вам, БУМАГИ.

— Что это? — строго спросил я.

— Это — мои заметки о жизни, — сказал человек, глядя в сторону. — Они называются «Сады Аллаха, или Осколки разбитого вдребезги зеркала от платяного шкафа», заметки неизвестного.

— Не длинновато ли названьице? — поинтересовался я, принимая рукопись.

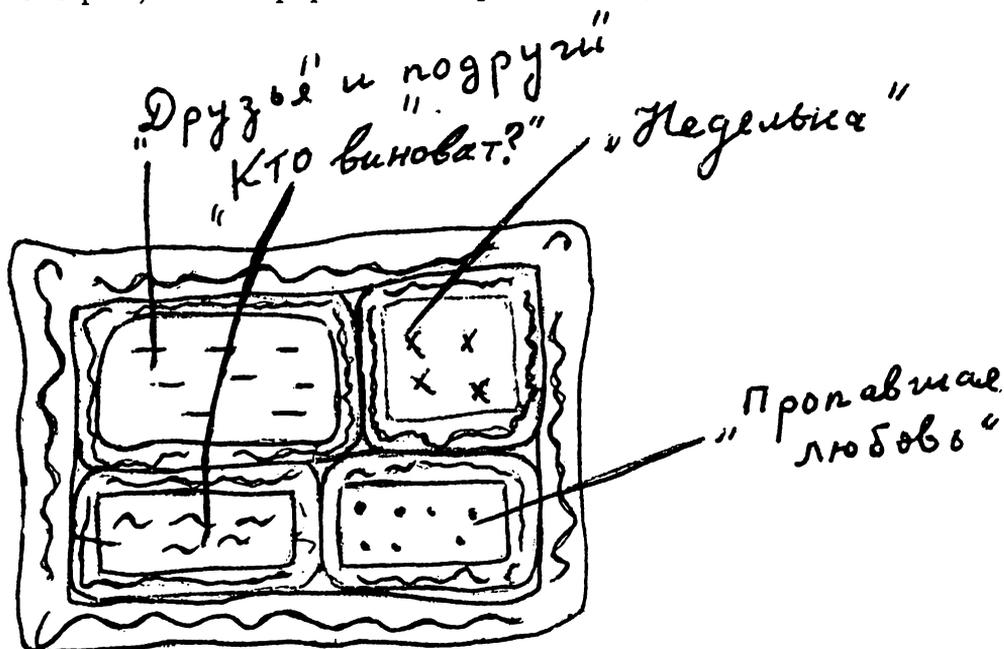
— Не длинновато, — сказал человек.

Быстро пробежав «заметки», я с удовольствием воззрился на него.

— А что? Есть. Определенно кое-что есть. История с собаками определенно «о'кей». Но зачем все же «Сады Аллаха»?

Человек молчал.

— И ведь не осколки же это, если принимать наш образ фактически. Мне построение в форме «осколков» вообще кажется и наивным, и необязательным. Вот смотрите, как бы я графически изобразил ваш опус...



— Понимаете? КАРТИНКИ В КАРТИНЕ, А НЕ ОСКОЛКИ. И я уже не говорю о ваших АНТИФЕМИНИСТСКИХ высказываниях. Это — частное дело

каждого. Но АРХИТЕКТОНИКА этих ваших так называемых осколков, АРХИТЕКТОНИКА! Ведь вы их совершенно ИСКУССТВЕННО объединили! Вы понимаете, они не только СЮЖЕТНО, они и ПОДВОДНО никак не связаны. Вы помните знаменитый АЙСБЕРГ ХЕМИНГУЭЯ?

— Ну... — сказал человек.

— Тогда последнее, самое главное. НЕТУ ЭМАНАЦИИ! Эманация — это такой прекрасный термин, введенный недавно в обиход поэтом Лещевым. Суть его долго объяснять, но это примерно то же, что АЙСБЕРГ или ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ПРОЗА. Вы меня понимаете?

— Я всех понимаю, — сказал человек.

— Не сердитесь, дорогой, — резюмировал я. — Но нет, не вижу я пока в этом вашем «произведении» СИЯНИЯ ВЕЧНОСТНОГО, ВЕЧНОСТНОГО БЛЕСКА, ЦЕЛЬНОСТИ.

— Сиянья? — крикнул вдруг человек. — Блеска? Цельности? Будет щас тебе сиянье, будет тебе блеск и будет тебе цельность!

И он, гадко подведя к моему боку острый локоть, вдруг с силой пхнул меня в ребра. Я на какую-то долю времени потерял сознание, а когда очнулся, то на меня какая-то красивая девушка махала мохеровой косынкой и совала мне под нос флакончик пахучих девичьих духов.

— Где он? — попытался вскочить я.

— Кто он? — сильно удивилась девушка.

Я ей тогда ничего не ответил, но потом мы часто вспоминали эту забавную сцену нашего знакомства. Люся вскоре стала моей женой и матерью моих детей. А недавно она опять заявила мне:

— Все ты врешь, подлец! Наверняка ты сам сочинил эти заметки. Такую гадость никто, кроме тебя, не выдумает.

Я сначала страшно возмутился и крикнул, что просто ей должно быть СТЫДНО связывать мое имя с подобной галиматей. Но ведь женщину не перекричишь... Я тогда плюнул и, исправив незначительные стилевые и грамматические ошибки, убрав кое-где встречавшиеся брутальности, решил передать эти «заметки неизвестного» вниманию общественности ПОД СВОИМ ИМЕНЕМ.

Тут у меня расчет, что авось этот неизвестный сыщется и, снедаемый авторским честолюбием, явится ко мне. И получит сразу же от меня по морде или тоже в бок, или извинится передо мной и моей супругой, что нас расстроил.

Впрочем, я даже обещаю не давать ему в морду. Пусть только явится. А то совсем трудно жить стало! Все пият меня дома и пият. Пият Люся. Ворчит Марья Федосеевна. Даже дети и те время от времени кажут мне языки. Явись, мужик, будь человеком!

САДЫ АЛЛАХА,

или

осколки разбитого вдребезги
зеркала от платяного шкафа

записки неизвестного

«Ангел мой! Целую кончики ваших крыльев!»

Из письма, кажется, А.С. Пушкина, по-
моему, Н.Н. Гончаровой, из-за которой он был
в XIX веке убит на дуэли.

Сразу спешу оговориться. Возможно, мне всю жизнь приходится встречаться лишь с так называемым МЕЩАНСКИМ ОТРЯДОМ этих представителей рода человеческого, но вот мне кажется, что восточный человек совершенно

правильно делал, когда никуда не брал с собой свою законную бабу. Я не знаю, пусть кто-нибудь из вас на эту мою фразу обидится, но ведь честное слово, дорогие, честное слово — ведь они друг у друга только и делают, что учатся всяческой гадости и суете. Только ведь их козий мыслишки и праявятся в какую-то мерзостную, недостойненькую сторону. Я потому говорю «какую-то», что мне очень трудно ее, эту мерзотину, научно определить и классифицировать. Но я надеюсь, что вы меня правильно понимаете, дорогие, а если не понимаете, то и не поймете, к сожалению, никогда.

Мне вот возражают со всех сторон, что — как же, как же! — а такие достойные женщины, как Марья Ванна, например, или Эмма Александровна, на другой пример? Они и о литературе могут, да и вообще — нет, вы только посмотрите, товарищи! — ведь они и вообще — УМНО, РЕАЛЬНО, НЕЗАВИСИМО мыслят!

А я вам не совру и в чем угодно поклянусь, что окажись эти самые Марья Ванна с Эммой Александровной в СООТВЕТСТВУЮЩИХ (каких — сами размышляйте, если охота) условиях, то точно так же по-бабьи будут они и интриговать, и так же ловко складывать сплетни, как и те их малообразованные товарки, что и вовсе не слышали никогда, что есть, допустим, на свете какой-нибудь Стравинский или М.Пруст. Так же ловко, если еще не ловчей...

— Господи! — вздыхаю я и тут же печально опускаю перо. — Да ведь вы думаете, что я их браню. А я их честное слово не браню. Я их за это даже хвалю. Потому что я с одной стороны уже привык, а с другой — мне явно симпатична простая бабья болтовня, безо всяких там Пикасс, Фрейдов или других каких звучных имен, которые скачут в их полых головках, как целлулоидные мячики.

Я их не браню, а только мне крайне неловко читать по затронутому вопросу разную вековую чушь: когда там где-то какая-то баба от какой-то тирании освободилась. Да никуда она не освободилась, эта баба! Потому что и так она свободная, как синичка, которая клюет у тебя с руки и вольна в любой момент улететь куда угодно. Если, конечно, есть куда лететь и хочется!

Я тут одно скажу видоизменяя автобиографические слова бича Ваньки из Эвенкийской геологосъемочной экспедиции, который говаривал про себя: «Эвенок есть эвенок». Я скажу: «Баба есть баба!» И все тут! Баба есть баба, если, разумеется, она не есть клинически полоумная, скрывающая свою патологию. В таком случае она не баба. А в любом другом случае — баба есть баба. И если кто-либо возьмется утверждать обратное, то любопытно бы мне было посмотреть, как это он развернет по-иному сию закольцованную аксиому?

Но я вижу, что обсуждать бабу вам уже надоело. Тогда я лучше расскажу немного о себе. Ф.И.О. — не важно, самому — 35, прошлый год лежал в больнице по случаю желтушечной печенки, где и познакомился с хорошей бабой, которая была, есть и дай Бог всегда будет медсестра, 27 лет, разведенная холостячка, родителей нету. Что мне и надо, ибо по выходе из этой инфекции я с ней тут же сошелся. А у ней была комната при больнице, где мы сейчас и живем.

И запричинилось моей бабе покупать платяной шкаф, как будто не могут шмотки спокойно висеть по стенам, укрытые в полиэтиленовый мешок. Ну и ладно — что толку спорить с бабой? Мы с ней в воскресенье и приобрели в мебельном на колхозном рынке эту, как она выразилась, семидесятипятирублевую «прелесть». А грузчиков я не нанял, потому что еще не настолько сошел с ума, чтоб за переноску легкого шкафа на 5 метров платить 10 рублей. Это нужно обнаглеть, чтобы такие суммы просить! Мы немного поборанились с бабой, и я заявил, что сам его уташу за такие деньги! И буду я гадом, что утащил бы, коли не эта проклятая весенняя капель! Я оскользнулся, дрогнул, и — бенц! — разлетелся наш шкафчик на зеркальные осколочки. Баба пустила слезу. Я хотел на нее заорать, но потом решил действовать обратно — лаской, потому что я ее люблю. Я ее нежно на улице обнял. Она еще маленько хныкает, прохожие идут, глаза на нас таращат, а сами отражаются в наших осколках...

«ДРУЗЬЯ» И «ПОДРУГИ»

— Почему? Ну почему же это все люди все-таки женатые? Несмотря на то, что у них есть прыщи, бородавки, угри и многая другая мерзость, о которой и жутко даже вспоминать? У меня самого, например, крайне кривой нос, под глазом вечный синяк, лабильная вегетатика, а ведь я дважды был женат, а нынче женюсь в третий.

Так размышлял я, поджидая в этот свой торжественный день на углу близ сквера свою «подругу».

А имея некоторый досуг, все посматривал да посматривал на одну некоторую пышногрудую зрелую девочку. Студенточка резвилась в одиночестве и что-то тихо шептала на скамейке тихого сквера, носящего имя нашего гениального земляка В.И.Сурикова, среди желтых и опавших листьев осени. Вот она словила падающий листок, который «как капля воска», по выражению ленинградского поэта А.Кушнера. Вот она словила этот листок и положила его на влажную ладошку, и провела другой ладошкой по его рельефной поверхности. Черная прядка ее выбилась из-под малинового берета, и кораллами белели зубки, и малиново алел красненький ротик. Я пришел в восторг. В это время меня схватили за нос.

— Все рыщешь, козел! — пошутила незаметно появившаяся моя «подруга».

— А ну отвали! За что хватаешься! — шутя отбивался я.

— А ты не рыщь! Ты не рыщь! Рано еще рыскать! — по-прежнему шутила она.

И по-прежнему держала меня, падла, за нос. И ведь не смущало ее, граждане, что нос ее «друга» крив, груб, липок и влажен от пота, как налим — крайне кривой нос! И под глазом вечный синяк, и лабильная вегетатика, и пятьдесят процентов из полочки отчисляют ежемесячно на сторону. Не смущало.

А почему? Нет, ну вы хоть раз объясните мне вразумительно — ПОЧЕМУ? Ну почему все люди женатые и упорно продолжают жениться, несмотря на крайне отрицательный опыт в этой области, накопленный человечеством всех времен и народов, начиная с древнего грека Одиссея и кончая мной.

Торжественно влекомый в загс этой темной силой, всей своей вспотевшей кожей тоскливо ощущая будущего Мендельсона, я беспомощно оглянулся.

Девочка по-прежнему играла листиком. И кругами, загребая джинсовыми ногами пышную листву, пикировал, заходил на нее, кружил ястребом какой-то молодой человек из нынешних. И что-то ей, разумеется, уже такое плел, загибал, доказывал. Девочка, разумеется, фыркала и отворачивалась в негодовании.

— Дофыркаешься, девочка! Додоказываешься, молодой человек! — сурово пробормотал я.

— Чего-чего? — не расслышала моя «подруга».

— Нужно говорить не «чего», а «что», — поправил я ее.

НЕДЕЛЬКА

Ай и выдалась у одного человека крайне неудачная неделька! Во-первых, что-то многовато работы бумажной сыпанули в конторе. Ну а потом приезжали гости из деревни, и все сильно пили. Некто Бурмата ходил к соседям спички просить, а на другую ночь — соли. Братья Прусаковы подрались на лестнице. А какая-то тоже ночью, но уже к утру по ошибке застучала в дверь совсем чужая, сильно беременная девушка, разыскивающая своего неверного возлюбленного. Она говорила очень резко, отчетливо и громко. Грозила милицией и исправительно-трудовыми работами. И все не верила, что ее возлюбленного тут нет. На скандал высунулись соседи и сказали, что все это им сильно надоело — будут писать заявление. Человек окончательно струсил. А вдобавок ему еще утром принесли какую-то, я уже и не помню откуда, повестку, чтоб он куда-то пришел да все свое с собой имел.

Человек подумал, повздыхал, прикинул, а потом взял да и повесился в ванной, на батарее парового отопления. Его и похоронили.

Так что где он сейчас — неизвестно. Лучше ему или хуже — никто не знает. Даже если и считать, что душа несомненно существует.

А вообще-то откровенно говоря, даже если и считать, что душа несомненно существует, то все-таки зря он это сделал. Ну что там — гости бы уехали, девушка бы родила без него, повестку бы порвал, выпил бы еще водки или седуксену да и завалился бы спать, даже если и считать, что душа несомненно существует. Ведь куда нам спешить-то, ребята? У нас ведь, как говорится, все еще впереди...

КТО ВИНОВАТ?

Прошу зажмуриться, а потом широко раскрыть глаза. Вот! Вот она, легкая и весенняя улочка. Солнышко забавно лучики пускает и щекочет уставшую кожу. Детки копошатся в живых лужах, на углу спекулянты продают желтые цветочки, а студентка второго курса одного из институтов города К. Надя Фрезер гордо вышагивает в своем новом пальто под замшу и в сапогах на платформе, сливаясь с потоком заслуженно отдыхающих по случаю воскресного выходного дня. Дыша через значительный слой пудры и помады невинностью, молодостью и красотой, потряхивая в такт своими русенькими, ловко завитыми кудельками.

А навстречу ей — кто? А навстречу ей длинноволосый и белозубый, широкоплечий и нежный, скромный и любимый Вася Феськов, сын бедной вдовы из Слободы III Интернационала. По прозвищу Физя. Который этот Физя взаимно влюблен в эту профессорскую дочку Фрезер и, несмотря на длинные патлы и происхождение из благого района, населенного бичами, ворами и проститутками, остался в этой жизни чист и гордо несет свою влюбленную голову.

Вернее, не ОСТАЛСЯ в этой жизни чист, а СТАЛ чист. Потому что ведь было же в детстве и отрочестве всякое: и стенка на стенку с вырванными из забора штакетинами, горбун Никишка во дворе, которого дразнили «Никишка-шишка», а он в ответ плевался очень метко и далеко, а также еще дальше пулял камнями, и эта самая Фенька — ПАРАФИН (пара фингалов), которая, что ни ночь, то и орет в чахломе сквере: «Парни, парни, ну вы чо, парни?»

А он взял да и стал чист. А потому, что он много читал. И научное, и развлекательное. А также — классиков. А также особенно Тургенева Ивана Сергеевича и Чехова Антона Павловича. О, Вася тонко их прочувствовал! И мнился ему звон хрустальных бокалов жизни, и помешивание серебряной ложечкой чая с лимоном, и милая, все понимающая жена, и сигарета с фильтром, и лекции, и научные изыскания, и вся его последующая и красивая будущность на благо нашего общества.

И — встретились. И — чу, братья! Потому что — как? Как описать эту невинность и чистоту с двух сторон? Эти открыто глядящие на МИР глаза, в которых отражается вся наша бодрая Вселенная — и эта легкая улочка весенняя, и это солнышко, льющее лучики, и эти милые бабушки с первыми подснежниками, и эта музыка из раскрытого окошка, и этот Вася Феськов, этот «Физя», «милой, смешной дуралей». Иной раз напустит на себя черт знает что, а сам так смущается за столом, покрытым хрустящей скатертью, когда строгая мама Елизавета Степановна разливает чай в фарфоровые чашки и пододвигает вазочку с вишневым вареньем:

— Кушайте, Вася!

Как? Ну как описать? Как описать, что застегивалась нежным наманикюренным пальчиком верхняя пуговица шерстяной рубашки молодого человека, которую он купил на деньги, заработанные в студенческом строительном отряде? Как? Что? Да нечего тут и сказать, нечего тут и описывать!

И тут с унынием и очень робко прошу вас снова зажмуриться и не открывать глаза до самого конца этого рассказика. Потому что, как бы это выразиться поделикатнее, я тут, конечно, не виноват, но как бы это поделикатнее. Ну потому что тут прибежали на тот же угол эти две паскудные, ужасные, грязные, обод-

ранные, паршивые собаки-дворняжки со слипшейся грязной шерстью. Они мелко обнюхивали друг друга.

— Ой, какие собачки! — только и успела сказать Надя.

А больше она ничего не успела сказать да и не в силах была. Потому что эти самые собачки на виду у всех, на виду у всей бодрой Вселенной, тут же на углу вдруг это бурно занялись своими обычными весенними делами.

Лицо Наденьки пошло красными пятнами, но она крепилась.

— Что ты сказал, я не расслышала? — переспросила она.

— Я говорю, что двадцатого приезжает квартет старинной музыки «Партит». Взять билеты? — отвечал Вася, стараясь не замечать собак.

— Физя, идем отсюда, — вдруг сухо сказала Надя.

— А что случилось? — деланно удивился Вася, сам сгорая от стыда.

Надя внимательно посмотрела на него. Вася глядел на нее искренним взглядом.

— Хам, дурак и подлец! — выкрикнула тогда Надя и, тоненькая, сорвавшись, побежала, побежала, побежала.

А Вася — за ней. И несомненно догонит. И клянусь, что будет у них и серебряная ложечка, и вся их последующая и красивая будущность на благо нашей Родины.

А собаки остались. Они сделали свое дело. Они глядели друг на друга и улыбались.

ПРОПАВШАЯ ЛЮБОВЬ

Он лежал в постели. На левом боку. Времени было — двенадцать дня. Простыня была и не свежая, и не грязная. Застиранная была простыня, и наволочка была застиранная, и вторая простыня, и накрыт он был тонким одеялом.

В окно, высокое окно, вливался серый свет сквозь пожухлые тюлевые шторы. Где-то чирикали птички, а может это называется, что вовсе они не чирикали — пели, а может и вообще молчали эти самые птички. Но во всяком случае хоть трамвайчики звякали, и шарканье прохожих ног шло, и шепоты вливались сквозь пожухлые тюлевые шторы.

Он лежал в постели. И уже на правом боку. И времени стало уже три часа дня. И он сказал: «Да что ж это такое, что ж это такое, в конце концов?»

Он на спину было лег, и было уж шесть, когда он завопил:

— Да что ж это такое? Что же это такое в конце концов? Кто я? Кто я такой? Храбрый я, что ли? Вот на работу сегодня опять почти не пошел, а ведь начальник А.И. Кушаков между прочим смотрит совсем косо, хотя и от природы косою на один глаз начальник А.И. Кушаков. Да что ж это такое? Ну почему же я вдруг всего перестал бояться? Милиции перестал бояться, потому что она мне друг и ловит пачкающих блатных, автотранспорта я перестал бояться, источника повышенной опасности, военкомата, тюрьмы, монастыря, психиатрической больницы. Да я вдруг и баб перестал бояться! Все раньше боялся, что вот сейчас женят, а ныне уже и не боюсь! Хоть все сейчас сюда приходите, а я вас все равно не боюсь... Вот сегодня одной написал письмо, из которого ясно следует, что у нас с ней что-то было. А я все равно ничего не боюсь. Да что ж это такое, в конце концов? Господи! Да что ж это такое? Ну кто я стал? Кто я такой стал? Храбрый, что ли? С чего бы? Ведь выгонят же, выгонят с работы, заберут, посадят, задавят, залечат, женят?!

Заснул.

И додумать такую очень важную мысль не успел, потому что заснул. А спал всегда, будучи здоровым человеком, ровно, без сновидений...

Ровно в восемь вечера он перевернулся на живот и заплакал. Он плакал во сне. Ровно, без сновидений. Без мысли, без сердца, без страсти, без горя. Без боли, обняв серую подушку свою, как ищут спасение свое. И он был — о как плохо! — он был один в мире. Всю свою любовь он частью сам растерял, частью отняли, частью просто пропала.

Но позвольте, позвольте, скажут мне. Позвольте, но ведь ровно в это же время миллионы людей любили, дышали, страдали. Бесчисленные симфонические концерты исполняли Чайковского и Гайдна. Миллионы сидели в уютных библиотеках, где волшебен зеленой лампы свет над шелестящими страницами. Ученый в черненькой шапочке что-то важное объяснял, тыкая указкой в карту звездного неба. Едва соприкасаясь нервными тонкими пальцами, шли по серебряным лужам юные, луной облитые фигуры. Пульсировала кровь, ревели авиамоторы, крутились карусели, шампанское выплескивалось из плотных горлышек в хрустальные стаканы.

Но что стоит все это, если человек лежит в восемь вечера на животе и плачет во сне? Ровно, без сновидений. Без мысли, без сердца, без страсти, без горя. Без боли, обняв серую подушку свою, как ищут спасение свое.

Кто этот человек? Я? Я не знаю. Я смотрю на себя в зеркало, но я не узнаю себя.

— Эх ты, — сказала мне моя баба. — Какое зеркало разбил!

— Чего орешь? — сухо поинтересовался я. — Тебе что важнее — зеркало или я?

— Конечно ты. Ты это знаешь, но все же как-то же ведь надо немного держаться, — продолжала ворчать баба.

— Мой ангел! Кумир мой! — вскричал я. — Вы похожи на половую лилию, благоухающую в Садах Аллаха. Я боготворю Вас, ангел Вы мой! Я целую кончики Ваших крыльев!

Баба перестала плакать и с любопытством взглянула на меня.

— Ты зачем кривляешься?

— Что? — спросил я.

— Не половую, а полевою, — сказала она.

— Разумеется, разумеется, ангел мой! — сказал я.



Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ

ЭЛЕГИЯ

Родился в 1938 году. Окончил Московский энергетический институт. Работал техником, инженером, наладчиком приборов. До 1988 года печатался в зарубежных русских изданиях, в последнее время подборки стихов публиковались в «Новом мире», «Огоньке», «Юности», «Дне поэзии», «Литературной газете». Живет в Москве.

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!

Ф. Тютчев

1

Все к одному. Докучливые песни,
мои интеллигентские болезни,
а также пролетарские обиды —
зачтутся мне по первое число.
Уже ползет буравящая сырость,
и если не чумой, то черной оспой
отравлен воздух на сто лет вокруг.
Рябь на воде, на лицах, на обложках,
рябая власть мне пожимает руку,
рябой мясник мусолит карандаш.
— Два двадцать две! — колдун и математик
швыряет кость, и туго пеленает,
и ловит чек — и вот она моя.
И шаткий дом — пожизненный троллейбус
везет меня, хотя и не уверен,
хотя и стар, хотя и трусоват.
Рябой водитель мне откроет двери,
и грязно-серый сумеречный снег,
весь в оспинах, уже переболевший,
забывший чистоту происхождения,
как грязный, пресмыкающийся выкрест,
замедлит бег — и плюнет мне в лицо...

2

Куда мне деться? В Бога я не верю.
Боюсь, боюсь, а все-таки не верю.
Не верю вовсе. А уж как боюсь!
(Легко ли ощутить духовность мира,
когда, как гусь, ты густо нашпигован
плебейским духом материализма,
безрадостным еврейским чесноком!)
Угрюмые пророки Иеговы
не зря жевали хлеб и знали силу
распахнутой, незавершенной строчки,
поставленной с разбегу на-попа.
Великий клан, безумная семья,
но все до одного — головорезы.

От этих прочь. А что до Иисуса —
я рад ему. Но только он не Бог...
Так и живу. И вместо благодати —
чеснок и перец материализма,
бессонный, нерастраченный вопрос,
да вечная ухмылка демократа,
рискующего преклонить колени
пред кем угодно, кто велик, но равен,
пред тем, кто славен, — но не вознесен.

3

Так и живу я — без благословенья,
со страхом в сердце — без предначертанья,
но также и без осужденья свыше.
Сам по себе — невесело живу.

4

Еще мальчишкой в черных шароварах,
с резинкой, заползающей под ребра,
мечтая о пятерке на кино,
на ярко освещенных тротуарах
я постигал прекрасные миры.
О благородство жаждущих напиться,
о запахи сиятельной жратвы!
Дыханье фантастической пещеры,
где по ночам на золоченых шпагах
готовят мясо диких кабанов...
Вот эти двое выпили и съели
все, что доставил ласковый сенатор,
отец родной, желающий добра.
Теперь их ждет учтивая прогулка,
расслабленный, негромкий разговор,
где каждое обученное слово
не хуже дрессированной собачки
цепляется за нужную ступеньку,
все выше, выше, все смелей, смелей,
и вот уже уверенная лапка
толкает дверь в кружащуюся спальню,
над мебелью, одетой в пеньюары,
витают смесь духов и нафталина,
и сдавленный, колеблющийся шепот
гнездится в складках матовых портьер...

5

О Господи, ну что мы потеряли,
какая радость в юношеских бреднях,
и что содержит, кроме страха смерти,
вселенский плач о прожитых годах?
Вот песенки, которые мы пели:
изделия халтурного завода,
две-три строфы кустарного литья.
Знак символа, тень знака, символ тени —
все варианты словосочетаний,
ничто не означает ничего.

Теперь же мы разумны и свободны,
 все домыслы нам заменяет опыт,
 не повода мы ищем, а подарка,
 все вне себя, и ничего — в себе.
 Но прошлое, куда я так стремлюсь,
 всегда при мне. Я, как скупой отшельник,
 владею всем, не тратя ни гроша.
 Ничья обида не прошла бесследно,
 ничья усмешка не пропала даром,
 все к одному, и все в один котел.
 Отныне, как рачительный хозяин,
 я обхожу, кружа, свои владенья
 и нахожу лишь там, где потерял.
 К осыпавшейся, пухлой штукатурке,
 к давно снесенной лестнице подвала,
 к пустой, несуществующей скамье —
 я прихожу бессонными ночами,
 чтоб ощутить, поцеловав святыню,
 сладчайший вкус потери на губах...

6

Переезжаем. Масляная краска.
 Я лишний человек. Раскрыты окна.
 И к радости примешана печаль,
 как запах яблок — к запаху олифы.
 Богатый отчим закупил мешок
 антоновских, литых, крупноголовых,
 а в комнатах ремонт, раскрыты окна,
 «грызи», мне говорят, и я грызу
 зеленовато-кислую олифу.

Я выхожу во двор. Играют дети.
 И робкий взгляд жидовского отродья,
 ежеминутно ждущего подвоха,
 я направляю мимо их голов.
 Все обойдется... Я еще не знаю,
 в какой тоске мне суждено метаться
 между колодцем масляной окраски
 и дружески обхарканным двором.
 И что за цену заплатить придется
 за хлеб и кров, за гречневую кашу,
 за чай без счета, пахнувший лекарством,
 за пару брюк и прочее довольство,
 за вонь клопообильного дивана,
 за пыль неистребимого ковра...
 Скрежещет лед у водяной колонки,
 уборная воняет керосином,
 шатаются перила. Наверху
 семь рыжих девок замуж не выходят,
 семь рыжих баб беснуются и воют,
 и судят мир, и водят хоровод.
 И так поют — до смерти не забудешь:
 еврейский вопль, и русская безмерность,
 и вяжущая нежность-полукровка —
 на голоса разложенная боль.

Вот так и жить. Вдыхать уютный воздух,
 где с потом перемешаны флюиды
 прикосновений, вздохов и намеков,
 и слез, и необузданных любвей.
 Вот так и петь. Хлебать по вечерам
 свекольник из веснушчатой тарелки
 и на диване, опершись на локоть,
 с девицами тягаться в «дурака».
 Так и не знать того, другого дома,
 в котором полумрак и неподвижность,
 где царствует умеренная сырость
 и лживая тугая тишина.
 (И лучше так, и только б не прорвалась,
 боишься тронуть, Боже упаси!)

Два этих слова: «масляная краска»
 еще должны проплыть по коридору,
 в пути теряя желтизну и гладкость,
 и холод учрежденческой стены.
 Им надо разогреться и сгуститься,
 и пропотеть, и сладко так запахнуть,
 и выплеснуть себя, разгорячившись,
 и расползтись ребристыми плевками,
 и — чудо из чудес, вовеки чудо! —
 мозаика ложбинок и бугров,
 так счастливо совпавшая с рисунком!

А живописец был крестьянский парень,
 всеподданнейший пестун академий,
 еще живой, еще не приобщенный,
 еще не получивший — по труду.
 По праздникам он выходил на площадь,
 на перекресток черных коридоров,
 аккордеон — душою нараспашку,
 весь излучая пьяное сиянье,
 лежал в обнимку на его груди.
 И шепелявый маленький еврей,
 Бог весть откуда взявшийся приятель,
 пел всеми обожаемые песни,
 где не было ни музыки, ни слов,
 но лишь желанье музыки и слова...

А может быть, в них было все что надо?
 Мне не судить. Послушать их теперь —
 как будто в гости к женщине прийти,
 пятнадцать лет назад окаменевшей.
 Прийти к живой. Поцеловать ей руку
 (прожилки, кольца, сломанные ногти),
 беспечно исчерпать житей-бытье —
 и вдруг споткнуться беспокойным взглядом:
 и что-то там в душе переменить,
 перемешать, чтоб не было соблазна
 мурыжить ускользящую нить,
 чтоб не было желанья гладить плечи,
 и отвечать впопад, и скалить зубы,

и с каменным бесспорным изваяньем
пытаться эту тень соединить...

Салатово-лимонные пейзажи,
съедобно-абрикосовые лица,
лилово-голубые небеса...
Холсты висели ровными рядами,
и, валенки снимая перед сном,
глухой старик, отец его, жестянщик,
глядел в упор и мог, коли хотел,
узнать свою родимую деревню,
а не хотел — так мог не узнавать.

7

Мой город расплзается все шире
и, как пятно чернил на промокашке,
в лиловый цвет людского копошенья
окрашивает белые поля.
И те часы, что я живу на свете,
окрашены лиловыми тонами:
каленный шарик, пахнувшая паста,
да вскользь еще — лиловая решетка
на записных, негнущихся листах.
Те два часа, что я живу, как барин,
(там, за стеной, ворочаются дети,
им видятся воинственные сны,
густые, как рисованные фильмы),
я пью чай, жую неторопливо,
и думаю, и можете поверить,
ни за кого себя не выдаю.
Потом, когда не требует поэта
Великая Дневная Толчая,
я отсылаю всем без исключенья
свое лицо с оплаченным ответом
и за ночь отсыревшие мозги
сушу на проводах под напряженьем.

8

Баллоны ламп, мои спинозьи стекла,
вишневые тугие волдыри!
Транзисторы, трехлапые букашки,
впечатанные в сети пауки,
мой сладкий мозг сосущие с любовью!
Еще я открываю рот для крика,
еще рывком заглатываю воздух,
еще хриплю — но слов не разобрать.

9

Когда-нибудь я выйду, как обычно,
в полурассвет троллейбусного утра,
в широкое морозное дыханье
январского неначатого дня.
И удивлюсь: откуда эта легкость?
А это разожмет свои суставы

бессменная ватага инструментов,
 кочующая армия Махно.
 В моем портфеле будут только книги,
 писанья болтунов и недоучек,
 да кое-что — едва из-под машинки,
 да что-нибудь — в пустых еще листах.
 И я спущусь в метро, согрею руки
 и, потрясенный изобильем женщин,
 устрой конкурс, строго отбирая
 по цвету глаз и стройности фигур.
 И никуда не буду торопиться!
 А в это время Алтернейтинг каррент,
 Светлейший ток — сквозь вакуум прорвется
 и, торжествуя, выйдет в потолок.
 И сразу, как бездомная поземка,
 там наверху, по белому проспекту,
 шуршащий зов: «Ищите инженера!» —
 пиратский клич мучителей моих.
 И голову втянув поглубже в плечи,
 я повторю: «Ищите инженера!» —
 и книжкой легкомысленного свойства
 от ласковых убийц отгорожусь.

10

Мизантропия — та же энтропия.
 Всеобщий хаос, логарифм несчастья.
 Та мера одиночества, которой
 мы меряем последние шаги.
 Неужто тяжесть века в том повинна?
 Неужто даже мы под этим гнетом
 теряем форму, вязнем и течем?
 Завистники, ревнивцы, честолюбцы,
 давайте, соберемся, как обычно,
 слетимся все на наш последний шабаш,
 в ладоши хлопнем, скажем заклинанье,
 и обернемся лучшими друзьями,
 а наши парниковые улыбки
 так жарко разогреют атмосферу,
 что впору выключать теплоцентральный.
 Давайте поиграем в доброту.
 Я вам, вы мне. Хорошенькое дело!
 Пока еще летает этот мячик,
 все ничего. Но если он сорвется —
 тогда хана. О Господи, неужто
 никто ни перед кем не виноват?!

11

Серебряный декоративный день,
 накрытый глазированной крышкой,
 звенит-гремит, как город в табакерке,
 сам по себе, и я тут ни при чем.
 Вот радужные лыжницы толпятся,
 выпячивая бодрые зады,
 имея сто одежек без застежек,

отточенные тыча оперенья
 в ребристую троллейбусную дверь.
 Вот пьяный мой сосед, хороший парень,
 стукач и сводник, плут и алкоголик,
 слюной умылся, хлебушком утерся,
 несет-ползет — и пива не забыл...
 А вот моя жена от остановки,
 вся торопясь, вся в сумках и авоськах,
 наискосок, пружиня и скользя...
 А он ее приветствует, как может,
 и по ее прекрасному лицу
 чернее мухи взгляд его елозит.
 Она идет, восходит по ступенькам,
 и праведный, отшельнический кашель
 стучится в дверь и душу мне сжимает
 безадресной мучительной тоской.
 Кому мне предъявить мое унынье?
 На чей мне счет перевести терпенье,
 чтоб долгожданный ветер перемен
 коснулся лба горячими губами?
 Прости, Господь, и не лови на слове.
 Переменить? — Немедля переменим.
 Сейчас вам будет все наоборот...

12

Нет, грех роптать. Пока здоровы дети;
 пока меня Уральская тайга
 не приласкала писком комариным;
 пока не окунула мордой в снег,
 сухой и жесткий, как наждачный камень;
 пока я о сосну не бьюсь затылком,
 пока я жив — и радуюсь погоде,
 пока здоров — и от кошмарных снов
 еще меня спасает пробужденье;
 пока я заморочен и обижен,
 пока я раздражителен и сух —
 все хорошо, чего и вам желаю.
 Я прожил жизнь не хуже, чем пытался,
 все выжал из нее и все в ней выжил.
 И кончился. И просьба не винить.
 И нет меня. Но остаются дети.
 Ночь на исходе, утром на работу.
 Привычную напялив оболочку,
 я вновь прикинусь теплым и живым.
 Мой внешний вид вне всяких подозрений:
 ни зеркала, ни взгляды сослуживцев.
 Но есть глаза, есть два таких зрачка,
 в которые вошла без искажений
 моя потусторонняя тоска...

1972

МОСКОВСКИЙ ГАМБИТ

Роман

И вдруг какое-то легкое успокоение, вернее отупение, мелькнуло в них. Может быть, это была простая реакция: от усталости. Всего лишь от усталости. Немыслимо все время быть в отчаянии.

Но она ухватилась за эту усталость.

— Во-первых, Максим, не все еще потеряно физически. Ведь были же случаи выздоровления. Были. Были... — быстро и упорно повторяла она, только для того, чтобы настойчивым напоминанием об этом, никогда почти не сбывающемся шансе вернуть ему хотя бы способность мыслить. А потом перейти к главному, что поразило ее: его отчаяние было настолько полным, ужасающим и нечеловеческим, что было ясно — он потерял веру в Бога; просто, может быть, забыл о ней. Никогда в жизни она не видела такого отчаяния, или действительно человек может вдруг превратиться в один темный, утробный, жутко-бесконечный вой, обращенный в никуда?

Она тут же вспомнила, ей приходилось видеть умирающих, и молодых, и неверующих, но такого отчаяния не было ни у кого из них; правда, они обычно умирали несравненно хуже верующих, причем часто тупо, как будто действительно уходили в небытие. «Так в чем же дело, одним простым неверием тут не объяснишь», — лихорадочно думала она. И опять догадка пронзила ее: «это потому, что он слишком любит себя! Да, конечно, такого сочетания перед лицом гибели не выдержит никто: безнадежное неверие и сильнейшая любовь к себе!»

Она застонала, и темная судорога теплого ужаса прошла по телу. Быстро подбежала, точнее бросилась к Максиму, и опять обвила его руками.

— Слушай, Максим, — зашептала она, нервно дыша, приблизив свое лицо вплотную к его глазам, словно объясняясь в любви. — С тобой что-то произошло... Ты как будто потерял веру. Веру в себя, в Бога и в то, что душа бессмертна. Если это так, то всему конец. Ты должен вернуть эту веру.

Максим отшатнулся.

А у нее в голове стояло: «Если он не придет к вере, то сойдет с ума... Невозможно так любить себя и жить с мыслью, что ты исчезнешь навсегда».

Тем временем она услышала слабый ответ Максима:

— Я не знаю... У меня все вылетело из головы... Я верующий, крещеный, но... Ничего во мне нет сейчас... Я знаю только, что меня тащат в черную яму... Я не хочу! Не хочу! — опять вздрогнул он, и ей передалась эта судорога, переходящая в оргазм смерти, который рядом с оргазмом любви.

И тогда в бешенстве сопротивления она начала говорить. Все, что она слышала, знала, понимала и с тем же яростным внутренним убеждением и верой, которые жили в ней — она пыталась передать ему.

Но эта убежденность наталкивалась на пустоту. Правда, Максим перестал рыдать и как будто начинал успокаиваться, но может быть совсем от другого. И ее слова не доходили до глубин его сознания, он повторял их, бормоча, и соглашался с ними, но это почти ничего не меняло в его состоянии. В мертвом отупении он смотрел на нее, но все-таки это было лучше голого отчаяния. Вид его был до безумия болезненный и измученный. Казалось, он не узнавал сам себя.

Но вскоре эта ее атака по крайней мере хоть на поверхности успокоила его. Да, и ее присутствие, конечно, тоже помогло. Хотя взгляд Максима по-прежнему оставался мертвым и тупым; но в застывании, а не в крике и в ужасе. А Ка-

тенька тем временем хлопотала дальше: вынула из сумки бутылочку хорошего вина.

— Тебе можно немного? — спросила она.

Он махнул рукой: немного можно.

Она налила ему капельку, просто для бодрости, налила чуть-чуть и себе. Взяла и включила приемник. Из него полился веселый нелепый марш, и она раздраженно переключила станцию, найдя, наконец, то, что хотела: красивую, легкую музыку.

И сама она, усмиренная, села рядом с ним на стул, закутив — курение ему, оказывается, не мешало.

А между тем в это самое время к дому, где жил Максим Радин, приближался один из самых неумных поклонников Кати Корниловой — художник Глеб Луканов. Приближался пьяненький, раздрыганный, потерявши кепку, с намерением устроить здесь большой скандал.

А случилось вот что.

Глебушка еще с вечера узнал — от одного из заботливых в этом отношении людей — что Катя собирается посетить Максима Радина. Узнал он также, что Максим умирает, но не принял это всерьез. Возможно потому, что был пьяненький, и до невероятия ревнивый в тот момент. Он даже не понял, что Радин «умирает», ему почудилось, что Максим всего лишь «хочет умереть».

— Я и сам хочу умереть! — заорал он. — Уже давно! Тоже мне удивил! Что за способ!

И выскочил на улицу. Обычно тихий и благостный, он впал в крайне мрачное переживание, потом — в полное буйство. И изменился на глазах. Виною всею была его ревность и желание понять до конца свой роман с Катей.

Правда, в отношении Максима Радина он был почему-то особенно чувствителен. Во-первых, тут была ревность художника к художнику: хотя Радин не был так знаменит, как Глеб, но Луканов чувствовал, что звезда Максима восходит. Может быть, поэтому он с особенной тревогой переживал все нюансы Катиного отношения к Максиму, хотя видел, что там нет прямой любви, но ему казалось, что все-таки есть какая-то затаенная духовная привязанность, готовая вот-вот перейти в любовь. Он прощал Кате мужскую часть ее свиты: они в его глазах были относительно «снижены», не «творцы», кроме того он знал, что это нечто «сестринское». (В глубине души он все-таки опасался всяких таких «сестринских» отношений. «Сегодня сестренка, а завтра Бог знает что, — утрюмо думал он. — Знаем мы»). В конце концов он мог бы простить Кате и обыкновенного любовника, если тот был действительно «обыкновенный».

Но когда появился поклонник с претензиями на особые духовные отношения — это совершенно выводило Глебушку из себя. И поэтому он особенно сильно ревновал ее к Максиму.

Он знал, что Катя давно не посещала Радина, и это неожиданное и «страстное» (так ему сказали) решение Кати посетить Максима взволновало его до крайности. Замечание же, что Радин «умирает», не только не утихомирило его, но наоборот — обозлило необычайно. «Что же это такое, — думал Глебушка, бредя по кривым московским улочкам, — нарочно ее завлекает. Картин ему мало, теперь он хочет умереть. На жалость бьет. Хорош гусь. Так бы каждый ее завлекал. Ну, я ему устрою баню!»

Вечер у него прошел в тоске, водке и окаянстве. «Окаянством» он называл последнюю фазу своего пьяного падения: когда рушились самые заветные устои сознания, и он мог голый плясать на улице. Ему все это прощалось: даже официальное советское начальство по искусству подозревало, что он — большой художник.

Наутро Глебушка очнулся в вытрезвителе. Это было то самое утро, когда Катя спешила к Радину. Местный начальник долго грозил ему пальцем, но документы вернул и из вытрезвителя выпустил. Сначала настроение у него было самое благое и покаянное: он готов был упасть к ногам Кати, чтобы она, его царица Анастасия, в русской короне, в жемчугах и ожерельях, источающая любовь и милосердие к московскому народу, простила бы его, грязного и заблудшего бро-

дядю. Ведь и «Настенька» (так называл Глебушка подлинную царицу Анастасию) любила юродивых, и безумных среди них, и кормила и поила весь люд московский почти из своих рук. И она не отделяла себя от них в те блаженные времена, которые кончились так грозно. И молилась за них; и поэтому народ плакал так, когда она умерла, точно предчувствуя будущую беду. И кроме того, он не только юродивый, но и великий художник земли русской, и если даже Катя-Анастасия видела его вчера полуголым, когда он лихо плясал свое около памятника Гоголю, то все равно она должна его простить.

Такие мысли пронеслись в голове Глебушки, когда он, одетый и смиренный, тихо опохмелялся двумя кружками пива у любимого ларька недалеко от вытрезвителя.

Но часа через два прежняя ярость и изумление овладели им.

И подходил он к дому Радина вконец рассвирепевшим и распоясанным. Это было, правда, уже после двенадцати кружек пива.

Приход Глеба совершенно ошеломил Катю и Радина. Они, еще в прежнем, но уже уходящем напряжении сидели за столом.

Глеб был неузнаваем. Даже Катя никогда не видела его таким.

Он почему-то снял ботинок. И закричал, указывая на бутылку:

— Винцо распиваете... И закусочка тут...

Потом он подошел к Кате и кротко сказал ей:

— Катя, я тоже хочу умереть. Возьми меня, мертвого...

И он застыл на минуту, с ботинком в руке, и без одного на одной ноге.

Катя сразу догадалась, в чем дело. С другой стороны — Максим умирал. Это был кошмар.

Вдруг Глеб очнулся от своего застывания и мгновенно ударил Максима ботинком по лицу. Тот закричал и полез давать отпор. Упала и разбилась тарелка, полетел кувшин, зашатался стол... В ужасе Катя пыталась унять Глеба, остановить его. Но он, точно в бредовом сне, упрямо бросался на умирающего, и Максим отчаянно, из последних сил защищался.

Видеть это было невозможно: боль пронизывала все ее существо, и Катя, бросив их, отошла в сторонку и заплакала. Глебушку словно окатило холодной водой, и он замер.

На шум, крик, звон — явилась вернувшаяся домой соседка и, увидев сцену, закачалась от жуткого полоумного хохота. И потом ушла к себе, хлопнув дверью.

Как на зло, раздались звонки в дверь, и появилась мать Максима. На полу лежали остатки разбитой посуды, стол был опрокинут. Мать чуть было не упала в обморок, но потом ей вдруг на минуту почудилось, что Максим выздоравливает. Ничего не понимая, она схватилась за сердце и тяжело села на диван рядом с сыном, обняв его. Максим же пытался прийти в себя. Руки его дрожали, и щеки слегка покраснелись; почему-то он напоминал полупокойника. Вдруг он со стремительной яростью швырнул в Глеба что-то тяжелое, и если б попал ему в голову — дело могло кончиться плохо. Но предмет просвистел мимо головы Глеба и ударился об стенку.

— Убирайся вон! — крикнула ему Катя.

Глеб, ошеломленный, почувствовал: не то; во всем — и в лице и в фигуре Максима, в сгорбившейся его матери — выражение непоправимого горя.

Внутренне оцепеневший, Глеб вышел из квартиры. Катя выскочила на лестничную клетку и смогла только крикнуть ему вслед:

— Что ты наделал!

И потом сразу же вернулась в комнату и молча начала убирать стекло на полу. Ей стало страшно взглянуть в лицо Максима. Через минуту преодолев себя, она решила — и прошептала:

— Максимушка, прости меня.

Она подняла голову и увидела, что Максима нет в комнате, он, очевидно, вышел.

На диване сидела только мать; она вдруг проговорила сквозь слезы:

— Да что там, девушка... не знаю, как звать-то... Это он, значит, из-за вас... Да что там... Теперь все равно... Вы такая красивая, молодая...

И она зарыдала уже не сдерживаясь.

— Ты что, мама? — спросил Максим, входя.

— Да что... обидели нас... — спохватилась мать.

К Кате вернулся дар речи и соображения. Она приходила в себя. И, вдруг, заметив, что в глазах Максима дрожат слезы обиды, сразу почувствовала облегчение: это была жизнь, это была нормальная реакция; любое оскорбление было для него сейчас лучше, чем этот бесконечный ужас перед смертью, который она видела в его глазах и от которого у нее самой темнело в сознании. Любое надругательство было для него сейчас как освобождение.

Катя подбежала к Максиму, обняла его и поцеловала.

— Я приду завтра, — сказала она. — И помни наш разговор.

... На улице уже смеркалось, когда Катя вышла из дома, где жил Максим.

И вдруг в толпе ей почудился Глеб. Да, это был он. Несчастный и сжавшийся, он не то шел за ней, не то пошатывался из стороны в сторону. И, наконец, оказался около нее.

— Что случилось? — со страхом спросил он.

И Катя рассказала ему все: и о болезни Максима, и о своем состоянии, и о том, что он, пьяный, дрался с умирающим.

И тогда он застонал...

Это была поистине феерическая картина, от которой у нее перевернулось сердце. Только одно бесконечное несчастье исходило от Глеба.

— Я пойду повешусь... Я пойду повешусь, — говорил он ей, и вначале она почти не воспринимала эти слова, настолько они показались ей призрачными, хотя и напоенными страданием. Слова отделялись от него и повисали в воздухе — страшные, но бесплотные. Но вдруг она ощутила его присутствие, это был крик, рвущийся из мрака:

— Я люблю тебя... Убей меня... Дай мне умереть... Я люблю тебя!!!

Она не смогла этого стерпеть: стала обнимать, гладить по лицу дрожащими руками. У нее почти вырвалось, что и она любит его и не любит одновременно. И она заплакала от невозможности всего этого.

А он говорил, пошатываясь, точно улета:

— Я хочу пропасть... Совсем пропасть... В метро. В черном тоннеле. ...Чтобы меня раздавил поезд... И я успею там нарисовать свой последний рисунок. О тебе... Я пойду в метро... — и он дернулся.

Она не пускала, удерживала его, похолодев от ужаса при мысли о том, что он и взаправду может что-то сделать с собой в метро — там, где эти грохочущие, беспощадные поезда, выскакивающие из тьмы. Даже ее иногда подсознательно тянуло броситься с платформы в пропасть.

«Его нельзя оставлять одного», — все время думала она.

А что было делать? Везти его к себе? И вдруг ее осенило: рядом живет Анатолий Демин, тут его мастерская, и он один из немногих, кто предан Глебу по-настоящему, на него всегда можно положиться.

С невероятными усилиями она повела, скорее даже потащила Глеба по направлению к мастерской.

Истерический страх перед тем, что с Глебом может что-нибудь случиться, помогал ей двигаться.

Она опять слышала его слова... но все реже и реже... о том, что у него никого нет... И будет луна... Одна большая желтая луна на необъятном небе... А земли не будет... И с этим он сравнивал свою любовь.

А потом она уже не слышала его самого, не слышала слов: живого и странного. Он весь стал болью, даже физически от него исходила боль. И она подумала: с этим надо как-то кончать, в ту или иную сторону. Она не ожидала такой нечеловеческой боли. Она считала, что ему достаточно быть с ней в качестве поклонника, он сам это говорил раньше...

Художник Демин радушно принял из рук Кати своего учителя.

— Будет все в порядке, Кать, — уверенно кивнул он головой. — Не беспокойся. Где это он опять так надрался?!

— Наверное, когда ждал меня, — ответила она.

Через час Катя была уже дома, в своей кровати, и к ней под одеяло приползла шестилетняя дочка, возвращенная от бабушки, и обняла ее.

В последние минуты перед погружением в сон, вся эта история с Глебом вдруг исчезла из ума Кати, и в душе опять возник Максим и его отчаяние.

«Нет, нет, ему нужен священник... Только надо найти настоящего, все понимающего священника... Что с ним... В какое время мы живем?! Почему мы оставлены?!... Ведь раньше не было так страшно умирать».

И наконец, «нет, нет, не просто желание жить, а скрытое присутствие бессмертного начала в нас порождает эту идею вечного... инстинкт бессмертия. Как всякий инстинкт, он отвечает чему-то реальному... О чем я думаю?!... Господи, ведь впереди и мрак и свет!»

Среди ночи она несколько раз просыпалась, что-то бормоча и вся в поту. Один раз ее разбудила дочка. «Мама, — сказала она, — мне не спится... Я это я... я это я...» Катя крепко поцеловала ее...

И потом опять заснула. И вдруг из глубокого мрака в ее душе вышла книга, и она увидела ее в своем сне. То был роман, и светились золотые буквы заглавия. И чей-то голос свыше, но из той же тьмы произнес: «Перед тобой — последняя великая книга человеческого рода. Она будет написана перед концом мира».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Патология — это вид современного романтизма, — любил говорить Ларион Смолин. И сам он был великолепен: лет около сорока, уже с лысиной, в очках, худой, тонкий, даже изгибающийся, он поражал прежде всего своим лицом, если в него взглядеться. Лицо это было острое, выдавался подбородок и обширный суперинтеллектуальный лоб; в глубине же прятались острые пронзительные глазки, которые нередко светились непонятно-загадочным огнем. Блеск глаз был холодным и в то же время романтическим, зато ум внутри был настолько парадоксальным и неожиданным, что от этого-то ума у Смолина и происходили все приключения.

Это был гений патологического общения. Он превращал свои личные отношения с людьми в огненную поэму самоуничтожения, в экзистенциальный роман, в вид наркомании.

От его бесед, от его одиноких странных бесед, от одного их стиля и языка люди пьянели и уходили от земли. И вместе с тем от этих встреч плакали, бросались на Лариона с намерением задушить его, сами порывались вешаться. Это было потому, что он своим всеобычным умом как скальпелем проникал в самое подполье вашего сознания, в самые тайники человека, и беспощадно обнажал их. И всегда показывал их вам с неожиданной, часто болезненно-нелепой стороны, так, что страдало ваше самолюбие, самооценку и все устои. Вы рушились в собственных глазах. Ваш прежний, знакомый вам образ распадался, как картонный домик, и вместо этого вы часто видели нечто убогое, жалкое, больное и сумасшедшее. Это и было — по Смолину — ваше скрытое, внутреннее истинное существо, которое Ларион раскрывал.

И он обладал удивительной способностью пародировать его перед вами, изображая это ваше внутреннее истинное «я» в его интонациях, в его патологии, комплексах, бреде — и все это в сценках, в анекдотах, в ситуациях каких-нибудь, которые он мастерски и очень остро описывал.

Было от чего бросаться на Лариона!

И вместе с тем все это было не только беспощадно, но и окутывалось истерической романтикой, внутренней мистерией. Скрытый романтизм исходил от непередаваемой конструкции его фраз, от их «логического алогизма», от фонтана потайных мыслей, поэзии и полета вовнутрь. Мир становился невесомым; у собеседников кружилась голова, особенно когда Ларион бывал в ударе. Поэтому, кланя, к нему тянулись, как зачарованные, и некоторые даже любили его.

Но это была только часть его искусства. Затем начинался иной полет. Это ваше реальное жалкое «я», открытое, им он считал порождением ваших скрытых комплексов, результатом «искусственного безумия». Главное же состояло в том,

чтобы вывести вас теперь на широкую дорогу подлинного и здорового безумия. Ведь первооснова мироощущения Лариона заключалась в том, что он считал всех людей сумасшедшими. Именно всех. Они (люди) сумасшедшие по своей природе, сумасшедшими рождаются и сумасшедшими умирают. Но в большинстве случаев они просто не знают об этом, пряча свое безумие глубоко внутрь себя, и создают свой ложный образ, носят маску — и на службе и в быту, и для друзей, и даже для себя. Этот образ люди и называют своим нормальным «я», а на самом деле он по ту сторону всякой нормальности и ненормальности: его просто нет, он — иллюзия, маска, чтобы выжить. И миссия Лариона Смолина на земле состоит в том, чтобы сорвать эту маску, вскрыть то самое истинное «я», которое является сумасшедшим внутренним существом; ужаснуть или пугнуть им «пациента» или друга — а потом вывести на вольную дорогу подлинного, здорового и свободного безумия. Ибо ничего, кроме безумия, у человека нет и быть не может: он обречен на сумасшествие. Но безумие безумию рознь, считал Смолин. То безумие, открытое им в человеке в виде его «истинного «я» — было искусственно в том смысле, что оно было болезненным отражением субъективных страхов, комплексов и падений данного человека. Задача заключалась в том, чтобы уничтожить это субъективное, гнилое и паразитическое безумие и обрести космологическое, тотальное и полноценное сумасшествие.

И глаза Лариона блеснули при этом.

От этих его идей неподготовленные люди плакали. Так он довел до слез старушку соседку Олега, вкрадчиво объясняя ей целый час на кухне, какая она безумная и почему она этого не признает.

«От вашего Лариона можно заболеть, — говорила Олегу его другая соседка, Марья Петровна. — От него сумасшедшей можно сделаться».

И она стучала от злости куколкой по кухонному столу.

Денька за два до описанных событий у Максима Радина Ларион сидел в кафе на Самотечной вместе с одним интеллектуалом из Союза архитекторов, который очень интересовался современной неконформистской культурой. Смолин любил пооткровенничать за чашечкой кофе и рюмкой коньяка. Интеллектуал расспрашивал его об Олеге Сабурове, Валентине Муромцеве, Глебе Луканове и о некоторых других известных в подпольных кругах писателях, поэтах и художниках.

Прежде чем отвечать, Ларион закурил и бросил остро-проникновенный внимательный взгляд на собеседника. Смолин не был особенно в ударе, и вообще он никогда не говорил с посторонними своим мистическим языком. Но он готов был поделиться с таким своим мнением — на простом и ясном языке.

— Вы знаете, — убежденно сказал он, — это уже совершенно больные люди. Основной диагноз: мания величия. Ей заражены абсолютно все: от уже известных, печатающихся за границей, до щенков. Толя Елифанов, например, еще только вылупился, 17 лет, стихи правильно слагать не умеет, а уже маниакален в этом отношении. Почему? Вспомните: оборотная сторона мании величия — страх. Если вы считаете себя, свою поэзию, — доверительно наклонился Ларион к интеллектуалу, — синтезом Пушкина и Хлебникова, то вы больны, дорогой мой, вам надо лечиться, упорно и долго лечиться, а не писать стихи.

— Кто же из них считает себя синтезом Пушкина и Хлебникова? — ошеломленно спросил интеллектуал.

— Неважно! Неважно! А вы думаете, их поклонники — не сумасшедшие?! Да они такие же, как те — по структуре личности. Пожалуйста! Встречаю я недавно Танечку Колосову, пухленькую такую, маленькую и что же она мне говорит: «Вы знаете, Ларион, была я вчера на вечере у Олега. Он — гений, гений, гений!» Прямо так и визжит мне в лицо: гений, гений, гений! Я отвечаю: «Танечка, успокойтесь, давайте зайдём в столовую, выпьем по кофеечку, глядишь у вас дрожь и пройдет». Нет ни в какую, никуда не хочет идти! Отождествляет себя с гениальным, вроде под его крылом. А в основе: страх перед небытием — у всех у них. Отсюда и стремление вырваться — в просторы величия, к золотым берегам величия. А! — Ларион махнул рукой и отпил кофеечку. — Слышали, может быть, месяца два назад по Москве голый человек ходил, трезвый, в самом цент-

ре, по переулкам, а потом, как на улицу Горького вышел, его и забрали. — Ларион посмотрел на собеседника сквозь свои сверкающие очки. — Вот это, я считаю, был настоящий здоровый человек, это — нормальное поведение, — четко выговаривал Ларион, — потому что такой человек не боится своего безумия, а идет напрямик! Улавливаете символизм?!

Интеллектуал совсем озадачился и только покачивал головой, разводя руками.

— И что ж, все их окружение такое? — пробормотал он. — Ведь это большое число людей.

— Все сумасшедшие. Без исключения. Разумеется, с нюансами. С различием. И подруги их такие же безумные. Одна Ниночка Сафронова чего стоит. Нарочно устроилась работать в крематорий, хотя с дипломом. Диплом скрыла. Ну, послушайте, разве это нормально, чтоб молодая интересная девчонка, образованная, могла бы любой институт украсить, работает по ночам в крематории сторожем? Вот если бы она с такой психологией повесилась, это было бы нормально, потому что это был бы акт, действие, вызов, нечто героическое. Так нормальные люди и поступают. А она ведь все копит в себе, дрожит, думает, рефлектирует... Больные, глубоко больные люди!

— Это уже что-то невероятное! — ужаснулся интеллектуал. — Но может быть, это легенда такая... о ней...

— А вы думаете, ваши обыватели лучше? — распаялся Ларион. — А, бросьте! Одна только видимость душевного здоровья. Если он полтора литра водки в день может вылакать, это еще не значит, что он психически здоров. Знаем мы таких нормальных. Мой сосед, например, даже не пьет ни капли, кроме чаю, а такое мне в ухо нашептывает... Ого-го! Это, знаете ли, феномен. У них просто иная форма безумия, попроще, но поядреней. А если взять иной полюс: популярных знаменитостей, например, артистов, президентов, иностранцев, певцов и циркачей? Неужели вы думаете, они нормальны?

— Трудно сказать, — робко возразил интеллектуал. — Я не психиатр.

— И напрасно. В наш век каждый обязан быть психиатром. И сумасшедшим и психиатром одновременно. Улавливаете?

И Ларион нарисовал такую картину мира, что интеллектуал тут же заказал бутылку коньяку.

За распитием этой бутылки и кончилось первое знакомство официального представителя с неконформистским.

Некоторые считали самой острой особенностью Лариона его способность вытащить на свет его скрытое, истинное, большое «я» человека, а потом осмеять это «я» и даже окарикатурить его. И чем глубже он проникал в «странное подполье» человека, тем более потом приходилось этому человеку видеть себя на свету. В этом случае иногда доходило до мордобития. Даже собаки недолюбливали Лариона, хотя какое у собак может быть «странное полполье», уверял себя Ларион.

Но иногда он ограничивался относительно добродушными шутками и шаржами.

Так Виктор Пахомова он называл «дорогая пропажа», намекая на пахомовскую «потерю» своего высшего «Я» и на любимую Виктором песенку Вертинского, где были слова «дорогая пропажа». Ларион удивительно метко имитировал все движения и интонации Виктора, и когда Смолин произносил нараспев эти слова: «до-ро-гая про-па-жа», все покатывались со смеху, представляя себе Виктора и его потерянное «Я», как будто вывалившееся из Пахомова, как из мешка. И перед всеми тотчас обнажались самые больные места Виктора; его так и прозвали — «дорогая пропажа».

Где-то это было и неприятно и зло, но удержаться от смеха было трудно. Однако Ларион хмуро уверял, что это не издевательство, а желание помочь; помочь избавиться от личного безумия его обнажением, как бы оно ни было болезненно.

На него часто, конечно, обижались даже за самые «добродушные» его словечки. Исключением не был и Олег, но Сабуров все-таки сдерживал свой гнев и

говорил, что это даже полезно увидеть себя со смешной стороны: действует, как холодный душ. Тем более, от смешного до великого — один шаг, — добавлял он.

Способность Лариона к имитациям такого рода и перевоплощениям была безгранична. И многие любили видеть других в смешном виде, хотя порой приходилось терпеть, когда речь шла и о них самих. Все это, впрочем, не мешало дружбе, иногда истерической, а если иной раз вносился в нее зло-остренький элемент, то это было не так уж и плохо по последнему-то счету.

Валя Муромцев, например, любил не только слушать, что «открывает» в нем Ларион, но сам порой с наслаждением пересказывал это другим, хотя в «этом» было много нелестного для него. Он часто умолял Лариона проникнуть в него, Муромцева, поглубже, и изобразить по кошмарнее, и почудовищнее, так, чтобы он сам себе стал сниться. Это был единственный «пациент» такого рода, другие не так охотно мазохистировали, особенно на людях, и Валя даже немного надоел Лариону своей назойливостью в этом отношении. И если бы Валя Муромцев не соблазнял Лариона рестораном или бутылкой коньяка, Смолин не всегда бы так охотно откликнулся на его зов. За коньяк он шел на это с удовольствием, и, сидя с Муромцевым в уютном ресторанчике где-нибудь на окраине города, в тишине у Москвы-реки, раскладывал за шашлыком перед Валею все язвы его души, все ее бездны и падения, и визги, и кошмары.

— От тебя хоть польза, Валь, — не раз говорил ему Ларион под конец этих откровений. — А ведь эти, — он махнул рукой, — только бросаются на меня.

Муромцев редко заказывал закуску к алкоголю, не любил (зато водки брал очень много), но для Лариона — из уважения — делал иногда исключение. Ларион злился на эти «иногда» и передразнивал порой Валею — другим:

— Заходим мы с Муромцевым в кафешку. Он зовет официантку: Манечка... Манечка... Нам: две бутылки водки, бутылку портвешка... одну настоечку... мда... бутылку наливочки... обязательно... шесть пива... мда... и две килечки с черным хлебом. Все.

Муромцев, однако, очень любил полеты и «проникновения» Лариона (особенно серьезные), и теплыми осенними днями, встретившись утром на бульваре, они проводили целый день вдвоем, в мистическом единстве, в какой-то тревоге, и в обнаженных глубинах душ — своих, и друзей.

«Мне нужно чудо, — когда уже вечерело сказал один раз Смолин, — одинокое светлое окно среди ночи... И в нем человек, полный бездн, но не боящийся своего безумия... Превративший свое безумие во вселенную».

Таков был Ларион Смолин. И еще знаменит был танец Смолина, когда он в какой-нибудь пьяной компании один танцевал. Так танцевать могла, возможно, какая-нибудь потусторонняя сущность, а тут было существо с развевающимися редкими волосами, исходящее в ритмах умирания и тревоги. В эти минуты Ларион был действительно потусторонен — в том смысле, что был изолирован от всего, и до странности загадочен — особенно своим холодным взглядом, когда он танцевал.

Потом он сникал и улыбался, и по-человечески просил водки.

Между тем Олег Сабуров, после вечернего посещения Кати Корниловой и вести о болезни Максима, пребывал в некоторой грусти. На следующий день он добился свидания с академическим светилом по поводу Радина, и тот обещал помощь, но не выздоровление.

Потом Олег сдал свой перевод в институт, звонил Тоне Ларионовой, с кем-то встречался и, наконец, в тоске попал к Боре Беркову. Тот жил с родителями в отдельной, почему-то красивой квартире, где у Бори была своя довольно большая комната, заставленная шкафами с книгами. Здесь, на диване, рядом с окном, из которого виднелись небо и белые камни здания, Олег немного пришел в себя.

Мать Бори, седая, добродушная и по-старомодному интеллигентная старушка принесла им в комнату поднос с чаем, вареньем и пирожками.

— Так беседы лучше проходят, — улыбнулась она.

Боря выложил Олегу последнюю новость: Закаулов исчез. Это с ним бывало, и друзья не беспокоились на этот счет.

Но смертельная болезнь Радина на каких-то планах подсознания наложила свой отпечаток на их разговор, хотя они и не были хорошо знакомы с Максимом. Однако, главным все-таки была тень тайного человека.

— Все остатки моего прежнего глупого рационализма почти исчезли, — проговорил Берков. — Ничего не осталось.

— Ну, что ж мы знаем, от наших друзей, что это не мистификация по крайней мере. И что это серьезно. Круг Юры — надежный источник, а ведь оттуда потянулись нити, — сказал Олег. — Да и Саша, слава Богу, не дилетант, это сразу чувствуется в человеке... Дело не в этом. Для чего мы Саше, и что за игра, что за бездна стоит за всем этим — вот в чем вопрос. И увидим ли мы этого тайного человека. И что это за отбор-испытание людей, которое ведет сейчас Саша, я ничего не пойму. Каков принцип отбора? И списочек людей, которых не надо вовлекать, любопытен. Явно, что принцип основан не на гениальности, — чуть с иронией продолжал Олег, — а на чем-то еще... Откровенно говоря, я плохо понял, что происходило у Виктора, когда мы привели Сашу... Ты посек что-нибудь из того, что я тебе рассказал об этом?

— Нет. Но явно отбор основан не на знании, не на знакомстве с эзотеризмом. Иначе Саша, сам из этих кругов, искал бы людей где-то у себя. Правда, и у нас готовы к принятию этого. Как ты считаешь? Ты готов идти?

— Да, — ответил Олег, и помолчал. — Я слышу зов, страшный зов.

— И все-таки ничего не поймешь, — вздохнул Борис. — Вот эта книга о дзен-буддизме мне понятней, — и он показал на большую книгу на английском языке. — Кстати, надо предложить Саше как третий вариант Ниночку Сафронову.

— Конечно! Как это мы не догадались сразу. Вот это да!

— Мне почему-то только сейчас пришло в голову. А ведь она и наша, и связана с эзотерическими кругами. И ее нет в списке. Вот ее бы подключить, она может кое-что заранее распознать, думаю!

— Где ее телефон?

— Подожди, Олег, не торопись. Сначала надо показать Лариона, мы же обещали Саше.

— Нечего тянуть. Вечер еще только начинается. Давай-ка спонтанно. Попробуем сейчас созвониться с Ларионом и Сашей.

Борис позвонил — сначала Лариону, и застал его дома, в его однокомнатной квартире на Таганке, где он жил один. Ларион тут же согласился повидать нового «пациента» — каждый человек в его глазах был полусумасшедшим, нуждающимся в особом лечении. О Саше он раньше ничего не слышал. Но поставил условие, что если встречаться сегодня вечером, то у цирка в парке культуры и отдыха им. Горького. А потом — в ресторан. Ночью же можно посидеть и в его квартире на Таганке.

— Вы знаете, Борис, мою любовь к цирку, — говорил Ларион в трубку. — Обожаю цирк. И у меня много знакомых среди клоунов. Цирком я не могу жертвовать даже ради душевнобольных. Билетов вы уже не достанете. Встретимся у цирка после окончания...

— Я тебе перезвоню, — ответил Боря и тут же набрал номер Трепетова.

К его удивлению Саша тоже был дома, свободен, и с явным удовольствием одобрил идею цирка. «К тому же я люблю ночные встречи», — добавил он.

В результате поздно вечером Олег и Борис поджидали Сашу у выхода из летнего цирка. Представление еще не кончилось, и сквозь ненадежные стены цирка слышался нелепый древний рев тигра, свист бича и аплодисменты.

К полному удивлению Олега и Беркова Саша пришел не один. За ним ковыляла трое: один был инвалид, на костылях; второй напоминал карлика, хотя карликом не был; третий был красив, здоров, кудряв, в тельняшке, и настоящий богатырь, или во всяком случае гармонист. Все они довольно почтительно шли за Сашей.

— Кто это? — ужаснулся Олег, не удержавшись.

— Ничего, ничего, господа, — спокойно и весело ответил Саша.

Он был, как всегда, просто одет, словно работяга, в дешевом пиджачке и в рубашке нараспашку. Не хватало ему только кепочки.

— Это мои друзья далекой юности, со школы. Но они подросли. Нам они не помешают.

— Ну и ну, — робко ошеломился Берков.

— Ничего. Ребята тоже хотят в ресторан. Я им не могу отказать в удовольствии. Представляю: Степан, Юлий и Вадик.

И ребята, несколько не смутившись, уже пожимали руки нашим неконформистам. Вероятно, они где-то тоже были неконформисты. Инвалида звали Степан; «карлика» — Вадик; а красавца — Юлий.

Берков и Олег переглянулись. Олегу показалось, что «ребята» чем-то напоминают каких-то потусторонних чудовищ, разудалых, кудрявых и выскочивших из тьмы. Хотя, как будто бы, по крайней мере в отношении внешних форм, все было в порядке: ну, инвалид, без ноги — что в этом особенного; другой вроде бы слишком маловат ростом, но толком не разглядишь; это тоже бывает, красавец же вообще был не в меру розовощек и радостен.

Этот, последний, пожалуй, вызывал самое большое подозрение.

В это время раздался свисток, и толпа повалила из цирка. Тут же мелькнул и Ларион, согнуто-оживленный, ухмыляющийся, поблескивая своей лысиной. Но и он немного опешил при виде таких «гостей». Но тут же пришел в себя, покачнулся и быстро взглянул на луну. Состоялось энергичное знакомство. Ларион, вообще говоря, немного сникал после цирка, точно это зрелище забирало его энергию. Но гости подхлестнули его, хотя в то же время чуть-чуть обескуражили.

Гурьбой пошли к ресторану.

— Где это вы их выкопали, Саша? — тихо спросил Олег.

— Из ближних к нам регионов, — был ответ.

И после паузы Саша добавил:

— Да, они чудесные ребята. И кстати говоря, по-прежнему очень интеллигентные.

Ресторанчик оказался уютным, полу-безумным, и весь в зелени. Как ни странно, народу было в нем не так много. Дородная официантка озаботилась:

— Где же мне это вас обслужить, таких боевых ребят? Вы у меня назавтра водки не оставите в ресторане, — улыбнулась она.

— Что вы, мы — тихие, — успокоил ее Саша.

Расположились за двумя столиками, соединив их. Заказ получился весьма благостным и чинным: много закуски и всего по одной бутылке водки-вина на брата, не считая пива.

Первый тост предложил розовощекий Юлий. «За наше братство!» — выпалил он. Олег и Берков, не удержавшись, опять переглянулись. Но выпили. Степан, инвалид без ноги, сразу же предложил второй тост: «За Бодлера!» Это прозвучало точно короткий удар грома: настолько это противоречило его физиономии, почти уголовной. Ларион хихикнул, а Олег сказал, что тогда не чокайся, так как приходится пить за покойника. «Степа и хочет выпить за него именно как за покойника, а не как за поэта! — заметил Саша. — Как поэта он его даже не знает».

«Из какого сумасшедшего дома их привезли?» — подумал Ларион, развеселившись. Фонтан мрачного юмора так и захлестал из его уст. Досталось и подпольному писателю Геннадию Семенову, интеллектуалу и эстету, который предпочитал однако писать рассказы про идиотов. «Это у него от мистицизма, — усмехнулся Ларион. — Разочарован в уме. Он считает, что в мировом уме, а на самом деле — в собственном».

Олег заметил, что Саша на сей раз ведет себя совершенно иначе, чем при встрече с Виктором. Трепетов был тих, далек, не задавал парадоксальных вопросов и скорее только наблюдал.

Олег сам исподтишка поглядывал на Шашино лицо: оно казалось ему уже не таким закрытым, как раньше. Черты его были обыкновенны, но глаза — были в

высшей степени необычны. Олег видел: временами в них таился какой-то бесконечный разум, который потом вдруг исчезал, уступая место: чему? Глаза тогда, после этого ухода, превращались в бездонный путь, в провал, ведущий неизвестно куда. От такого взгляда становилось не по себе — если этот взгляд можно было распознать. Олега однако удивляло выражение непроницаемой странной грусти, которое иногда возникало на Сашинем лице. Он знал, что грусть — это не свойство сейджей.*

Но это была совершенно особая, из ряда вон выходящая грусть, может быть, даже грусть как некое средство, так, во всяком случае, чувствовал Олег, целиком отдавая своей интуиции, чтобы проникнуть в суть. Но суть не давалась, и грусть исчезала с лица.

В таких наблюдениях Олег провел вечер, сам погрузившись, но естественно по-человечески, по-обычному, и почти не трогая вино. Это была весьма бредовая пирушка.

— Куда все-таки он нас закинет, — раздумывал Олег. — Не сбежать ли лучше к Лесневу? Там по крайней мере все ясно: Индия, Бого-реализация, практика. Обучает высшей медитации. А здесь что? И хорош же сам этот тайный человек, если Саша таков. Хоть бы взглянуть на него разок. Интересно, отдадут ли ему честь пьяные, как я слышал в одной легенде о нем. Да, да, пьяные, если даже лежат в стельку, встают и отдают ему честь как генералу неведомого мира, в котором может быть сами пребывают, когда у них исчезает сознание... Такова легенда, со смешком. И еще есть другие, более исторические легенды... Но я слышу зов: зов и зов среди всего этого скрежета...

И он очнулся немного из-за неестественного хохота Вадика. Было почему-то неприятно, что такой маленький человек может так заливаться.

— Вы — интересные люди, — убежденно говорил между тем Ларион «гостям», не обращая внимания на Сашу. — Степан, правда, чересчур мрачен. Степан, а Степан, да не пейте вы так водку! Веселитесь!

— А я и веселюсь, — ответил Степан, похлопал по костылю.

Темнело, и Олега удивило, что так быстро стало лететь время, как будто они попали в иное измерение, точно сорванное с цепи. Ресторан был открытым, на воздухе, и ветер рвался в него, покачивая темные верхушки деревьев. Посетители исчезали, зал пустел. «Если бы так всегда летело время!.. ого... мы были бы уже на краю», — подумал Олег.

— Спляшем, Юлий, — внезапно заявил Ларион.

И Юлий, словно повинувшись его словам, сплясал, один, и ветер, дующий с озера, шевелил его кудрявые волосы. Олег заметил, что во время пляски Юлий почему-то смотрел в одну точку — неподвижно и тяжело. И это очень не вязалось с его разудалой пляской; такой угрюмый глаз подходил скорее покойнику или офицеру, ведущему своих подчиненных в ад. Но когда Юлий кончил танцевать, взгляд его помягчел, и он, подойдя, даже поцеловал Лариона в широкий лоб, от чего последний по-девичьи зарделся.

Было много анекдотов, шуток и прибауток. Эти трое — Степан, Вадим и Юлий — все более и более определяли настрой вечера. Степан больше не поминал Бодлера, а скорее просто подвывал тоскливые, дремучие песни. И делал это так обнаженно, что хотелось прильнуть к его тельняшке.

И вместе с тем, во всем этом была непонятная лихость.

Юлий, например, был чудодейственно весел (за исключением, конечно, тех моментов, когда взгляд его вдруг тяжелед, сосредоточиваясь в одной точке), и даже болтлив, если называть его странные, несвязные и отнюдь не пьяные высказывания болтливостью.

Ларион, наконец, утомился от всего этого. Его привычный интеллектуализм утонул в эдакой беспросветной обнаженности троих гостей. При этом у них почти полностью отсутствовали всякие соответствия чему-либо существующему на земле.

* Примечание: мудрецов и святых одновременно (sage, англ.).

Ничему не было конца, и вместе с тем все светилось горячей кровью. Румянец так и пылал на щеках Юлия, хотя говорил он об отсутствии судьбы.

— Мне страшно с тобою быть, потому что ты разрушаешь сознание, — сказал ему вдруг Ларион, и лысина его побелела.

Они сидели друг против друга, за столом, и держали в руках бокалы.

Юлий, развалившись на стуле, бешено захохотал в ответ на такие слова, и тут же умудрился в хохочущий рот влить добрый бокал водки.

— Что с ним? — шепнул Берков и подмигнул Лариону.

Кончив ржать, Юлий вытер салфеткой красные губы, пропитанные водкой, почему-то извинился и заплакал. Но плакал он так, что от этого другим становилось ни больно, ни страшно, ни стыдно — а только хорошо. Это было так же квази-натурально, как и его хохот. Поплакав, он опять вытер салфеткой губы, налил водки и, похлопав Лариона по плечу, весело вымолвил, точно утешая его:

— Ничего, старик, живем!

И всем стало очевидно, что жить, жить надо долго и обязательно без всяких берегов.

— Пора, братцы, пора! — проговорил вдруг Саша, остававшийся все время в тени.

Да, действительно было пора. Толстая официантка, прибирая остатки еды, дружелюбно поторавливала их:

— Ну, вот погуляли, и слава Богу... Глядишь, и завтра то же самое. Ласковые...

У границ парка, на Крымском мосту, расстались: Саша со своими приятелями направились к Зубовскому бульвару, а остальные — в другую сторону. Берков скоро исчез в глубинах метро, а Олег с Ларионом решили закончить вечер на квартире у Лариона за последней бутылочкой.

Ларион быстро вытащил из угла, добавив к ней, к красенькой, ломтики лимона на сахаре и яблочко. Он отдышал на диване и быстро протрезвел — от мыслей.

— Ну как тебе эти мальчишки, особенно тот, кудряш? — спросил Олег.

— Тяжелы... — Ларион вытер пот с лысины. — Ты знаешь, не встречал еще таких... Нда... Серьезное дело.

— А Саша?

— Совсем иное, это редчайший случай почти полного психического здоровья.

— Ого!... Жалко вот Муромцева не было.

— А! — Ларион махнул рукой. — Хорошенького понемножку. — И он прибавил, чуть передразнивая манеру Муромцева: — Вчера с мусенькой поймали черного кота. Все сделали как полагается: время, луна и прочее. Стали его стричь, а он так заорал, замыкал, а мы с мусенькой сели на диван и стали расшифровывать. Он орет, а мы расшифровываем и расшифровываем... И такое расшифровали, что волосы встанут дыбом.

Ларион хохотнул, заключив:

— Вот в этом и весь Муромцев.

Олег вдруг разозлился:

— Извини, но вовсе не весь. Ты берешь только негативную сторону, карикатуришь ее и создаешь не реальное лицо, а его черную тень. Это остроумно, зло, но далеко от сути...

Ларион удивился такой реакции, и вечер закончился в раздражении и непонимании...

На прощание Ларион сказал:

— А начинать надо с расшифровки собственного крика... Причем здесь коты.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вся эта слегка необычная встреча в Парке культуры им. Горького происходила в тот день, когда Глебушка Луканов заявился на квартиру умирающего

Максима и устроил там скандал. А ночью, когда Кате снилась последняя великая книга человечества, написанная перед самым концом мира, — Олег еще допивал остатки вина на квартире у Лариона.

Утро следующего дня было на редкость спокойным и отрадным для многих москвичей. Солнце светило одинаково преданно и безучастно и верующим и атеистам, и начальству и свободным людям, и предназначенным для карьеры, и самым отчаянным неконформистам, встречающим зарю в канаве.

Но для Максима Радина это был по-прежнему тяжелый и зловещий день. Он рано проснулся — и подумал о том, что не стоило бы и просыпаться. Обида от дикой сцены с Глебом — которая помогла ему пережить зечер и ночь — не только ушла, она испарилась и исчезла навсегда. В сознании возник, и вытеснил все остальное — один крик, одно помышление: он умирает и жить ему осталось недолго. Он опять внутренне завыл от этой мысли и разрыдался.

Но через несколько часов какое-то безразличие, отупение и усталость овладели им...

Катя Корнилова проснулась попозже — дочку уже забрала к себе бабушка — и долго заспанная бродила по квартире, стараясь припомнить название книги, которая приснилась ей. Оно было очень простое, но его внутренний смысл совершенно провалился в подвалы ее души, и от этого исчезло из памяти и само название. Иногда ей казалось, что оно вот-вот выплывет, и ей тогда виделось: «Паук». Да, да, думала она, кажется это был «Паук», но за этим «Пауком» хоронился особый смысл, как будто к тому времени, ко времени конца мира, слова уже как бы сдвинулись, приобрели другие оттенки.

Порой она чувствовала, что за этим названием кроется очень простая ассоциация: «смерть», такая смерть, которая разъяла человечество изнутри, изуродовала его, и тем самым сделала неизбежным конец мира, вернее, трансформацию его, т.е. прямое вторжение Бога в дела людей. Причем эта смерть, разъедающая людей изнутри, виделась ей светлой, как светел бывает паук, ткущий свою белую сеть; то была смерть, белая, цвета надежды, и значит, ложной надежды, и была она потому ужасней любой черной гибели, ибо... но вот в чем было это «ибо», она не могла ни припомнить, ни понять до конца, потому что за этим «ибо» стояло то, что было скрыто как за непроницаемым занавесом.

Вздыхнув, Катя решила попить чайку. «И что это за небывалое чувство, пронизывающая уверенность, исходящая сверху, что эта книга, приснившаяся мне, книга, созданная перед концом мира, — подумала она. — Такое несомненное ощущение: тьма была, значит, глубокий сон, и в ней сияла эта последняя книга... да и, кажется, слова... были на обложке... Паук... А во тьме, где не было книги, тени, по-моему, еле видимые двигались...»

И тут она вспомнила о Максиме. «Ну и хороша же я, — удивилась она, — за концом света живого человека не вижу...»

Почему-то возникло отвращение к еде, и она стала тут же звонить, согласно плану, который продумала еще вечером.

Сначала на другом конце провода возник нежный и такой живой голосок Светочки Волгиной.

- Здравствуй, Катенька.
- Здравствуй, сестрица Аленушка.
- Как поживаем? Сла-адко?
- Пальцем в небо попала.

И Катя начала рассказывать. «Доктор, доктора, — передразнила она потом Светлану. — У него были и есть лучшие доктора. Может быть, шанс появится. Но сейчас надо спасти его сознание. Он в тупике. Он умер прежде, чем умер. Ничего подобного я не знала!» И она объяснила все.

— Да, теперь я понимаю, — вещал на другом конце Москвы тот же нежный, но уже грустный голосок. — Надо найти человека из церковных кругов. Человека с особой психологией и интуицией... Другой подход... Пожалуй, ты права, у меня есть на примете такие люди... Давай договоримся...

Потом Катя звонила еще в несколько мест. Отвечали, спрашивали, обещали. Она в свою очередь связалась с Максимом. Подошла мать, и сказала, что

Максиму как будто лучше, он спит, его не стоит беспокоить (это было как раз то время, когда Максим впал в оцепеняющее забвение). И у Кати полегчало на душе.

А вскоре опять раздался голосок Светланы:

— Катенька, можешь сегодня?.. Я еду к тебе... Я договорилась. От тебя и двинемся к ним...

Утро этого же «спокойного и отрадного дня» было для Глебушки Луканова одним из самых тяжелых в жизни. Начать с того, что после того, как он проснулся, он не мог с четверть часа понять, где он находится. Сначала, естественно, он подумал, что в вырезвители. Но в каком? Этот почему-то показался ему пригородным. Над ним застыли корявые доски, комки пыли свисали сверху, и он решил, что его выбросили в сарай, далеко от Москвы, и теперь все кончено. Между тем он лежал в самом центре города, хотя и в подвальной мастерской. Придя к безнадежности, Глеб опять заснул, но вскоре тут же проснулся от жути, что именно всему конец. От этой мысли он даже привстал, хотя внутри все вертелось от боли.

— Где я? — пробормотал он.

Тяжесть на душе и страх, что он натворил много непотребного, были такими, что в голову лезло нежелание жить и в то же время протест.

И вдруг он увидел, что совершенно не ожидал увидеть: занавеска перед ним раздвинулась, и просунулась голова Лехи Закаулова.

Глеб в истерике закричал: ему показалось, что появилась только одна голова, а туловища не было.

— Ну и поэт же ты был вчера, — произнесла голова. И тут же точно в доказательство и чтоб ободрить его, показалось туловище.

..Леха Закаулов, как известно, некоторое время «пропадал». После вечера под березками с синеглазой Волгиной, он впал в светоносное забытье, по его собственному выражению. В этом состоянии озарений и любви он даже не ночевал дома несколько дней. (И потом пропустил все вечера и испытания с Сашей). Пьянствовал лишь слегка — в Лосиноостровской на границе Москвы, в одной окраинной компании, в которую он иногда любил уходить (для иного воздуха). Компания была по-душевному «светлая»: девушки, добрые до слез, юноши, из христианских кругов, просто верующие, и два-три сомневающихся, но со стыдом. Было весело, и в меру хмельно, уютно, в деревянном домике, в низкой комнате, окна которой выходили на зеленый двор, с неизменным котом на подоконнике, и даже самоваром. Говорили на различные высокие темы, смотрели старинные книги, и на душе было чуть-чуть больно, но до невозможности хорошо.

Потом он покинул эту компанию, и свет в нем немного поутих, но остатки его еще светились на дне, когда он стоял с пивной кружкой у ларька в окружении трех подвыпивших рабочих и о чем-то рассуждал.

Как обычно, кто-то закончил тем, что есть ли «правда» на земле, на что Леха ответил, что правда в Боге. Но ему возразили: пускай он тогда скажет, что такое Бог и в чем его правда. Леха начал отвечать, и сначала ничего, но потом слегка сбился, и один рабочий недоуменно развел руками. Закаулов поправился и начал о том, что Бог внутри нас, и чему это соответствует, и рабочий, к его удивлению, сразу понял, хотя и поморщился. Но другой собеседник уверял, что всего этого может быть, если на земле так плохо... Леха опять объяснял, кто-то целовался, кто-то пил... и через часок-другой Закаулов очутился на другом конце Москвы, на бревне, опять с кружкой, рядом с пожилым сторожем, который охранял склад детских кроватей.

— Ты мне в душу не лазь, — сурово говорил ему сторож. — У меня своя правда есть... А такая, что все закачаются, если узнают. Вот так. Я, знаешь, что прошел? Тебе и во сне не снилось.

— Да я к тому говорю, что душа больно чудесная! — отвечал Леха, покачиваясь. — Такая огромная, что звезды в ней, как капель. И ты, старик, себя не разуверяй.

— Меня жизнь разуверила, а не кто-нибудь, — произнес старик. — А ты вот не пьянствуй больно, а то проспиртуешься так, что и во гробе от тебя будет разить... Ишь, небожитель...

Леха захохотал.

— Да, я это так, старик, к своему времени я протрезвлюсь и буду совсем чистенький. А пью я, чтоб душа не темнела.

— Ну, смотри, — добродушно ответил сторож. — Нехорошо, если от покойника разит.

А Леха вдруг опять вспомнил глаза Светланочки Волгиной. В таком состоянии ночью он и появился в мастерской Толика Демина.

— Ну и поэт же ты был вчера, — повторил Леха, глядя на Глеба.

— Какой поэт, что ты мелешь, Леха, — еле шевеля губами, проговорил Глеб. — Ты испугал меня своей головой. Где я?

И сразу все выяснилось. Леха вытащил Глеба из его угла, и он оказался в знакомой мастерской. Закаулов посадил его на скамью за деревянный стол. Глеб оброс, и в разорванной белой ночной рубашке, но в брюках, босиком, предстал перед своим учеником Толей Деминым. Толя тут же настоял, что водки больше не будет, на что Глеб дал согласие слабым движением мизинца. Закаулов тоже отказался пить: «хорошенького понемножку». И Толик энергично взялся за «вытрезвление» своего божества и учителя. Делал он это умело, одному ему, наверное, известными травами, способами и кореньями. И через чашки три-четыре Глебушка уже был относительно в себе и даже внимательно и наставительно поглядывал на мольберт Толика, что-то бормоча про себя.

Прежние печали однако не давали ему покоя: что делать с Катей, как решить их отношения, и что он натворил у Максима Радина. От последней мысли похмелье его превращалось в кошмар. Глеб умолил Демина позвонить Максиму, и только когда тот вернулся (в мастерской не было телефона) с неопределенными вестями о том, что, кажется, «ничего уж особенного не произошло» и у Максима все заняты его болезнью, чуть-чуть успокоился. Что вообще дальше делать со своими мучениями, он не знал и решил пустить все на самотек.

Неожиданно в мастерскую заявился Виктор Пахомов: в отглаженном костюме, свежее-выбритый и вечно-отключенный.

Весть о смертельной болезни Максима коснулась и его, но никто не понял, как он на нее реагирует.

Усевшись на край скамьи и изящно взяв предложенную чашку душистого чаю, он посмотрел вокруг большими странными глазами.

— Я все-таки думаю, что врачи спасут Максима, — проговорил вдруг Демин. — Не может быть, чтобы нельзя было спасти...

Виктор внимательно, но остановившимся взором посмотрел на него и усмехнулся.

— Дело не в этом, Толя, — медленно и с надменным ужасом произнес он. — Если у него есть что-то живое от Бога — он спасен; если же у него есть живое, но только от этой жизни, он будет дико, — Виктор тут вдруг вскрикнул и даже ударил кулаком по столу, но потом сразу перешел опять на медленную речь, — дико мучиться, особенно в смерти. Все остальное — ерунда, в том числе и вера. Сколько мертвых для Бога веруют. Помните стихи: «стон молитвы с черным миром слитый». Вера тоже может быть иллюзией. А вот что делать мне — у которого нет ничего живого: ни от Бога, ни от этой жизни. Ха-ха-ха, ха-ха-ха!

Глебушка застал: голова еще болела с похмелья, а тут такой хохот.

— Впрочем, — Виктор холодно обвел своим взором всех окружающих, — может быть, мое положение самое лучшее.

Демин и Закаулов были старые друзья Виктора; у Демина он жил одно время, но и им сделалось не по себе...

Ситуацию разрядил Закаулов, который предложил куда-нибудь съездить. Однако Демин и Виктор решили все-таки остаться. Но на Глебушку Виктор всегда действовал тяжело, и тот, пересиливая себя, решил поплестись за Закауловым, настояв, правда, на том, что поехать надо к Кате Корниловой, причем без звонка, наугад. «Чтоб получилось по судьбе, — вздохнул про себя Глебушка, — а звонить ей совестно чего-то, лучше просто нагрнуть: была не была...»

И они «нагрнули», — как раз в то время, когда Светлана Волгина уже была у Кати, и они успели власть наговориться. Хотя отношения между ними не

всегда были ровными на почве всяких ревностей-привязанностей, но они как-то умудрялись прощать все «нюансы и сложности» — и тянулись друг к другу. В чем-то внешнем они были немного схожи — и эти светлые волосы (у Волгиной чуть потемнее), и русская красота... только у Кати были довольно буйные и решительные, хотя и с глубиной глаза; Светлана же отличалась большей мягкостью и нежностью черт.

Подруги рассказывали о последних тонкостях и движениях внутри московского духовного подполья: какие нити протянулись от одних групп к другим; в каком состоянии находится один известный писатель; какая связь сейчас между эзотерическими и литературными кругами. Вспомнили поэтому и о Ниночке Сафроновой.

— Я как раз была недавно у нее, — помешивая сахар в антикварной чашечке, молвила Светлана, уютно расположившись в кресле. — Девчонка явно в ударе сейчас. Какие-то у нее совсем сумасшедшие связи завелись в эзотерических кругах.

— А как у тебя с муженьком? — перевела вдруг разговор Катя.

— Как тебе сказать... Я ведь говорила, — немного растерянно отвечала Светлана. — «Внутренние» отношения с Петром сейчас усложнились, если это «внутренние» между нами мы разрешим, то все будет в порядке... А пока... Но я все равно его жена, и все...

— «И буду век ему верна», — улыбнулась Катя.

И в это время «вломились» Закаулов и Глеб. Приход без звонка был, конечно, терпим в «подпольном» московском мире, но нельзя было не учитывать вчерашний глебовский скандал. Впрочем, ситуация сразу смягчилась тем, что оба «героя» были трезвые, и вид их выражал полное смирение и большой покой. Катя сразу увидела, что с Глебом нечего сейчас выяснять отношения; Закаулов же, увидев Волгину сразу просветлел и притих одновременно.

— Ну, мальчики, не пить, так не пить, — приветливо говорила Светлана, разливая душистый чай. — Будем за вами ухаживать.

«Мальчики» — один постарше, помятый и обросший, с глубоко впавшими глазами и сверкающим взглядом, другой помоложе, но уже в синеве восторга и бреда — смиренно молчали.

— Великие люди России и их куртизанки, — громогласно заявила Катя, рассмеявшись и взглянув на Глеба.

— Ну, мы пока еще сестры милосердия, — поправила Светлана. — Это вот у Олега...

— Духовные сестры милосердия, если уточнить, — улыбнулся Закаулов.

И вдруг потянулся спокойный, но таинственно-душевный разговор за чайным столом. Здесь было все: и ласка, и дрема, и уход в глубины, и внезапно возникающие слова, уходящие внутрь, и обмен немного печальными взглядами, и еще что-то совсем нежное, неуловимое, особенное, что могло и исчезнуть от дуновения ветерка. Неожиданно в этом бездонном разговоре выплыла на поверхность странствующая личность Закаулова, с его взлетами и опусканиями, с его светло-пьяной душой, заброшенной в небо; потом — всплыли бедствия Олега и — картины, картины Глеба — некоторые висели у Кати — фантастические, горящие, но решенные в зримо-земных тонах.

— Да, когда-нибудь все это будет в музеех, — как издали, произнесла Светлана. — ... А пока наши ребята не считаются даже художниками. Ну что ж, как это у Цветаевой: «мы любимые дети разгневанной родины... мы когда-нибудь будем свидетельствовать о вас». Только бы нам не кончить, как Цветаева.

— Или как Есенин.

— Да, или как Есенин.

— Давайте-ка лучше выпьем по чайку. Пока. А там видно будет. Главное, чтоб не было злобы. Напротив — любовь. «Все пройдет, как с белых яблонь дым».

— У нас ее и нет, злобы.

— И Цветаева и Есенин сейчас, наверное, в порядке. Вопреки некоторым представлениям.

— Не знаю.

— А где сейчас Блок? Он, гений, лучший русский поэт 20-го века, но он так мучительно умирал. И так писал о России. Где он сейчас?

— Надеюсь, он там, где нет «до» и «потом».

— Это надо спросить у тех немногих йогов... Или у Кирилла Леснева.

— Или у Саши Трепетова.

— Кто знает, кто знает?... Путь после смерти столько же, сколько и душ, — вздохнула Светлана. — Молиться только надо за него... и за других, наших...

— Но остались стихи.

— О, да, конечно, стихи, стихи, стихи! И Россия — наша, его. И поэзия, которая в нас. Его поэзия. Хоть бы все это осталось навечно.

И так продолжался этот разговор, в который влились их души, как в единый поток, и даже не чувствовалось, кто именно говорит: все были, как под одним покровом...

Светлана и Катя вставали иногда, выходили на кухню, наливали чай, приносили сигареты, и их фигуры с распущенными волосами то светлели, то темнели в лучах закатного дня. Молчал телефон, и точно остановилось время, и можно было смотреть из этой остановки в будущее. Смотрел на них и Достоевский со своего портрета на стене с неподвижным взглядом, и Катя порой взглядывала на него и улыбалась.

Внезапно их погружение было прервано звонком в дверь. Явился сосед: что-то попросить. И после его ухода, точно очнувшись, Катя посмотрела на часы.

— А ведь нам уже пора, Света, — напомнила она.

Да, им было уже пора — их ждали целители душ.

И вот они простились у метро — им нужно было в разные стороны. Глебушка и Закаулов направлялись в центр, Светлана и Катя — в Химки.

— Не пей уж теперь, Глеб, — упрасивал его Закаулов, пока поезд нес их вперед. — Отправляйся-ка лучше к матери, отлежись у нее. Я доведу тебя. И начни рисовать, это тебя спасет.

Глеб согласно кивал головой, а внутри в душе вдруг всплывал образ Светланы. Это и пугало и смущало его: что за чертовщина — ведь он полон Катей, и вдруг... Светлана. «Хм, нельзя же полюбить двух женщин одновременно, не дай Бог, если такое может случиться, — думал он. — Это наказание Божие. Хотя, говорят, этот паразит Муромцев умудряется, недаром о покойниках пишет. Нда, но ведь где-то Светлана может быть не хуже Кати. Но Катя, Катя... нет, Светлану надо смахнуть, как бред. Что мне делать?.. А все-таки может получиться хорошая картина с ликом Светланы внутри. Да, линии лица... А, Боже мой, Красота, Красота, отдохнуть надо от всего, отдохнуть, и даже от Кати... Не могу я...»

Прощальное общение с Лехой не очень получилось. Но на улице недалеко от своего дома Глеб вдруг произнес, положив руку на плечо Закаулову:

— А вот Настенька, наверное, в раю.

— Какая еще Настенька? — изумился Закаулов.

И Глеб объяснил, что это первая жена Ивана Грозного. И уже потом совсем перед своей обшарпанной дверью, ему провиделся свет над Ново-Девичьим монастырем, потом пожар, огненное зарево над Москвой, царская карета, рука, поднятая вверх, чей-то голос, и опять свет, свет, свет — над Ново-Девичьим монастырем. Свет, очищающий все земное.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вскоре должен был состояться большой прием у Омаровых, на который был зван и Олег.

Но за день до приема он решил встретиться с Сашей — заодно, может быть, и поговорить с ним о феерическом ресторанном вечере с Ларионом Смолиным.

Между тем дикие и потаенные слухи о человеке с Востока узкой струей проникли из московских эзотерических кругов до окружения Олега. По пути эти слухи, видимо, искажались и приобретали таинственно-нелепые оттенки. То

оказывалось, что он «исцелил» покойника (именно исцелил, а не «воскресил»), то кому-то пригрезилось, что он оборачивал животных в людей. Уверяли, что он может материализовывать потусторонних чудовищ, и якобы один такой, полуматериализованный, как призрак, прошел по ночной Москве, и редкие прохожие принимали его за собственную галлюцинацию. Во всем этом виделся момент и странного искажения, и нарочитого юродства — но, как некоторые утверждали, с целью прикрыть истинный смысл. Поэтому, хотя все и подсмеивались над такого рода слухами, но все равно с какой-то необъяснимой опаской. Потом пополз слухок, что все религиозно-метафизические учения должны быть пересмотрены, но, конечно, не в современную, а наоборот, в еще более мистическую сторону, ибо они упустили скрытый и неизвестный элемент всего существующего, почти недоступный человеческому уму.

Одним словом, становилось нехорошо...

Олег встретился с Сашей в молочном кафе на улице Горького: Трепетов был пока постоянен в своих привычках. Пробуя раздражавшее его в такой ситуации мороженое, Олег свел все к тому, что список людей, исключенных из числа «кандидатов», довольно велик, и поэтому ему трудно подобрать кого-либо еще в его сфере зрения.

— Есть, правда, тут одна девчонка, Нина Сафронова... Слышали?

— Даже видел раза два-три. Давно. Но можно познакомиться поближе.

— Вот и отлично. Как бы нам все это ускорить...

— Давайте ускорим. В сущности, трех кандидатов достаточно. Есть еще дополнительный вариант: завтра ведь вечер у Омаровых. Будет много разного народа, со всех концов. Что если мне потолкаться там, вдруг на кого-нибудь ляжет взгляд?

— Неплохо.

— Вы только предупредите Владимира Александровича, что придете со мной. Он наверняка слышал обо мне, но мы не знакомы.

— Все будет в порядке. А как насчет Ниночки?

— С Ниночкой — сразу после Омаровых. И потом все мы соберемся для дальнейшего...

— Мне что-то в связи с этим тайным человеком расхотелось жить, — вдруг заметил Олег.

— Ничего! Это естественно! — бодро воскликнул Саша. — И в конце концов, пустяки! Со мной еще не то было, в другом смысле. Не дай Бог, если вам это предстоит.

Мороженое иссякло, и обо всем договорились.

— Ну-с, покедова, до завтра, лично я — далеко, — и Саша простился с Олегом.

Дома Олега ждала новость: Леха Закаулов вернулся из своего «отключения» в полном порядке.

Салон Омаровых был одним из самых популярных в неконформистском художественном мире; он даже пустил корни в официальный артистический мир. Сам Владимир Александрович был блестящий иллюстратор легально издаваемых книг классической литературы. В то же время это не мешало ему создавать свою живопись, довольно модернистскую, и даже участвовать в полупризнанных выставках — в Москве, Киеве, Ленинграде и Новосибирске. Картины его попадали, конечно, и за границу. Он не был так знаменит, как Глеб Луканов, но это компенсировалось его добролюбием, гостеприимством и полным отсутствием всяких комплексов. Кроме того, Омаров питал слабость к литераторам, и даже просто к необычным личностям, которых судьба вволю разбросала по мистическому подполью Москвы. Таким образом, его салон сочетал в себе людей из разных слоев.

У него была полная возможность для устройства таких роскошных вечеров — на квартире ли у себя в Москве, или на даче, под Клином: Омаров неплохо зарабатывал своими иллюстрациями. Более того: он даже помогал нуждающимся «неконформистам», неконформизм которых заходил так далеко, что начинал сказываться на их желудках. Наконец, сама квартира его на Речном вокзале бы-

ла почти сказочная и могла вместить необъятное число гостей. Она напоминала дворянские дома 19-го века: столько в ней было умело и художественно расставленной антикварной мебели. Каждая такая «вещичка» — по западным ценам — стоила сотни тысяч долларов. На стенках висели старинные портреты — русских государственных деятелей 18-го и начала 19-го века. В одном углу — богатый иконостас: Омаров был церковно-верующим человеком, хотя и без особого углубления в духовные вопросы.

Его супруга, Алла Николаевна, пышная дама 35 лет, милая, мягкая, но соблюдающая интеллигентское достоинство, работала в библиотеке научным сотрудником.

Словом, это был очень удобный салон для всех: здесь могли сойтись и поговорить за рюмкой ликера или коньяка и просветленный искатель истины, и подпольный поэт, и даже официальные ребята из Союза московских художников. Те, кто были хорошо устроены в плане внешнего бытия, чувствовали себя здесь как дома; но и полубродяги из крайних «неконформистов» могли здесь хорошо отдохнуть в уютных креслах, отведать необычных блюд и попробовать заграничные ликеры, а не водку.

Водка целиком изгонялась из этого хозяйства, но только потому, что на этой почве бывали эксцессы. Зато ликерам и наливкам — в маленьких драгоценных хрустальных рюмочках — отдавалось безграничное предпочтение: ни в одном «подпольном» салоне Москвы не подавали к столу столько разнообразных и бесчисленных видов ликеров и наливочек. Ликеры доставлялись из лучших магазинов Москвы, а вот наливочка, к которой Алла Николаевна питала расположение, изготовлялась по-домашнему, в чем Алле Николаевне усердно помогала ее мать-старушка, тоже большая охотница до наливок и умеющая их по-старинному и весьма качественно готовить.

Две полные, розовощекие дочки Омаровых завершали благополучную картину этого семейства.

Явственно, этот салон отличался от салона Олега в Спиридоньевском переулке. Вообще в неконформистском мире Москвы было несколько видов «салонов». Собственно говоря, салон Олега был даже более знаменит, чем салон Омаровых — слишком уж громкое имя было у Олега — но его характер был совершенно другой. Олег не очень ценил внешнюю респектабельность, жил анархично, и по сравнению с Омаровыми, бедно, но больше их любил бродяг, необычных личностей и людей мистического плана. Конечно, у него были, как у всякого известного неконформистского поэта или писателя, и внешний и внутренний круг. Внешний круг у Олега был очень широк — обаявала слава — и там можно было встретить кого угодно. Но внутренний круг — это была та художественная подпольная элита, которая уже вплотную сближалась с московскими эзотерическими кругами или, во всяком случае, искала с ними контактов.

Нечто иное было в салоне Омаровых. Там даже не существовало особенного различия между внешним и внутренним кругом. Кроме того, там равно любили всех — и художников-реалистов, и художников-авангардистов, и отчаянных поэтов, и замогильных прозаиков. (Даже такой загадочный архивист, библиофил и собиратель подпольной библиотеки как Андрей Крупаев заходил сюда). «Все хорошо, что талантливо и идет в сокровищницу русского искусства, — говаривал Владимир Александрович. — Модернизм, реализм... и любой «изм» только средство, а главное, чтоб было искусство. Любое искусство — счастье. Возьмите, например, Валу Муромцева; человек пишет о покойниках, мрачновато, кажется, а вот многие говорят: прочел о мертвецах, а точно солнцем осветил. Такова тайна настоящего искусства: оно всегда позитивно».

Эмоциональные речи редко произносились Омаровым, обычно он был всегда спокоен и сдержан и свою преданность искусству выражал делом: одна коллекция магнитофонных записей русских бардов, писателей и поэтов едва вмещалась в его обширные шкафы.

Олег сразу же после встречи с Сашей позвонил Омаровым, чтобы увязать ряд тонкостей. По этому поводу скорее надо было говорить с Аллой Николаевной, ибо речь шла о тех, с кем он придет. Берков, конечно, сомнений не вызвал,

а упоминание о Саше даже вызвало в голосе Аллы Николаевны любознательный восторг:

— Ах, мы слышали... слышали... Он из этих... эзотериков. Как приятно. У нас еще никогда такие не были. Все знаете, писатели, поэты, художники. (Алла Николаевна запнулась, почувствовав неловкость)... Очень интересно.

Но кандидатура Лехи Закаулова вызвала отпор: Олег предчувствовал это и потому звонил.

— Сами знаете, Олег Тимофеевич, я совершенно не против странных и забубенных личностей, — сказала она. — Но всему есть мера. Я знаю это по опыту.

— А что такое?

— У нас же было несколько скандалов. Кричали во время чтения. Били дорожную посуду. А вашего Закаулова, между прочим, я видела совсем недавно.

— Где?

— В трамвае. И знаете, что он делал? Он стоял один на площадке вагона и вливал себе в горло пол-литра водки. Пассажиры прямо оцепенели, глядя на него. И потом он подходит ко мне, выпивает все это и начинает за мной ухаживать. Что, мол, я так много о вас слышал, и о вас, и о Владимире Александровиче... А сам стоит и покачивается. Кошмар какой-то!

— Алла Николаевна, а если я за него поручусь? Прослежу, чтоб он не пришел к вам пьяный и у вас не пил бы особенно? Когда он не пьет, он тихий.

— Тихий! — возмутилась Алла Николаевна. — А вы, его старый друг, видели хоть раз в жизни его трезвым, чтоб говорить, какой он тогда — тихий или буйный?

— Бывало. И сейчас все чаще бывает.

— Нда, вы знаете, жалко, конечно. Это так разрушает личность: неврастения, психопатия, истерия — все может быть в таких случаях. А ведь незаурядная личность, очень духовный человек, говорят.

— Так вот, Валя Муромцев тоже сильно пьет, но вы его пригласили...

— Ну, что вы, разве можно сравнивать! Валя пьет много, но аккуратно, совсем по-иному. Это всем известно. А главное, читает свои вещи почти трезвый.

Все-таки Олегу удалось уговорить Аллу Николаевну... Потом он позвонил Тоне Ларионовой и уехал к ней ночевать, чтобы на следующий день вместе с ней отправиться к Омаровым...

Большие вечера у Омаровых, как правило, сопровождались выступлениями неконформистских авторов. На этот раз предполагался подпольный писатель Геннадий Семенов, пишущий про идиотов. Но внезапно Владимир Александрович внес изменения: он попросил почитать и Валю Муромцева, чтобы состоялся таким образом вечер сразу двух именитых прозаиков. «Покойники и идиоты — тема вполне для эстетского вечера», — посмеивалась Алла Николаевна.

Расписание было таково: с шести до семи тридцати промежуточное время, медленный сбор всех приглашенных; затем — к столу; а уже потом — чтение; после чтения — дискуссии, чай и больше вина.

Первым возник прозаик Геннадий Семенов. Это был человек тридцати с лишним лет, высокий, худой, с приятным, немного уставшим лицом. Жена его Вика сразу принялась помогать Алле Николаевне. Геннадий же сел в кресло рядом с Омаровым в гостинной, протер очки, положил толстый портфель с рукописями на пол и, вынув оттуда целую пачку листов, отдал их Омарову:

— Возьми, Володя, это тебе на хранение. У тебя надежно. Итог последнего года.

Омаров заботливо подхватил рукопись, на минуту исчез с ней в своем кабинете и, радостный, вернулся.

— А как твои внешние дела, Геннадий? Как в техникуме?

— Идет своим чередом.

(Семенов преподавал физику в одном из московских учебных заведений).

И потом раздался звонок в дверь. За ним второй, третий, четвертый... Гости прибывали, одни за другими. Катя Корнилова заявила с тремя персонами из своей свиты: Верой Тимофеевой, Зоей Ступиной и Игорем Самохиным. Почти все остальные приходили парами; редко кто в одиночку... Глеба не ждали, он от-

леживался у матери. Появились Светланочка Волгина с мужем, Боря Берков с Ириной Томовой, студенткой физмата МГУ; Толя Демин со своей женой Любой, затем пошли художники, поэты, профессора, ученые со своими женами или подругами. Это были или лица известные своим творчеством в неконформистских кругах, или люди, чаще всего из научного мира Москвы, которые их любили и поддерживали.

Они разбрелись по группкам и компаниям, которые бродили, рассматривая живопись, время шло, но не появлялись ни загадочный Валя Муромцев, ни Олег со своими приятелями.

На диванчике и стульях рядом с портретом полководца 18-го века графа Румянцева обосновались Вика Семенова, Борис Берков со своей Ирой, Люба с Толлей Деминым и Вера Тимофеева.

Кто-то вдруг произнес имя Радина, сказав, что шансов на спасение почти нет и что его душевное состояние совершенно жуткое.

— Я знаю, знаю об этом хорошо! — неожиданно воскликнула Вика Семенова. — Я была у него два раза. И все-таки это — позор, такой страх перед смертью. Нет, нет, я ничего не говорю, я бы на его месте выла от ужаса еще больше, — и она прижала руки к груди. — Но... так ли умирали наши предки, русские крестьяне, например, да хотя бы наши прабабушки: вспомним Лукерью из «Живых мощей» Тургенева...

Эта внезапная речь вызвала настоящий взрыв; Люба Демина, побледнев, воскликнула:

— Да, но какая вера в Бога для этого нужна!.. Какая вера!.. Разве у нас есть такая?! Мы — несчастные. Мы и близко не можем стоять рядом с Лукерьей.

— Да и век другой, — заявил Берков. — Раздутое «эго», и потом воображение не в ту сторону работает...

— Век другой, — возразила Вера Тимофеева. — А как же на войне с нацистами? Просто Радин такой уж человек...

— Ну, война есть война. Тогда не думаешь о себе, тем более на войне с нацистами, — отрезал Берков. — Мы говорим об обычной смерти, один на один...

— Хорошо, — прервала Вика. — Но почему мы все-таки не можем переносить эту обычную смерть, как ее переносила Лукерья? И сейчас Максим мучается, и я слышу его стоны...

— Послушайте, — вмешалась Ира Томова, — прекратите сейчас же этот кошмарный разговор! Сейчас же прекратите! Если не можете помочь, то молитесь за него... И молчите, молчите!

Но в это время в дверях появился Валя Муромцев, и это немного разрядило обстановку. Действительно, воцарилось молчание. Вика Семенова мрачно вынула из бархатной сумки пачку сигарет и закурила.

Валя был один, без дамы, в помятом пиджаке и с рваным портфелем в руках, полным книг и рукописей. Его круглое лицо растерянно и застенчиво улыбалось.

— Ну, наконец-то, — облегченно вздохнула Люба Демина. — Ирочка, — обратилась она к Томовой, — давай-ка выпьем за него... именно за него, — и она указала пальцем на Валу, — а потом за нас...

Валя бросил лукавый взгляд на девочек и, подошедши к Омарову, взял его за пуговицу куртки.

— Владимир Александрович, извините, задержался, портфель чуть было не пропал. В пивной.

И он боязливо покосился на собственный портфель.

— Это вы со своими рукописями бродите по пивным, Валя, — укоризненно проговорила Алла Николаевна.

— С рукописями-то и слаще туда шастать, — оживился Муромцев. — Выпьешь себе культурно так кружечки две-три, и портфель погладишь: там ведь лежит не что-нибудь, а собственное бессмертие. Прямо рядом, у ног. И никакой алхимии. Хорошо, хоть и страшно: а вдруг потеряешь?

И он неопределенно подмигнул. Только появление перед ним Светланы Волгиной сразу сняло его игривое настроение.

— Здравствуй, Валечка, — робко сказала она.

— Здравствуй, Светлана, — смиренно ответил он.

И раздался последний звонок в дверь квартиры Омаровых.

— Наверное, Олег! — тревожно-радостно воскликнула Алла Николаевна и пошла открывать.

То был Олег, и, как всегда, не один: впереди выступала Тоня Ларионова, а за Олегом: Саша Трепетов и чуть смущенный Леха Закаулов. Леха был на этот раз вполне трезв и приличен: он принял всего полстакана водки, для души, а такая доза никем не считалась серьезной, даже Аллой Николаевной.

Гостеприимным жестом она пригласила всех внутрь, бросив однако добродушно-любезнательный взгляд на Сашу. «Какой-то вроде обычный», — подумала она.

Стол был уже накрыт и буквально ломился от еды — чего тут только не было: и редкая холодная рыба, и салаты, и бесчисленные закуски, консервы, колбасы, сыры, и над всем этим царил икра: красная, горящая, как кровь, она была разбросана в судках по всему столу. И рядом с нею стояли бутылки возбуждающих напитков.

— Богато живете, — удивился Саша.

Омаров пригласил Катю первую к столу, и за ней, как за неожиданной царией, потянулись остальные.

Скоро стало полегче и повеселей; истерический разговор о Лукерье забыли, и все почему-то льнули друг к другу и слегка опьянели: от вина, от общения, от предчувствия...

Из-за обилия гостей за столом общему разговору трудно было состояться, но его струйки, журчащие по всем углам и сторонам, иногда соединялись в единый и восторженный гул. Это был поток всего что угодно: веселья, грусти, нежности, смеха, иронии и даже бредового сарказма. Но и «сарказм» выражался таким образом, что становилось страшновато не от «сарказма», а от обнаженности и искренности.

— С тобой хоть на казнь, Катька, — улыбалась Корниловой Вика Семенова, — эх... и смерть будет слаще вместе и не страшней... Голубушка!

Но в то же время разговор принимал нередко и полусветский оборот, не все здесь было до такой степени выворочено наизнанку и раскалено, как на вечерах у Олега или у Вали Муромцева.

Известный художник-примитивист, поэт, державший салон у себя в Мытищах, но другого характера, чем омаровский, сидел вместе со своей женой Галей недалеко от хозяина дома и рассказывал ему о сибирских шаманах и мамонтах, в свете своего личного опыта. Был он художник неизмеримо талантливой Омарова и просидел при Сталине несколько лет за свое искусство.

Но Алла Николаевна любила иногда перевести разговор на житейские темы и, вмешавшись, заметила, что недавно видели Глеба Луканова — опять пьяненького и побирающегося по арбатским магазинам.

— Какой позор! — вскричала она. — Это ведь один из лучших русских художников!

— Глеб давно мог бы стать богатым человеком, — улыбнулся примитивист. — Если б не пил так!

— Нет, его пьянство ничего не меняет, — возразил Омаров. — Виной всему его детская непрактичность. К тому же Глеб окружен целой сворой спекулянтов. Они пользуются его отключенностью и покупают у него гениальную картину за ящик водки и потом перепродают ее за бешенные деньги иностранным дипломатам. А те вывозят за границу. Потому Глеб вечно беден, он даже не осознает, как поднимаются цены на его картины... А в ближайшие год-два они подскочат невероятно, поверьте мне, потому что все больше людей начинают понимать, что это такое...

— Ох, дело не только в этом, — вздохнула Алла Николаевна. — Баба ему нужна хорошая, вот что. Тогда все наладится, и картины не будут попадать к спекулянтам. Добрая, разумная и простая баба, — и она добавила потише, взглянув на Катю, сидевшую вдалеке. — Ему надо жениться, но, конечно, не на под-

польной царевне с интеллектом вместо короны, — и она усмехнулась, — тогда она не пропадет...

— Но художнику нужно вдохновение, — удивилась Лора.

Аллу Николаевну передернуло даже.

— Пусть найдет другие источники. Знаете, свой ум дороже. Так и свихнуться можно, на некоторых вдохновительницах.

А в стороне звенел серебристый голосок Верочки Тимофеевой: она была в первый раз у Омаровых, и все казалось ей еще сердечней, чем у Олега.

Саша скромно сидел недалеко от Аллы Николаевны и спокойно уничтожал небольшую порцию рыбы. О нем мало кто слышал из присутствующих, но те, кто слышали, с тайным любопытством поглядывали на него.

Одна дама, из ученого сословия, даже обратилась к нему с вопросом:

— Вы знаете, я хотела бы заниматься йогой... чтобы продлить свою жизнь, для здоровья... Как вы думаете?

— Не советую заниматься йогой для здоровья, — любезно ответил Саша, взглянув на нее. — Йога — это единение с Богом, а не физкультура.

— Ах, вот как! — ужаснулась дама. — Тогда не хочу. Я не хочу быть в единстве с Богом. Я хочу быть при себе.

— Как желаете, — продолжал свои любезности Саша. — С удовольствием выпью за ваше желание. — На Восток повсюду в мире большая мода сейчас, но, увы, увы, способность его понять... увы... увы... очень страдает... мягко говоря... как эта селедка... — и он воткнул вилку в кусочек селедки на блюде. — Итак, выпьем, за то, чтобы быть при себе, — и он поднял рюмку чего-то крепкого и подмигнул даме. — Это хороший тост. Я и сам хочу быть при «себе». Только вот что понимать под этим «себе», при котором надо быть. В этом-то весь вопрос и все различие.

— Действительно! — опять ужаснулась дама и лихо выпила.

Снова раздался звон бокалов, легкий вскрик, прозвучали чьи-то стихи. Неожиданный разговор о йоге прервался...

Ужин вдруг стал быстро подвигаться к концу. Все реже раздавались восклицания, обрывались слова...

Наступало время чтения.

Задвигались стулья, исчезли тарелки, бутылки, некоторые графины... и вскоре гостиная преобразилась: один ее угол был освобожден, и в этом углу за маленьким старинным столиком под портретом царедворца давно прошедших времен должен был читать автор.

Все остальные разбрелись по гостиной и расселись на креслах, синих диванах, стульях, группами, поодиночке, в углах, и в центре. Верхний свет — по обычной традиции «подпольного» чтения — был погашен, так что слушатели оказались в полутьме: горела только настольная лампа на «авторском» «антикварном» столике.

Постепенно шум стих, и все затаились, готовые принять в себя сладкий яд искусства, «яд», который оживлял.

Первым начал читать Гена Семенов. Высокий, он не очень уютно выделялся за маленьким столиком, но все неудобства были позабыты. Вика Семенова, радостная и нервная, устроилась на полу рядом с Катей и не сводила горящих глаз с мужа. Рассказ Гены Семенова был довольно большой, как и все его вещи об идиотах. В нем был поток бешеного издевательства над обычным, горизонтальным интеллектуализмом, проведенный частично его же собственным острым умом. Ум, как сабля, обращенная внутрь, отрицал самого себя. И это была апология бесконечного покоя в душе. Идиоты превращались в мудрецов, в хранителей жизни, которую они не знали, в призраков, глядящих пустыми глазами на исчезающий мир. Ничто не могло поколебать их блаженной тишины.

И это было сделано так, что самые матерые интеллектуалы в этой гостиной, вздыхая, про себя соглашались, что какая-то правда во всем этом есть. Хотя их немного раздражало, что такой рафинированный эстет и интеллектуал, как Геннадий Семенов, глумится над умом. Впрочем, в рассказе была легкая ирония по

отношению ко всем: и интеллектуалам, и идиотам. Но она была настолько скрытой и неуловимой, что мало кто чувствовал ее. А те, кто чувствовал, улыбались про себя в полумраке гостиной. Для них автор не принимал ни ту, ни иную сторону, а подобно древней птице, парил над землей.

Рассказ был прослушан в абсолютной тишине — к тому же он требовал довольно большого напряжения, чтоб его правильно воспринять. А потом, когда автор закончил, — раздался взрыв восклицаний, вопросов, взглядов... Взгляды были особенно странными и близкими — они спрашивали: «Ну, а что потом? Что будет? Ты знаешь, что будет?» Они точно уводили от рассказа куда-то дальше — в почти последнюю сферу. Но знал ли сам автор, «что будет?»... Его душа, однако, словно соприкасалась с другими душами и уходила с ними — в эту почти последнюю сферу.

— Поздравляю, Гена, поздравляю, — смущенно говорил подошедший к нему Омаров.

И в гостиной вспыхнули мятущиеся разрозненные разговоры, и звездное небо своим широким синим мраком уже смотрело им в окна.

Семенов заметил, что читать сегодня больше не будет: устал. Но споры и уходящие вдаль разговоры долго не утихали; некоторые подходили к столу, выпивали бокал вина и снова присоединялись к спорящим...

Но постепенно надвигалось время Муромцева; когда перерыв сам собой истощился, Омаров негромко объявил:

— А теперь послушаем Валю.

Валя вошел в свой авторский угол, застенчиво улыбаясь. Долго вытряхивал что-то из портфеля, пока, наконец, не достал грязную потрепанную школьную тетрадку. Расправив ее, он уселся за столик.

У Вали была одна слабость: любил сочинять свои рассказы на могилках; для этого он выбирал уединенные кладбища, особенно, если недалеко от них ютились отключенные пивнушки. Чтобы начать писать, он вставал обычно рано утром и, прихватив портфельчик, отправлялся в такую пивнушку, где чуть ли не с восходом солнца можно было попробовать пивка. Он любил пивные погрязней и позаброшенной, и чтоб было мало народу. Тогда взяв две-три кружечки — не больше, — он подсаживался к какому-нибудь наиболее химеричному существу и погружался вместе с ним в некий провал бытия, который он называл «разговором». Но Валя не прочь был также выпить пивка и один, чтоб подумать о рассказе или просто посозерцать «пропавших» (которых он вовсе не считал «пропащими» по большому счету). А потом он уединялся на какую-нибудь облюбованную могилку (больше всего он обожал могилки юных девушек) и начинал писать, приспособившись на скамеечке или под деревом...

Таким образом он и написал те два рассказа, которые собирался прочесть сегодня.

И начал! Читал Муромцев блистательно, вдохновенно, и верные движения его рук как-то соответствовали ритму и смыслу рассказа. Хотя произносил слова он не тихо, но создавалось впечатление, что шептал. Первая история была про покойника, но такого, который остался жить, будучи мертвым. Тело его — после смерти — не сгнило, а напротив, сладостно оживилось и стало резвым, молодым, и даже раздулось, как у поросеночка; потому покойника и признавали за живого. Но душа его уже была не здесь, она ушла далеко, в самые темные и глухие подвалы потустороннего мира. И хотя внешне душа могла чуть-чуть проявляться и в этом мире, основная ее жизнь проходила в чудовищных кошмарах, которые труп не мог выразить на человеческом языке. Его глазки потускнели, стали как камень, так что ничему не соответствующий ужас и страдания внутри были закрыты для постороннего взгляда. Окружающие принимали его за веселого и разностороннего человека и замучили приглашениями на вечеринки, танцы, свидания. Возможно, его поросячье тело — которое было в таком контрасте с внутренним адом — приводило к таким заблуждениям относительно его общей «веселости». Впрочем, тело иногда действительно жило само по себе, даже норовило сорвать сексуальные наслаждения («надо брать от жизни все», — говорил ум тела). Труп кивал головой, порой хохотал, обнажая пасть, пьянствовал,

ходил к любовницам, но только иногда какая-нибудь чересчур интуитивная девочка, заглянув в его глаза, чуть не падала в обморок — прямо на пол, тут же.

Второй рассказ Муромцева назывался «Маменька». В нем говорилось о клопе и девушке. Клоп, натурально, был не просто клоп, а реаркарнация заблудшей души. Эта душа прошла через вихрь перевоплощений в разных мирах,* постепенно деградируя, неуклонно и неуклюже приближаясь к нашему земному миру, где она, наконец, и воплотилась в виде клопа. Душа эта была тяжелой, битая и измученная. Она деградировала весьма круто, с ужасами и полетами, но на земле ей, воплощенной в клопа, была сделана милость, некая компенсация за предыдущую, бесконечную цепь тупых и диких страданий; душа, находясь в клопе, могла иногда вспоминать «былое», т.е. более приличные предшествующие свои жизни, еще до крутого поворота вниз. Такая способность, данная свыше, граничила, разумеется, с чудом, но в то же время это был небольшой тихий подарок судьбы, чуть-чуть смягчающий предыдущие бред и мрак. Клоп ею разумно пользовался, чтобы «отдохнуть» от полной ничтожности своего бытия. И вот он «вспомнил» свою последнюю светлую жизнь: она состоялась «давно», где-то в полуматериальных гигантских сферах Вселенной, невидимых для физического глаза. Самым лучшим его воспоминанием о тех «годах» была «маменька», т.е. тамашнее существо, с помощью которого он и воплотился в том мире, отнюдь, разумеется, не земным способом. И каким-то сверхъестественным образом клоп почувствовал, что это последнее любимое им существо (после этого начался для него тот поток воплощений, где были лишь ненависть, злоба и месть), его «маменька» воплотилась на земле, стала девушкой, и находится где-то рядом с ним, в доме, в котором он сам «живет». Бешеным усилием клопиной воли он нашел эту девушку и намертво присосался к ней как бы в порыве любви. И начался диковинный роман между девушкой и клопом, или «маменькой» и «сынком», выражаясь почти нечеловечески.

Эпиграфом к этому рассказу Муромцев взял строки из одной блатной песни: «Я к маменьке родной с последним приветом хочу показаться на глаза».

Чтение это вызвало настоящую истерию, но она не была только эмоциональной, то была внутренняя глубокая истерия сознания, которое надламывалось от ужаса перед бесконечным космическим бытием, одетым порой в гротескно-шутковские покровы. И страх — страх за себя — тоже овладевал душами людей, — не конкретный, конечно, страх, а подспудно-метафизический...

Внешне — во время чтения — было все более или менее нормально: периодические взрывы мрачного хохота, вскрики, полоумное хихиканье, покрасневшие лица, горящие глаза. Но внутреннее впечатление от рассказов было потрясающим, равным шоку. После того как чтение кончилось, люди вставали, пожали руки Муромцеву и бросали слова: бессвязные, но невероятно острые и точные.

Умиленная Катя Корнилова не выдержала и крикнула Вале:

— Родной ты наш! Самое потаенное вскрыл!

Берков задумчиво пробормотал:

— Ну, ты разгулялся, старик, разгулялся!

Один Саша был в спокойствии, но крайне доволен; он ласково и ободряюще улыбался, поглядывая на Муромцева.

Светланочка Волгина, потерявшая душевное равновесие во время чтения, окаменела, а потом, выйдя из оцепенения, прошептала:

— Ну, если это не гениально, то что же тогда называть «гениальным»?

Ее муж только твердил из своего угла: «Ребята, я — пас!»

— Да, но возникает мысль, что жить вообще не стоит, — робко возразила одна дама.

— Напротив, напротив, — нервно обратилась к ней Катя Корнилова, — по

* Примечание: Муромцев, знакомый с эзотеризмом, понимал учение о реаркарнации не как повторяющееся воплощение души на земле, а как последовательную цепь ее перевоплощений в различных мирах, в промежутках между которыми невоплощенная душа подвергается всяким мистификациям...

смотрите на лица вокруг... Я чувствую по себе и по другим: реакция обратна — жить, жить, жить, даже во мраке, в могиле, но жить. Пусть неизвестно что впереди, но надо во что бы то ни стало жить, именно в этом темном ужасе. Даже еще слаще.

Дама отшатнулась от нее.

— Хотя, может быть, вы и правы, — вдруг сказала она, поглядев вокруг. — Но ведь это жуткая символика: я не хочу жить клопом.

— Но это предупреждение. К тому же в рассказе много линий, — ответила Катя. — «Клоп» — это символ инволюции, падения души вниз.

В одном углу внимание привлек пожилой человек, Андрей Ильич Усанов, который хотя и был официальным литературоведом, но одновременно интересовался и неконформистской литературой, считаясь ее знатоком.

Он говорил, окруженный собеседниками:

— Я думаю, что современная проза таит в себе невероятные возможности. И в будущем они должны раскрыться. Я не говорю об уже известных уникальных преимуществах прозы, как, скажем, творение человеческих характеров во всех их глубинах или наивысшая потребность выразить феномен смеха, или... Нет, я имею в виду новую тенденцию к концентрации, и наряду с этим наиболее свободную связь с метафизическим и философским потоком. В конце концов проза — самая умная форма словесности...

Олег не слышал этого разговора. Он был целиком погружен в себя, в глубине души он чувствовал, что его все больше и больше захватывает какое-то подземное течение. То течение, которое заставляет его быть с Сашей Трепетовым. Он ловил себя на мысли, что в связи с этим, как личность, он становится выше своей поэзии. Но все это было в тайниках души: на поверхности сознания малейшее умаление собственной славы и ценности как поэта отзывалось болью. Славы он не хотел никому отдавать и в то же время шел туда, в тот далекий Сашин мир, где слава, по крайней мере, в обычном понимании, не играла никакой роли и где-то была смешна...

Вместе с тем рассказы Муромцева с их неожиданным новым качеством вызвали у Олега тяжелое предчувствие, что скоро Муромцев — в подпольном мире Москвы — по своему значению намного опередит его, Олега Сабурова... И он поймал себя на неприятном раздражении, на поднимающейся темной злости. И тут же его передернуло от стыда и унижения.

«Блок немислим с такими комплексами и с такими ощущениями», — с горечью подумал он. И он взглянул на Сашу.

Саша подошел к Муромцеву.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вечер у Омаровых закончился поздно, и главный герой его, Валентин Муромцев, проснулся на следующий день только в двенадцатом часу, счастливый и умиротворенный. Он торжествовал даже ночью, когда спал. Упоение, вызванное чтением и успехом, сменялось в утреннем сознании удивлением: «Неужели это я, кто написал эти вещи?»

Ему захотелось продлить все эти переживания и встретиться сегодня с кем-нибудь из «своих», отключиться, поговорить, выпить где-нибудь на берегу Москвы-реки, и может быть, почитать. Но он вспомнил, что у него сегодня разные дела, частный урок по математике и к тому же встреча с собственным дядей. Родители у Муромцева погибли, но оставили ему неплохое наследство: двухкомнатную отдельную квартиру и дачу под Москвой. Поэтому он мог легко перебиваться за счет частных уроков.

Но встречу с дядей он не мог откладывать: дядя был единственным доброжелательным родственником со связями и мог обидеться.

С дачи Муромцев все-таки решил позвонить своим и застал только Катю Корнилову, которая все еще нежилась в кровати. Они поболтали о том о сем, часто возвращаясь к вечеру у Омаровых, пока Валентин не спросил о Максиме Радине.

— Я была у него всего один раз, после того, как узнала... Но больше не могу пробиться: он не хочет пока или чувствует себя неважно, — ответила Катя. — Но мы со Светланой кое-что сделали для него.

И она рассказала об их посещении людей из церковных кругов и о том, что там нашли одного человека, не священника, но глубоко верующего, которого называли «мастером смерти» за его поразительную способность возвращать атеистам дар веры, особенно на смертном одре. И вот этот «мастер смерти» должен посетить Максима...

— Да неужто в смысле выздоровления все безнадежно? — возмутился Муромцев и погрузился.

— Делают все, что возможно. Чудо...

И в телефонной трубке что-то заурчало, зашипело, и стало невыносимо продолжать разговор. «Гномы что ли у тебя там завелись, в трубке», — слышал он последние слова Кати. Хотел перезвонить, но трубка вообще замолчала.

Печально вздохнув, Муромцев собрался позавтракать, но из головы не выходила мысль о Максиме. «Не может быть, чтобы художник умер в начале своего пути, — думал он. — Путь должен состояться, пускай и не до конца... Но все-таки состояться. Можно умереть молодым, но уже в некоторой степени завершившимся. А Максим только начинает».

Втайне Муромцев очень надеялся на этот принцип: в отношении себя. Творчество — равносильно судьбе, а ему так много надо совершить, значит, и жизнь должна быть у него не краткая.

Он даже рассчитывал — в подполье души — немного замедлить «темп» своего творческого осуществления, с тем, чтобы и жизни ему было бы отпущено побольше. Его судорожно умиляла сама эта надежда, равно как и идея связи между творчеством и отпущенным временем бытия, а значит, и блаженства. Как почти всякий человек, интересующийся покойниками, он истерически любил жизнь, особенно свое бытие в ней, и не отделял это бытие от блаженства.

Немного встревоженный и чуть отошедший от своего первоначального торжества, Муромцев, быстро позавтракав, стал лихорадочно отбирать свои тетрадки из того самого, рваного и потрепанного, портфеля, который он чуть было не оставил вчера в пивной. Некоторые тетрадки со сказками и рассказами он должен был отдать на хранение своему другу. Этот человек хотя сам и принадлежал целиком к неконформистскому миру, но лишь как поклонник свободной литературы, сам же он ничего не писал и не рисовал (только весьма секретно занимался оккультизмом), и поэтому Муромцев полагал, что у него вполне безопасное место хранения.

Валентин был охвачен идеей спасения рукописей, пожалуй, еще в большей степени, чем остальные неофициальные поэты и писатели. Всюду ему мерещились подвохи, сюрпризы и фантастические агенты, которые охотились за его сказками. Это не мешало ему в пьяном виде дважды чуть было не потерять кое-что из своих писаний, но все обходилось благополучно, и он теперь побаивался крепко пить, имея в руках портфель, набитый манускриптами. Но по мере того, как он становился все более и более известным, страх за рукописи все неотвратимей мучил его. У него было несколько «тайных мест», где он обычно прятал их.

Но, прежде чем доверится, Муромцев тщательно продумывал кандидатуру хранителя своего бессмертия: во-первых, он не должен быть, естественно, подпольным поэтом, художником, писателем и т.д., тем более популярным; во-вторых, он обязан быть вне круга его самых близких друзей, которые были всем известны, ибо это значило то же самое, что держать рукописи у себя, в-третьих, желательно, чтобы он все-таки принадлежал к «их» миру, ибо иначе трудно было бы объяснить, зачем вообще надо прятать рукописи; «свои» же понимали с полуслова. В почти идеальном случае, такой хранитель — просто тайный друг, с которым и видишься крайне редко. И лучше, если у него нет телефона...

Итак, необходимо много совпадений, поэтому у Муромцева было очень мало надежных мест. Одно такое место он нашел, правда, у своей старушки — домработницы, которая нянчила его в далеком детстве, но давно отошла от всех дел,

выйдя на пенсию. Он объяснил старушке, тете Дусе, что эти рукописи нечто вроде его дневников, вернее, записи его сновидений, которые он вел со студенческих лет, и поэтому он очень ими дорожит и просит их хранить, на память, вторые экземпляры, на случай пожара, например... Старушка простодушно согласилась и спрятала их в старинный комод, под свои пропахшие нафталином юбки, кофты, шубы и ночные рубашки.

Муромцев считал, что это самое сокровенное место. Олег, знавший о мании Валентина, слегка подсмеивался над ним и говорил, что находится в лучшем положении: почти все свои стихи он держит в голове. Однако, он тоже не брезговал «тайными местами», но не до такой степени. Муромцев даже побаивался связываться со своими «хранителями» по телефону, и когда было неизбежно, осторожно приезжал к ним прямо на квартиру без предупреждения. «Ты извини, старик, — объяснил он однажды своему самому потаенному хранителю, — но я тебе никогда в жизни не позволю: просто сейчас на дворе двадцатый век, такая уж цивилизация теперь, и предосторожности надо делать автоматически, независимо от того, нужны они или нет. Сегодня, может, хорошая «погода», а завтра опять плохая. Двадцатый век, ничего с этим не поделаешь, а по сравнению с грядущими веками еще будет выглядеть как персик, как поцелуй мамочки. Так что живи пока и радуйся. То ли еще будет на этой планетке. «Хранитель», выслушав это, умилился, и тут же выставил две бутылки наливочки, чтобы отпраздновать это счастье — жить в двадцатом веке... Но по другому счету Муромцев, наоборот, упрямо надеялся, что скоро нагрянут хорошие времена, и по неофициальной Москве ходило выражение: «слабоумный оптимизм Муромцева».

Сейчас Валя как раз спешил к этому потаенному «хранителю». Тот работал инженером, но его супруга хозяйничала дома, и ей в любое время можно было вручить пакет со сказками.

Положив рукописи в портфель, Муромцев вышел из дома. Его все время мучило желание опохмелиться, но он боялся выпивать: вдрог потеряешь портфель. Все-таки, не выдержав, он юркнул в уютную и в то же время мистическую в своей пустынной заброшенности столовую. Народу было в ней мало, только у кассы дремала толстенная кассирша. Где-то со двора долетала тоскливая и родная песня. Эти заброшенные столовые всегда почему-то вызывали в нем ощущение каких-то бесконечных просторов, странности бытия и щемящей тоски, смешанной с любовью и удалью. Но самым сильным всегда было чувство странной и таинственной жизни, схоронившееся именно в этой обычности и серости... И поэтому Муромцев очень любил эти столовые, посещая их даже в одиночестве, чтобы пить и «созерцать».

«Всего лишь два-три пива, не больше», — успокоил себя Муромцев. Он подсел к человеку, который доливал шестую бутылку пива. Почти два часа он опохмелялся с этим рабочим, разговаривая по-тихому, и даже поцеловавшись с ним на прощание. Особенного созерцания, правда, на этот раз не получилось, зато было общение. Не забыл Муромцев и подхватить с собой свой портфель, когда выходил из столовой.

Он почувствовал, что душевно не в состоянии давать сегодня частные уроки, тут же позвонил и перенес их на другой день. Надо было скорей двигаться к «хранителю», который жил на другом краю города.

«Цивилизация двадцатого века» не потревожила Муромцева до самого конца его пути. Он благополучно предстал перед дверью знакомой кооперативной квартиры. Нажал кнопку, и безмятежная Вера — жена «хранителя» с улыбкой приняла подпольного писателя. Ее дочка не без лукавства поглядывала на Валентина. Вера тут же напоила Муромцева чайком, бережно приняла «пакет», спрятав его в надежное место, и расспросила о нашумевшем чтении у Омаровых. Она уже знала некоторые детали, ей звонила Вика Семенова.

Муромцев опять почувствовал прилив прежних сил, и Вера упростила прочесть ей одной рассказ «Маменька».

— Все равно по твоей тетрадке я ничего не разберу. Ты нам даешь только черновики, — добавила она.

Валя редко делал такое, чтобы одному человеку читать. Но на сей раз он со

гласился, и дочка Веры была предусмотрительно спрятана в другую комнату. «Рассказ по транс-миграцию, и ребенку не стоит знать, откуда его душа», — усмехнулась Вера.

Две рюмки коньяку и эти слова еще более вдохновили Муромцева; его глаза горели, когда он читал.

— Значит, если исключить случаи спасения души под крылышком у Господа, в остальном предстоят кошмарные путешествия в иные невидимые нам миры, — неожиданно заскулила Вера, когда Муромцев кончил читать.

— Ну, прежде всего не стоит исключать первое, — добродушно поправил Валя.

— Но раз путешествие в форме уже иных существ, транс-миграция, значит, человеческая личность сбрасывается как маска. Что же остается?.. Кто мы?!

— Загляни внутрь себя, Верка, — захохотал Муромцев, ласково похлопав ее по плечу. — И, может быть, увидишь великую, страшную и могущественную «пустоту», из которой появятся все будущие формы твоей жизни... А «личность» — это слишком мелко для вечности.

— Надо обсудить это с водочкой. По-нашему, по-русски. Соберем чтение у нас?

Тут уж Валя немного испугался: перспектива чтения в доме, где хранились его рукописи, не улыбалась ему. Он предложил другое место...

Вскоре Муромцев покинул этот дом. С улицы он еще раз поглядел на окна: они поблескивали высоко, на десятом этаже, а за ними, внутри, хранилось его «бессмертие». Усмехнувшись, он поехал к дяде.

Дядя его был человеком в своем роде примечательным. Он занимал довольно высокое официальное положение, бывал за границей и обладал в то же время несоответствующей его обстоятельствам широтой. Больше всего на свете он ценил «свободу» или «волю», и так как она была весьма стеснена, то он компенсировал себя безудержной лихостью в частной жизни. Ему все сходило с рук, и в данный момент он жил со старой своей подружкой, с которой разошелся лет 15 назад; она по-своему прощала ему его «волю».

Кроме того, дядя этот — Анатолий Семенович был немного вовлечен в «подпольную литературную деятельность» Муромцева, слышал имена неконформистских писателей и поэтов и имел ко всему этому особое отношение, не всегда совпадающее с ортодоксальным.

Уже вечерело, когда Муромцев добрался до дома родственников, до их большой трехкомнатной квартиры в Кузьминках. Дядя встретил его довольно громгласно и подозрительно радостно. И сразу повел его к столу. Жена Анатолия Семеновича, тетя Люба, почему-то только показалась на глаза, поздоровавшись, а потом исчезла в одной из комнат.

Сначала посидели «за жизнь», поговорили о том, о другом. Дядя по-своему любил племянника, но обращался с ним фамильярно, хотя и по-дружески. Муромцев — ради памяти покойного отца, которому дядя приходился родным братом — терпел это, стараясь не обращать на такие мелочи внимания. К тому же дядя мог быть полезен, особенно в неприятных ситуациях.

— Ну, как, конспиратор? — вдруг подмигнул дядя Валентину и выпалил: — Ведь те, у кого ты хранишь свои тексты, своим соседям их читают.

Муромцев обалдел.

«Господи, этого еще не хватало... Кто же мог?!» — ошеломленно подумал он, похолодев.

— Что же ты молчишь? — усмехнулся дядя. — Не буду тебя мучить. Это тетя Дуся, ваша бывшая домработница, собирает по вечерам соседок со двора и читает твои сказки на крыльце...

«Вот это да! — заключил про себя Валентин. — Как всегда, не ожидал».

Тетя Дуся была та самая няня из детства, у которой он действительно хранил свои тетрадки.

— Не бойся, бабкам твои сказки нравятся. Непонятно, говорят, умственно, но хорошо, загадочно очень. Одобряют.

— Черт побери, я ее не просил об этом.

— Ничего. Старушка по простоте душевной. А теперь оставим юморок. Ты вот что скажи, — вздохнул дядя, бросив взгляд на Муромцева. — Ты пишешь не только сказки, но и весьма острые рассказы, читаешь их по модернистским салонам, где встречаются люди, имена которых известны за границей. И прочее. На что ты рассчитываешь? Я не говорю, что тебя за все это посадят, дадут срок, как в сталинское время. Такого не будет. Но ты же в полном тупике. Что ты хочешь, почему ты не пробуешь писать то, что приемлемо для печати?

— Но, дядя Толя, — развел руками Муромцев, — это же творчество. Я не могу писать о том, что вне моего виденья. Даже если захочу — все равно получится плохо, потому что это — не мое, слишком узкое. Ты же знаешь, как у нас ограничены рамки искусства.

— Хорошо, предположим, — и дядя полез вилкой за селедкой. — Что же ты думаешь делать со своими рассказами? Как можно быть писателем и не опубликовать ни одного слова? И так до конца жизни?! Может быть, ты хочешь сунуться со своими рассказами за границу? Передать их туда, чтоб там напечатали?

— Да, но дело вот в чем, — Муромцев даже слегка побледнел. — Мое творчество — вне политики. Это — свободное, незавербованное, независимое искусство. Такой и была всегда настоящая великая литература. Но многие говорят, что на Западе, а больше всего в Америке, тоже господствует политика и коммерция, особенно последняя. Но если это так, то... политики у меня нет, а коммерческий подход к искусству не лучше, он попросту снимает вопрос об искусстве вообще. Чтобы стать преуспевающим писателем, автор должен превратиться тогда в полудиота, чтобы штамповать свои «произведения». Это целая ментальная операция: и я еще не готов к ней...

— Отлично! — радостно закричал дядя. — Я побольше тебя об этом знаю. Я и говорил тебе с самого начала: все вы, люди независимого искусства, сейчас в совершенно безвыходном положении, в полном тупике, в ловушке... ваше положение безнадежно, оно хуже, чем когда-либо. Вы — висельники. Таков уж век, — и дядя добродушно развел руками. — Предположим, — продолжал он, — там, за границей, скажем в Америке, тебя случайно напечатают. Но поверь мне, вряд ли тебя будут продвигать, а без поддержки твои вещи окажутся в пустоте. На настоящее искусство теперь наплевать... И ничего тебе такая публикация не даст, если не считать всяких неприятностей. Сам задумаешь выбраться туда — трудно тебе будет пробиться...

— Ну и картину ты нарисовал, дядюшка, — усмехнулся Муромцев.

— А? Не нравится? — взгляд дяди помрачнел. Рубашка на нем была расстегнута, и вид он имел весьма разгоряченный. — Не подумай только, что я это говорю потому, что у меня могут быть неприятности из-за тебя, если ты будешь посылать свои рассказы за границу. Не бойся, посылай, я застрахован и не от таких дел. Меня не тронут, если даже ты сам укажишь за тридевять земель. Но я хочу, чтобы ты, наконец, понял кое-что, понял, в какое время ты живешь, на какой планете и среди кого. Иначе ты будешь раздавлен, как овечка. Мне же тебя, дурака, жалко, хотя бы из-за брата. Не такие, как ты, гибли, с железной волей, и все равно гибли, а ты — может быть и талант, да не от мира сего, добрый, мягкий, как блаженный дурачок, а... жуткое дело. Тебя только твоя глупость и спасает, ты ведь не понимаешь, где ты живешь, какой мир сегодня. Но я хочу научить тебя быть мужчиной, видеть вещи как они есть.

— Хватит! Хватит! Не хочу больше слышать!

— Нет, ты должен слушать! Будь мужчиной!

— Ну, я больше, чем мужчина, и может быть, даже больше, чем человек, — с неожиданным высокомерием ответил Муромцев. — Это не самое высшее на земле: быть мужчиной. Я знаю, что мне делать... Черт побери, у тебя есть закурить?

— Да, вот, — и дядя швырнул ему пачку папирос.

Некоторое время они молчали. Откуда-то из кухни вывалилась тетя Люба. Она, видимо, слышала кое-что из разговора, и бросив злой взгляд на Муромцева, проговорила:

— Да какой он писатель... Писатель — это тот, про кого написано, что он — писатель...

— Ладно... — прервал ее дядя. — Мы хотим поговорить одни!

Она вышла.

— Знаешь, дядя Толя, — раздраженно сказал Муромцев, — я, конечно, не забуду этот разговор. Но давай лучше переменим тему.

— Валяй.

— Ты вот говорил, что тебя не тронут всякие, так сказать, пустяки. Вроде неортодоксального поведения твоего племянничка. Что же тебя может сломить?

— Об этом не стоит рассказывать, Валя. А тебе — слышать. Я прошел такое, от чего волки поседеют.

— Ндаа...

— И это еще не самое страшное на земле. Вот когда оно придет, это самое страшное, и я буду на много лет постарше, вот тогда, может быть, я сломаюсь или... просто поседею.

— Ты никогда не говорил так открыто...

— Всему свое время.

— А ты веришь в Бога? — вдруг спросил Муромцев.

В ответ раздался хохот — первый хохот за все время этой беседы.

— Послушай, Валя, — даже с некоторым добродушием сказал дядя, как-то нежно взглянув на него, — я понимаю, что ты имеешь в виду. Я, правда, простой человек, и я не читал и не буду читать всех этих ваших индусов или святых отцов. Но я стою у истока жизни и понимаю жизнь. Да, конечно, некая сила, разум — позади сцены — сотворил все это или был источником — не может такой невероятной сложности мир создаться просто так, случайно, из комбинаций слепой материи или ни с того ни с сего быть, — как пишут у нас в учебниках. Даже чтобы создать спички, нужен разум. Но запомни: этот мир создал дьявол, а не Бог, и на мой взгляд, создал себе для наслаждения, чтоб было над кем поиздеваться и кого умерщвлять. Посмотри спокойно на суть жизни и на то, что происходит в мире, и ты увидишь, что я прав. Да достаточно одного нашего двадцатого века, его истории! Двадцатый век — это лучшее доказательство того, что мир создан дьяволом. Или во всяком случае Бог отдал его дьяволу. И тот полностью контролирует все, все лагеря и умы. Практически это одно и то же, как если бы мир был создан князем тьмы. К тому же, что это за Бог, который отдал мир дьяволу... Так или иначе, контроль у князя, надо только понять, что творится сейчас с миром...

— Однако в мире есть «нечто», ну, скажем, оазис, который не подчиняется такой теории... Правда, этот «островок» все сужается и сужается... Но ты судишь, исходя из опыта человека нашего времени, нашего маленького среза реальности, а переносишь на целое...

— Другого опыта у нас нет. Пусть даже и есть иные миры, где все прекрасно и божественно. Нам-то до них какое дело? «Наш» мир создан дьяволом, вот и все. И потому, дорогой Валя, я верю в дьявола, а не в Бога.

— Картина впечатляющая, но односторонняя... Никто не отрицает это дыхание над миром... Но... островок, островок. Не все потеряно.

Валентин вдруг вздохнул и добавил:

— Но картина все-таки впечатляющая.

И не то растерянно, не то наоборот, ткнул вилкой в ветчину.

— А все-таки, дядя Толя, ты явно не ортодокс в марксизме, — неожиданно перевел он разговор. — С меня и спроса нет, я — беспартийный. А ты вот — с красной книжечкой!

Дядя расхохотался, но на этот раз как-то помягче и по-человечески.

— А кто сейчас ортодокс? — наконец ответил он. — Таких нет. У всех есть что-то свое в душе. Но это не мешает мне выполнять свой долг. А то, что у меня внутри — касается одного Бога, вернее, дьявола.

— Так в чем же тогда смысл? Всех людей на земле. Плясать под дудку дьявола?

— Уж не знаю, под чью дудку, но главное — сплясать, — усмехнулся дядя. —

И учти: в будущем будет еще хуже. Везде. Я объездил эту планетку и знаю. Все неизбежно катится в пропасть, и сделать уже ничего нельзя. Не дай Бог, если будут такие пляски, что и «скрежет зубовой» покажется детским лепетом. Поэтому давайте-ка лучше спляшем сейчас. Пока не наступил двадцать первый век.

И они сплясали.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Полулегендарная Ниночка Сафронова жила в странно сохранившемся уголке старой Москвы, причем Москвы уютных деревянных домиков и зеленых лужаек во дворе. Этот уголок сохранился, окруженный новостройками. Там, в таком домике, она жила в комнатухе с высоким потолком на втором этаже. И окно-глаз этой комнаты смотрело во двор и хранило все тайны и горело обнаженно-красным огнем зимними вечерами, и нежнело летом — от скрытых ласк, которые были разлиты везде: в воздухе, в уголках, в траве...

Нина сама любила этот дом, и этот вид, и эту заброшенность, напоенную мирами. Для постороннего, наверное, это было непонятно, где виделись эти миры; но они существовали, появляясь из истории, преданий, старых картин, из слов и душ людей, что жили здесь. Нина часто застывала, думая об этих людях, своих соседях; и хотя внешне они были самые обычные люди, Нина отлично знала: никакие они не обычные, ибо за каждым из них стояло «что-то», а «что», Нина не могла определить в самой его глубине. Не раз ей даже казалось, что в некоторых случаях это была пустота, но совершенно особенная, уже не предначальная, а пронизанная неизмеримым и иногда страшным смыслом. Такое впечатление создавалось, например, когда она смотрела в глаза Тани Самойловой — ее соседки, работницы текстильной фабрики. Таня иногда, проходя по коммунальному коридору, понимала ее взгляд и улыбалась ей ответно, но не губами, а этой пустотой. Поэтому самой необычной и интересной Таня была, когда молчала; но слова у нее иногда вырывались ошеломляющие — посреди других привычных, теплых, человеческих слов. Нине порой хотелось утешить ее как носительницу непостижимого. Но Таню не нужно было ни в чем утешать, как будто у нее внутри было тайное знание, что никакого утешения вообще не существует.

— А ты любишь себя, Танечка? — спросила ее однажды Нина.

И та ответила, что любит, но очень по-своему.

С другими соседями Ниночке было чуть-чуть попроще; правда, она не раз впадала в состояние метафизической истерики из-за любви ко всем ним. Этим она порой пугала свою другую соседку — толстую Антонину Петровну, которая понимала толк, ибо видела почти все, но в уме своем она не была однозначна.

Судьба ее в детстве была тяжелая. Мать, которую она очень любила, была ранена на войне, и прожила потом только десять лет; отец о дочери заботился относительно, приходилось ей даже скитаться. Потом стало полегче, кончила школу, и влекло ее все время к сверхъестественному. Девочки-подруги втайне любили ее за это, хотя на словах ругали. Зато ни о чем ей не надо было плакать по ночам. Отец остался в Питере, а Нина попала в московский институт и молоденькой вышла замуж. Отсюда и начались ее приключения в неофициальном мире Москвы, который к тому времени уже расцвел. Однако, непонятно было, кто ввел ее в этот мир: то ли друзья, то ли муж, Миша Саблин, отличавшийся своими эссе.

С ним у нее получилась настоящая кутерьма: они расходились и сходились по нескольку раз, но это не мешало их шумной, необычной и в каком-то смысле светской жизни. В конце концов они все-таки почти разошлись, как раз незадолго до болезни Радина, и жили отдельно. Нине было уже 26 лет, она кончила институт, но по специальности не работала, ведя фантастическую и отчаянную жизнь. В ее комнатке на втором этаже нередко закатывались самые потаенные и невиданные чтения подпольной Москвы.

Проникали к ней и книжки, и всякие рукописи, перепечатки, издания, кото-

рые трудно было найти даже в Ленинской библиотеке. Заходил к ней порой и Юра Валуев, и люди из других, по большей части невероятных кругов.

Таня Самойлова говорила ей бывало на кухне, моя посуда:

— Хорошие у тебя друзья, Нинка. Такие не подведут, особенно на том свете.

И Нина гордилась своими связями, расцветая от них. Но и ею гордились тоже. Олег иногда забредал к ней почитать свои стихи, впрочем, для небольшого и весьма избранного общества. Но у Нины порой ему становилось не очень уютно: поражала она его, да и других, чем-то, что хотелось бы забыть. Но это не мешало любоваться ею: была она худенькая, среднего роста, с распушенными каштановыми волосами, и отличалась выражением лица: при всей странной миловидности его, было оно облагорожено и обождено внутренним умом, при котором всякая обычная сентиментальность и чувствительность почти пропала.

Телефонный звонок Олега о том, что он хочет зайти к ней с Сашей Трепетовым, немного ошеломил ее. (Нина была одна в квартире во время этого разговора, уставшая после работы в крематории, которую она любила). Несколько раз в жизни она уже встречалась с Сашей, никакого продолжительного знакомства не было, но что-то в нем волновало ее необычайно. И вот они должны увидеться снова у нее дома.

Она легла на диван.

Было так тихо, как будто дворик за окном перестал существовать... И она вспомнила их первую встречу. Это было давно, несколько лет назад, еще до того, как она вышла замуж. За ней ухаживал один человек — с которым она потом так и не сблизилась — довольно отключенный парень, которого все время тянуло куда-то в неизвестность.

Она была тогда вроде бы незаметной девочкой, только поступившей на первый курс института. И этот парень — звали его Гриша — познакомил ее с Трепетовым. Она помнила: это было зимой, в неистово солнечный морозный день, они решили поехать за город. И врезалось в память: большая, почти круглая комната, где оказалась она с Гришей, а Саша Трепетов будил в далекой спальне красивую девушку:

— Вставайте, Элен... вставайте... они вас сожрут... Скорей на воздух... туда... за город... Скоро все совпадет... У меня есть рецепт. Мы разожжем костер... И сквозь дым вы увидите проекции демонов.

И Элен встала от этого голоса. Причесываясь, она бродила, чему-то улыбаясь. Для Нины тогда многое было в новинку (и в то же время до странности привычно): и жуткие песни про инкубов, и магические заклинания, хранящиеся в черной записной книге Саши, и вообще весь темный, но скрыто-реальный потусторонний мир, нежно, как говорил Юра Валуев, обволакивающий нашу землю.

Нина запомнила один стих:

Скоро, ах, скоро, на теплое ложе,
Скинув на время бесовские хари,
Духи тебя для зачатья уложат —
В мире нужда по причудливой твари!

Гриша все время твердил, что действительно сейчас наступила большая нужда в «причудливой твари»; и что давно уже пора этой «причудливой твари» отдать во владение весь мир, ибо надо «повеселиться» и «чем хуже, тем лучше». И при этом он хохотал, похлопывая себя по ляжкам. Сразу решили, прежде чем отправиться за город, к «королю», заехать за одной такой «причудливой тварью» на дом. Ехали за ней в полупустом трамвае, холодном и до того промерзшем, что казалось, не колеса это стучат о рельсы, а живые кости. Все окна в трамвае были заморожены, запечатаны холодом, освещены извне солнцем, и не видно сквозь них было ничего, кроме света. И Нина не знала, какими путями они проезжали.

Человек, к которому они зашли, был действительно причудлив. По дороге

Гриша со смехом уверял, что когда этот тип родился, то вскоре в младенца лихо воплотилось очень крепкое, но бессвязное существо из глубоко темных, но многозначительных подвалов иных миров. С тех пор младенец поумнел, но развивался не по-нашему. Иногда только со дна его «подсознания» проглядывал человеческий образ.

Парень — звали его Николай — оказался и вправду не совсем в норме даже внешне: толст, уродлив, почти горбат, но силен чрезвычайно. Но главное, конечно, было в глазах. Познакомились. Он подал свою лапу, но как-то слишком церемонно.

Нина вспоминала, что очень пожалела его и чуть-чуть привязалась к нему за время этой поездки. Хотя никакой ответной реакции он не проявлял. А в электричке вел себя шумно, нахраписто, и все время рассказывал дикие, патологические истории из своего детства, о привидениях, которые выходили из его снов и беседовали с ним потом наяву. «А может, он человек», — шепнула тогда Элен Нине. Но его мнения до такой степени шли вразрез со всем устоявшимся, что Нина усомнилась...

Уже смеркалось, и они неслись вглубь Подмосковья в полупустой электричке. Кругом развевались бесконечные снега и темные леса среди них; летящие белые хлопья стремительно падали на землю с неба, а самого неба не было видно: оно было скрыто водопадом снега, падающим сверху. Таинственность лесов подкрадывалась к сердцу и наполняла его древним мистическим трепетом — захватывающим в себя, но в основе своей родным. А когда совсем стемнело, то все это пропало, но появились редкие огни, которые, как живые горящие духи, освещали эту землю.

Наконец, поезд, после тяжелого своего бега, встал. Это была их станция. Не боясь мороза, оголтело-весело они вывалились на платформу. В стороне женщины продавали мороженое. Саша вообще был чуть ли не в пиджачке, с непокрытой головой. Выглядел он совсем молодо, и какая-то таинственно-блаженная улыбка появлялась у него на лице.

Дом «короля» стоял на отшибе, почти с самого краю: деревянный, одноэтажный, как большинство домов в этом поселке.

Нина запомнила раскаленную русскую печку в углу, яркий электрический свет с потолка, и «короля»: довольно мрачноватого, но гостеприимного человека лет 35 с остро отточенными карандашами в верхнем кармане пиджака. Работал он в министерстве пищевой промышленности, но на самом деле был крупный практик, занимавшийся оперативной магией. На Сашу он посматривал с восхищением.

На целых два часа он исчез с Трепетовым, запершись в своем маленьком кабинете...

Остальные, однако, не скучали за столом; особенно развлекал всех «Николай» своей непропорциональной причудливостью.

И еще Нина запомнила: странно-зловещую улыбку «короля», чьи-то слова: «И кажется вечность раем, где зреет вкусная падаль», доброту и огонь за окнами. А потом совсем нечто невероятное, символы, книги, невиданные карты, специальные слова, и все это прерывалось словами о тех, «кто всегда внизу», и о том, что некие существа «богаты чьей-то кровью», и им с нежностью снова и снова предлагается кровь, какие-то обещания, любовь, но не к человеку, и «тьма, где воют упыри». И тотальный хохот, раздающийся из углов.

Она плохо понимала тогда смысл произносимого, и от этого кружилась голова, и все обволакивалось тайной и бездонной дымкой. Это было как в глубоком детстве, когда она не понимала, что происходит вокруг, и ей было жутко, и она плакала. Только впоследствии, многому научившись, она поняла значение того, что тогда произносилось, и решила, что лучше было бы ей этого никогда не знать.

Возвращались они в Москву поздней ночью, с последней электричкой.

«Король» где-то устранил Нину... но Саша, Саша... она чувствовала, что еще момент, и влюбится в него. С таинственно-мудрой улыбкой сострадания он обнимал ее за плечи, что-то говорил, и она поняла: вопреки всему, вопреки «тьме»,

жить можно. Пускай бесы, «дезинтеграция» после смерти, «пусть заочно за нас решило наше прошлое, пусть тюрьма», или «стон молитвы, с черным миром слитый», но все равно бытие — это дар и его надо разгадать; и даже тот мрак лучше, чем ординарное сознание — в котором вообще ничего нет. Саша смеялся, и они уже неслись обратно в Москву, и опять пылали вдалеке в пространствах огни, и ей казалось — сквозь тьму за окном, — что она видит родные бесконечные леса, которые таинственно о чем-то говорят и полны бездн...

... Потом Нина изредка встречалась с Сашей в разных компаниях. Она чувствовала, он изменился, но она по-прежнему тянулась к нему, однако Саша, исчезал — и Нина забывала. Словно была невидимая преграда. Да и у нее самой в жизни происходили многие события и огромные перемены — и внутри и во вне. Только однажды у них вроде бы произошел контакт, это было спустя полгода после первой встречи у «короля», но на этот раз на квартире у одного неконформистского художника Бориса Вешникова. Контакт получился иного рода: по поводу «сновидения». Вернее, за неделю до этой встречи с ней случилось что-то непонятное во время сна. Никакого сновидения не было, но вдруг она почувствовала, что проваливается в черную яму, точнее, ее «душа» — и она осознала это во сне — внезапно стала приближаться к некой страшной черте, и если бы она перешла эту черту, то все было бы кончено для нее с этим миром.

Она провалилась бы в бездну, по ту сторону этого существования, и уже никогда не увидела бы небо, звезды, Россию. Это была черта, перейдя которую, не возвращаются обратно и не просыпаются. И она ясно, всем сознанием своим почувствовала это как истину. И яростно стала бороться, чтобы не перейти, вернуться обратно, и не поддаться движению в бездну. В уме зияла только одна мысль: еще один момент, и все кончено. И отчаянным усилием воли она возвратилась. И проснулась.

И вот тогда — у художника, после просмотра его сюрреальных картин — она спросила тихонько у Саши об этом, и он объяснил ей, что это не был «сон», и что она была в опасности и почему. Она запомнила этот разговор на всю жизнь.

И все это, как бы в забытии, вспоминала Нина, лежа на диване, после звонка Олега. Значит, завтра Саша появится у нее.

...Олег был рад тому, что визит к Нине — последний из всей серии Сашиных поисков. Уже был и Виктор Пахомов, Ларион Смолин, большое общество у Омаровых, и теперь Нина. Саша сам сказал, что этого достаточно. И потом будет известен результат, и дальше второй этап, может быть, даже цель: встреча с «тайным человеком» и «путь». Пора, пора было что-то менять, одними стихами всю жизнь не проживешь, надо совершить нечто более кардинальное, бесповоротное и сверхчеловеческое... Так думал Олег. Хотя и возмущался в глубине: нет, нет, стихи он не оставит никогда, как оставил их тишайший Борис Курганов. Борис — он считался одним из лучших русских поэтов нашего времени — собирал свои стихи, оставленные у друзей, и сжигал их, чтобы быть в единстве не с поэзией, а только с Богом. Но неужели нельзя сочетать — удивлялся Олег. Нет, он никогда не откажется от стихов, ибо писать их — глубинная внутренняя потребность для него. И слава. А от всего этого не так-то просто отказаться. Для этого надо быть Борисом Кургановым — и перейти в иные измерения...

Ни Закаулов, ни Берков не пришли на этот последний «поиск» Саши Трепетова. Были свои причины, особенно у Леши, который извелся от своей разгоревшейся любви к синеглазой Светлане Волгиной.

Олег встретился с Сашей один, вечером, когда лил осенне-бесконечный дождь, иногда посещающий Москву летом. Довольно прохладно поздоровавшись, они направились к цели. Нина уже ждала их и приготовила фантастически скромный ужин (так хотел Саша), пригласив дополнительно только одного человека — старого своего приятеля Илью: из-за его тихости.

Вид Саши поразил ее: она давно не видела его, и он изменился — в чем-то неуловимом на первый взгляд. Ей показалось, что он где-то совсем в другом, не в прежнем, а в невероятно далеком. Тем более удивила ее какая-то вне всяких рамок его веселость — настолько странно сочетаемой она была с его уходом.

Поэтому, как только сели за стол, покрытый простенькой клееночкой и примостившийся у окна, которое выходило во двор, Нина сразу вдруг спросила Сашу о «короле» и напомнила ему эту забываемую для нее поездку в глубь Подмоскovie — зимним вечером, в мчащейся сквозь тьму электричке, полной огней.

Саша улыбнулся:

— О, это были дивные времена... Но, увы, для меня уже отошедшие. Хотя «король» по-прежнему пребывает в своем королевстве.

— Хотела бы я его еще раз повидать, Сашенька, — засмеялась Нина. — Я ведь тоже теперь другая...

— Это надо обсудить. Все зависит от того, какая ты другая. К «королю» лучше приходиться только по делу.

Кое-что из этого разговора — некоторые намеки Нины — Олег не уловил и почувствовал себя отчужденно. Скоро вот и при нем будут говорить на непонятном языке.

Но неожиданно оживился Илья и начал рассказывать, как уютно и ладненько он пристроился работать сторожем в зоопарке (на более высоком уровне реальности он был поэтом) и как много от этого он получает для своей поэзии, особенно от слонов. И что он смущен общей загадочностью и величиной этих существ и часто плачет поэтому.

— Все они хорошо, — подтверждал, посмеиваясь, Саша, наливая винца, — домашнее зверье особенно любопытно наблюдать; как они иногда пытаются понять человека и порвать занавес, и как плохо это у них получается. Так и мы, грешные, порой, в таком же положении, в смысле занавеса, только другого. Хе-хе...

Разговор разгорелся, и, охватывая все подтексты, понесли по своим кривым переулочкам и широким дорогам. Олег даже почуднел от удовольствия. Нина тут же рассказала залихватскую и задушевную историю про одну свою школьную подругу, в квартиру которой вдруг в один весенний день раздался звонок и на пороге появился незнакомый мужчина, который, извинившись, попросил разрешения зайти к ней в уборную и помочиться. К собственному ее удивлению она согласилась. Мужчина зашел, да так и остался с ней, как говорится, навсегда. Поженились они по любви. Зажили как в раю, потому что великим монстром он оказался в душе, а ей этого и хотелось.

— Упаси Бог от такой любви, — утрюмо заметил Олег.

Нина налила себе ароматной наливочки, вздохнула и, словно в забытьи, загляделась на Сашу.

— В адок, в адок бы хорошо! — вдруг вымолвила она, облизнувшись и сладостно опрокинула в себя рюмку. — Временно, конечно. Эх, погулять бы по этим кругам! С песнею да с гитарою. Пошевелить наполеончиков, чингиз-ханов, шепнуть кое-что на ушко Главному: Хозяину земли этой... Эх!

— Протекция, большая протекция нужна в таком случае, — вздохнул Саша.

— Да, да, адка хорошо бы попробовать... На вкус, Сашенька, — и она улыбнулась ему заразительно. — Впрочем, порой я устаю от всего этого. От нечести, которая кружится в воздухе. И от любимых монстров со стороны, которые — неизвестно из каких сфер — начинают вдруг воплощаться здесь. Устаю. Тогда хочется вверх, в Вечное, порвать занавес, — она опять взглянула на Сашу, — по-настоящему порвать. Чтобы уже не было ложного света.

— О, для многих это главное препятствие! — ответил Саша. — И даже истинный свет бывает опасен, если, например, он дан в меру, но к нему приковываются, принимая эту горстку Света за абсолютное. И потому застывают, не идут дальше, отрекаясь от глубинного Богопознания. Кроме того, свет обладает свойством ослеплять. А тьмы нечего бояться...

Нина снова прикованно посмотрела на него.

— Как смешно, наверное, видеть разницу между Божественным и тем, что люди принимают за Божественное, — быстро сказала она. — Бедные они, бедные!.. И когда же, когда все это кончится?!

— Не переживайте, — вмешался Олег, — на всех все равно не хватит жалости. Бог с ними. Лишь бы найти себя, свой путь.

— Ох, Олежек, — живо обернулась к нему Нина. — Смотрите, как бы еще не пришлось вам расплачиваться за этот свой путь... «свое» не гарантия божественности. Так и подзалететь можно. Один мой друг говорит: надо разбить все ориентиры, и вперед! Но разбить он хочет, прежде познав их... Этакий богатырь... Таких я люблю.

Саша, отпивая чаек, посматривал на Нину, улыбаясь.

— Полетим, полетим, все равно полетим! — прервал тихий Илья. — И даже зверушки полетят. В свое время.

— Смотря куда.

И разговор вдруг перешел на личность Валентина Муромцева.

— Думаю, станет весьма крепким парнем, — заключил Саша. — Поэтому пока мы его трогать не будем. Пуццай созревает себе. На могилах.

И беседа продолжалась радостно, уютно и в озарениях, при осторожном шесте деревьев во дворе.

И когда уже наступила ночная глубина, стали расходиться. И Нина, спускаясь по деревянной лестнице, ведущей на землю, слегка коснулась Сашиной руки и спросила, можно ли ей позвонить ему.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Катя в душе неотвязно беспокоилась за судьбу Максима. Но после того необычного визита к нему и сцены с Глебом, ей так и не удалось больше посетить его: то он неважно себя чувствовал, то ожидал прихода какого-нибудь именитого врача. И встречаясь с другими, и на вечерах, подобных Омаровскому, она тосковала о нем...

Между тем Максим, после ссоры с Глебом, впал в совершенно иное состояние, которое никогда не охватывало его раньше. Что-то в нем надорвалось, ибо дошел он до крайности: порвалась, наверное, сама потребность к страданию, ибо даже она не беспредельна. Безразличие и странное отупение овладели им. Возможно, это была волна желанного милосердия. Это отупение не было ordinарным, потому что его способность мыслить не исчезла, но была загнана внутрь, а в сознании царил холод и невозможность больше страдать. Только иногда прежняя мысль о конце вспыхивала в нем, прорываясь, и тогда он опять готов был кричать от боли. Но это случалось теперь лишь временами.

И вдруг соседка, та самая, которая хохотала, предложила ему последнее утешение: «Ты играй в шашки, Максим, играй в шашки. Это помогает в таких случаях. Шашки, они кого хошь победят».

И Максим стал играть. Партнер для него нашелся из соседней квартиры: мальчик лет четырнадцати, хороший игрок, чемпион школы. Он был безотказен: целыми днями они сидели за столом, иногда переругиваясь и переставляя фишки. Как будто играющий в шашки не умирает...

Так проходили день за днем, час за часом, даже в лихой веселости и в оживлении. Но Максим все время поглядывал в окно: не залетают ли к нему птицы...

...А Катя, на следующий день после того, как произошла встреча в Нининой комнате, решила позвонить тем самым людям из религиозных православных кругов, которые обещали ей и Светлане Волгиной прислать к Максиму своего знаменитого «мастера смерти», который возвращал внутреннюю жизнь неверующим... Но ее ждало разочарование: до сих пор до него не могут докопаться, он куда-то исчез, но надеются, скоро будет. И тогда она позвонила Максиму: как он. На сей раз он ответил коротко: приезжай.

С трепетом она подходила к этому большому серому дому в центре Москвы, где недавно пришлось пережить ей нечто похожее на сцены из Достоевского. К ее изумлению, Максим всего-навсего играл в шашки. Четырнадцатилетний парень, полуголый, сидел рядом в качестве партнера и почему-то размахивал руками. Максим кротко улыбался и пригласил ее посидеть и посмотреть на игру.

Катя смиренно присела, озираясь. Максим же сразу ушел в игру, почти не замечая гостью. Робко она спросила его о врачах, но вдруг вне его ответа почувствовала, что все безнадежно. Фигура Максима за маленькой шашечной доской стала еще длинней, точно вытянулась. И она сказала, что сходит ему за молоком — почему именно за молоком, она не знала. Вышла на прохладный двор вся в слезах. И тут на скамеечке подвернулся ей сосед Максима, старичок из квартиры напротив. Катя неожиданно для себя присела около него.

— Что, все играет в шашки? — любопытствовал он.

— Играет.

— А иные вот заговариваются, — сочувственно вздохнул старичок. — Если молодые. Разве мыслимо молодым умирать...

— Что же делать?

— Ничего, — резко оборвал старикан. — На том свете разговорится наоборот. Придет в себя, очухается.

— Чего же так сурово?

— Ишь, какие нежные вы. Да я, к примеру, видел человека, покалеченного, разорванного, только что голова цела, в ванной. И в крови по горло. И чуешь, что он мне сказал? Посмотрел на меня и спросил: «Что, боишься, старик? А я вот ничего не боюсь».

— Господи, где ж это было? На войне?

— Зачем на войне. На войне ванн нету. Недавно было, в больнице.

— Ну и ну. Что ж, в этом есть своя правда. — И Катя встала со скамьи. — Прощай, отец, я за молоком.

И она исчезла в переулке. Максим тем временем начал свою тринадцатую партию. Сегодняшний счет был 7:5 в пользу подростка-чемпиона. Появление возвратившейся Кати мало что изменило, но это странное отсутствие контакта еще больше заставило Катю страдать. Все-таки он сунул ей в руки письмо, написанное крупным детским почерком Глеба, в котором он извинялся за все перед Максимом.

Часы проходили в каком-то диком умилении, и Катя даже дошла до того, что стала следить за игрой в шашки и разбирать в уме позиции. Под рукой у нее оказался атеистический журнал «Наука и религия», и она стала его механически перелистывать. Взгляд ее упал в текст, от которого волосы могли бы встать дыбом: из-за его идиотизма. А между тем продолжались партии, одна за другой, до бесконечности, отчаянно и бесповоротно... «Опять за свое: ничего нет, — вздохнула Катя, отбрасывая журнал. — Вообще ничего нет... Но когда же кончатся эти партии?»

Она запуталась в их беспредельности и молниеносной смене: одна за другой. Конец и опять начало. Начало и опять конец. И где-то в разрыве между концом и началом ей удалось встать, обменяться улыбкой с Максимом и, как во тьме, пожать руку и проститься.

Она вышла на улицу. Вечерело, солнечный свет был мягок и нетревожен. Люди спешили по своим домам, исчезая, как ручейки, то обеспокоенные, то радостные. С горя она решила зайти к кому-нибудь поблизости и очутилась у дверей мастерской Демина. «Наверное, будет Глеб», — подумала Катя, и действительно, учитель был у своего ученика. Вид Глебушки, после того, как он словно канул в воду на несколько дней, был уже другим: и глаза не так блестели, и чист был, и вроде бы даже не выпивши. Рядом стоял мольберт с начатой картиной.

Но завидев Катю, он загорелся опять. Демина и Светы не было — вышли ненадолго.

Сначала возникла некоторая неловкость: впервые они после всей этой истории с Максимом оказались наедине.

— Я, Катя, не могу так, — вдруг проговорил Глеб, начавши ходить для храбрости по комнате. — Или ты меня любишь, или нет. Если нет, расстаться, наверное, надо. Решай сама.

— Ты же сам так хотел.

— Раньше. Потому что я думал тогда больше о твоей красоте. А не о любви. А теперь я не могу. Грань перешел.

— Ну, вот. Этим всегда кончается.
 — Я не только художник...
 — Мой милый Глебушка...
 — Итак, значит, не любишь. Сердцу не прикажешь.
 — Но...
 — Никаких «но»! — вдруг с необычайной для него яростью крикнул Глеб. — Ты еще скажи: стерпится — слюбится. Можешь уходить!
 — Хорошо, я уйду, — побледнев, ответила Катя.
 И она начала собираться. Пошла к выходу.
 — Подожди, — он взглянул на нее. — У меня сейчас... Иди, иди. Но прости меня.
 Катя стала медленно открывать дверь. Он подошел поближе и тихо сказал:
 — Я сейчас просто не хочу тебя видеть. Я боюсь тебя.
 И она также медленно исчезла за порогом, закрыв за собой дверь.

А следующий день был нов и упоителен и нес капельки воскресения для всех, так уверял по крайней мере подпольный астролог Миша Потаян. Но день прошел: и настали тревожные, опасные времена, напоенные страхом, надеждой и блаженством. По телефону утром по всему неконформистскому миру Москвы распространялись дикие слухи, сплетни, порой истерические откровения. Вероятно, толчком послужила история с рукописями Леонида Терехова — того самого знаменитого поэта, который скандалил на вечере у Олега. Ходил слух, что он неожиданно для самого себя вовлекся — или его вовлекли — в одно нелепое политическое дело. Кроме того, нашумел слух и о том, что Веничка Дорофеев, автор прославленного мистического романа про алкоголиков, потерял единственную рукопись своей второй книги. Никто ничего не знал точно, все это вместе задело всех за живое и получило название «черного понедельника» — так как Терехов влип в эту неприятную историю в понедельник и в этот же день пошел слух о пропаже рукописи Дорофеева.

«А еще уверяют, что рукописи не горят, — твердил Гера Семенов. — Сколько таких рукописей, картин, стихов за все эти времена сталинского лихолетья пропали бесследно! Даже в определенных архивах их не найдешь. И все это исчезло — для России, для истории, для людей. Никто уже не увидит их. А ведь среди этих рукописей были, может быть, вещи посильней «Мастера и Маргариты». У меня есть основания так говорить. Но и книги исчезли, и авторы: сгнули, умерли, повесились, растворились в страшных годах! И сколько же, сколько мы потеряли безвозвратно, думаю, эта потеря равносильна потере культуры доброй половины девятнадцатого века! Да и сохранится ли для будущего наше, современное, что делаем мы? Никто ничего не знает. Горят картины, горят рукописи — жутким, алым пламенем, и ничего от них не остается, кроме пепла. Когда-нибудь так и земля сгорит — как рукопись, опостылевшая Богу...»

Он говорил все это друзьям в кафе на улице Горького.

— Ну, уж это ты чересчур, милый, — вставила тогда Вика Семенова, его жена. — Бог правду видит, да не скоро скажет...

— Ждите, когда Он ее скажет, — прервал кто-то. — Но до того времени все сгорит, и земля в том числе. Одна только правда останется. Без людей.

— Значит, туда и дорога. Заслужили людишки. Кроме них, есть и миры иные, и существа другие. Пусть они и живут. Без людей. Провались все пропадом.

— Нет, надо верить. Не только в Бога, но и в человечество. И в Россию. Может быть, такой расцвет, какого мир еще не видал со дня его основания...

— Ну и оптимизм же у вас, батенька. Остается только позавидовать! Бьют вас, бьют, как собак, скоро совсем с голой задницей оставят, а вы все свое: верую. Ну и ну! Всему есть предел.

Разговоры такого плана так и разгорались по разного рода кружкам и компаниям.

— Да нет, и рукопись Дорофеева не пропала, и с Тереховым все будет благополучно, — уверяла всех Люба Демина. — Рукопись хранится в надежном месте.

Это роман, он называется, кажется, «Скрябин», хотя никакого отношения к Скрябину не имеет.

— Нет, все пропало! — отчаянно твердила курносая Вера Тимофеева. — И все пропадет!

Эти волнения самым убийственным образом подействовали на Валю Муромцева, который в очередной раз перепрятал свои рукописи. Он уже относился к этому «перепрятыванию» чисто сюрреалистически: даже не уяснил себе вполне ясно, от кого он прячет свое творчество, и кто за ним охотится. Может быть, за его рассказами охотились полувоплощенные выходцы с того света, продырявившие щель в «великой стене», защищающей земной мир от невидимого, и о чем появлении так грозно предупреждали древние... Или может быть, кто-то просто хочет украсть его «бессмертие». В то же время он стал относиться к этому немного спортивно: удастся ли спрятать так, что на сто процентов не найдут: по крайней мере предполагаемые земные недоброжелатели.

И рано утром, как раз после ушедшего дня тревожных забот о рукописях — он совсем затосковал, тем более что долго, два-три дня не видел никого из своих друзей, разговаривая с ними только по телефону. «Организовать что ли какое-нибудь пиво, без водки, просто чтоб пообщаться поскорей. А то совсем с ума сойдешь от всего этого сюрреализма 20-го века», — подумал он, набирая телефон Олега.

Олег охотно отозвался.

Договорились у «сидячего» памятника Гоголю у Арбата: там, как известно, было два памятника писателю: один из них был старый, в сквере, где Гоголь сидел, окруженный хороводом каменных героев.

Валя устал душою, пока добирался до места встречи: настолько велико было желание поскорее увидеть «своего», погрузиться в общий мир. И погибельное настроение сразу испарилось, как только он увидел чуть блаженное лицо Олега. После объятий, поцелуев и двух-трех слов, Валя был уже далек от всей тяжести земной жизни, точно ее — этой тяжести не существовало вообще. То же самое произошло и с Олегом. Они умудрились быстро, несколькими фразами, выложить то, что таилось в глубине, точно передавая друг другу свои последние знаки. И даже простое, по глазам: «Ты держишься?» — «Конечно, держусь» — было не лишним в их положении.

Но главным, конечно, было глубинное и тайное, передача его была молниеносна, и иногда без слов. А потом уже можно было перейти на более простой язык: что случилось, кто о чем думает, что пишет. И не заметили, что шли по переулочкам в метро. Нервы разрядились, и душа отдыхала в радости и полете. Олег не так уж часто виделся с Муромцевым, но необычайно ценил особые пути их отношений, эти потайные беседы. Часто они проводили время в ресторанчиках, одни за коньяком, удаляясь потом ближе к лесам, паркам, окраине — для покоя — но завершая обычно свои встречи в бурной компании.

Но на этот раз Олег сообщил Вале, что к ним хочет подсоединиться Катя и Вика Семенова, и может быть Демин, и что надо подъехать к Семеновым, там рядом есть хороший «заныр», где можно отдохнуть от мира сего. «Заныром» называлась какая-нибудь мистически-отъединенная квартира, или просто особое место, где можно встретиться и где все направлено на свое, внутреннее.

У Семеновых их уже ждала Катя Корнилова и Вика (сам Гена не смог разделить их общества — уехал по делам). Квартира была большая и прохладная с портретами неизвестных русских людей из тьмы веков, и все они смотрели как живые на своих странных потомков. И никакие тяжелые шторы не могли заглушить блаженные, и в чем-то до боли родимые звуки шагов на тротуаре — то были шаги живых бедных людей: квартира располагалась на первом этаже.

Вика и Катя отдыхали в глубоких креслах, смеялись и чуть не плакали, пили розовый слабый портвейн, и Бог знает о чем говорили. Приход Олега и Муромцева сделал обстановку еще родней, и точно огненное драгоценное вино — вино совместного общения — разлилось по комнате. И было упоенно и сладостно

только от того, что всякий знал, что каждый любит другого — в запое таинственной русской дружбы — но было еще в этом и нечто иное: вознесение в сферу какого-то тончайшего рая. И, наконец, душа, если и оставалась здесь, то была уже не одна, хотя и противопоставленная всему миру жуткой, бесконечной неизвестности, скрытой в невидимом.

Можно было ничего не стыдиться, и плакать, и возвыситься тут же, и знать, что ты соприкасаешься с истинным сокровищем... И такое общение разливалось по всему московскому миру, и ему не было конца, как не было конца нежности и опьянению от встреч друг с другом.

И единственное, что, может быть тревожило — уж слишком «затягивало» такое общение, возникала жажда обрести его каждый день. Все время кто-то с кем-то встречался, и дружбу такую уже и дружбой нельзя было назвать — ибо было в этом нечто более значительное: сотворение совместного духовного мира, может быть, спасение, укрытие и вознесение... Муромцев часто удивлялся: перед встречей (а это было почти каждый день) с кем-то из «своих», неважно кто это был, мужчина, женщина, поэт, художник, бродяга, но обязательно «свой», т.е. глубинный, у него было такое ощущение: что-то невероятное и разрешающее все вопросы должно случиться. Случиться в духовном смысле: то ли будет какое-то «откровение», то ли вдруг все они будут спасены (и метафизически и банально), то ли обнажится такое, от чего ум пойдет вверх дном. И действительно: все это было (но спасало ли до конца?) и открытия, и внутренние знания, словно током передающиеся, и предельные обнажения. За один час от встречи с некоторыми можно было познать более, чем от чтения томов книг. И все это было озарено и жизнью и духом.

Но у Вали возникало порой даже такое чувство: должно случиться последнее откровение, нечто бесповоротное и решающее. И на некоторые встречи он отправлялся чуть ли не как на последние. И хотя ничего «последнего» все-таки не происходило, это ощущение поднималось вновь и вновь перед другими встречами и вечерами. И кроме того была иная жажда: просто погрузиться в блаженство общения, во все его бесконечные пласты. Это превратилось в такую жгучую потребность, что Валя не мог долго быть один, например, на даче, и через два-три дня устремлялся в Москву, к друзьям. Хотя казалось, каждый из них — так любил и знал цену одиночеству, в котором могло рождаться великое и духовное. Но при этом была жажда быть со своими. «Времени на творчество не хватает, — жаловался Гена Семенов. — Не дают жить телефонные звонки». Но потом добавлял: «Что ни говори, а интересней человека ничего нет на земле. Как ни вертись. Все остальное — уже вторичное».

И этой жажде, этому общению были подвластны почти все. «Дело в неисчерпаемости души, — твердила Люба Демина, — хоть мы и несчастные, но неисчерпаемые». Но «несчастливыми» мало кто себя чувствовал, большинство наоборот...

И вот опять они вместе. Катя улыбается Муромцеву: «Что в тебе сейчас, что?.. Я чувствую это что-то родное, мое. Где-то там в последней клеточке души... Передай глазами».

Таково было первое «рукопожатие».

И понеслось, понеслось — дальше, дальше, между словами, за вином, в словах, на звезде. Но «отключаться» договорились в ближайшем «заньгре». И поэту Вика Семенова первая встала с кресла, поглядела на часы и сказала:

— Нас уже ждет там Толя Демин.

«Там» — значило в одном из здешних открытых «заньгров», т.е. не на квартире, а недалеко от пивной, во дворике, где ощущались особые влияния. «Влияния» же выражались во внутренней «психологической» ауре каждого «заньгра», присущей только ему. И вместе с тем во всех этих местах было и нечто общее. Там легче было «отключиться», т.е. уйти в свой мир.

За это они и ценились.

Пришлось подняться и выйти из гостеприимной семеновской квартиры. «Заньгр» находился недалеко: быстро прошли два-три переулочка. Это был, на первый взгляд, всего лишь узкий дворик, с зелененькой травкой, как бы старомо-

сковский, затерявшийся между деревянными домиками. Но тут же рядом возвышались огромные серые современные здания, уходящие в небо. Они были очень высоки, особенно если смотреть на них из этого маленького дворика. Но главное — дворик нес «ауру»: это чувствовали почти все, но особенно Демин, который считался знатоком потаенных мест. Он мог сразу определить, войдут ли «влияния» в душу, если начать выпивать в избранном месте. И что еще важно — какие влияния до тонкости. Муромцев тоже считался знатоком аур, но больше почему-то деревенских: до того, что он мог чувствовать состояние каждой березки, и знал под какой лучше всего «отключиться». Демин же был большой специалист по городу и находил смысл даже в однообразных до неприличия новостройках: от противоположности. Но особенно он был неутомим в выборе затаенных старомосковских дворов, где после первого глотка водки можно было почувствовать себя погруженным в бесконечно родные стихии.

В этом дворике, около семеновской квартиры, было влияние «тоски, облаченной в смирение», и кроме того — трогательность, иногда сводящая с ума. И еще влияние тайны. Дополнительным моментом было грозное присутствие 20-го века: рядом виднелись огромные здания.

Кроме того, была канавка, у забора, и бревна, и как-то в этом месте можно было тихо посидеть, не раздражая своей вольностью никого.

Как и ожидалось, Демин уже был у заветного места. Его Люба не могла прийти: сдавала экзамен.

Расположились спокойно себе, не забывая про сумку с пивом и вином.

Да, «влияния» были, и даже с неба они шли: бездонного, серого неба над головой. Но дворик все превращал в вечный уют. Одинокая старушка на скамье проводила их застывшим взглядом, пока они не исчезли за бревном, в канавке, рассаживаясь кто как мог на земле... И сам ветер здесь навевал покой.

И все-таки и последствия «черного понедельника» не оставили их и здесь. Вспомнили пропавшую книгу Дорофеева. От нее мысли перешли на книги вообще, и Катя рассказала свой сон: о будущей последней великой книге мира сего. И кажется название ее было «Паук».

— Ох, Катенька, убедила, убедила, — вздыхал Муромцев. — Так оно и будет. Или что-то в этом роде.

— Достать, достать эту книгу! — совершенно истерически добавила Вика Семенова, выпив стакан пивка с водкой. — В библиотеке. Да-да, именно в читальне. Прийти и перелистать...

— В невидимой библиотеке, — подхватил Олег.

— Да, время — это иллюзия, — пробормотал Муромцев. — И конечно, на каком-то уровне такая книга уже есть. Не обязательно это «Паук», приснившийся Кате. Но должна же быть последняя великая книга человеческого рода! И она уже где-то есть. Только нам ее не читать. Хотя кое-кто, может быть, ее прочел. Большая квалификация для этого нужна.

— Пусть тень ее падет на нас, — проговорил Олег. — В этой тени да будем писать наши книги! Выпьем за это!

— Паук... Паук... — отвечала Катя, поднося стакан животворного кипящего пива к губам. — Допустим, будет конец (или вернее трансформация и отсечение) — значит книга о его причине... Но если б в придачу причину познали, то...

— Значит, книга та закрыта для людей, кроме посвященных... А я бы выпила за Анти-Паука!

И она встряхнула своими золотистыми волосами.

— За Анти-Паука! — вскрикнул Демин.

Все ладненько так выпили за это.

— Да, книги, книги, — произнес Олег. — Я слышал. Есть сейчас кое-что. Очень скрыто. В Москве. Две-три книги, рукописи, очевидно... Но в них — ключи. И лучше даже не думать — к чему. Это уже слишком. Давайте я расскажу вам свой сон. Недавний.

— Сон?

— Да, но не обычный, а явно... другого рода. Так вот. Лес. Дорога. Проходят незнакомые люди. Мы сидим за столом с моим другом. Художником. Какую-то связь с ним ощущаю. И вдруг он говорит, что он — убийца. Я поражен, я не хочу этому верить. Я — в отчаянии. Но он говорит спокойно, словно вообще не скрывает этого. Он убил женщину. Показывает в сторону — на траве, у сарая, инструменты убийства. И потом мой друг рассказывает о чем-то постороннем, даже ненужном, к убийству никакого отношения не имеющем. И затем уходит. Появляются новые люди, о чем-то спрашивают, и я боюсь, что убийство обнаружат... Потом сразу картина меняется. Поле... Подготовка к некоему торжеству. Я вижу моего друга — художника. Много людей. И среди них судьи, пыгающиеся найти того, кто убил. Кругом продают билеты. Вдруг оказывается, что должна состояться выставка картин моего художника. И вот почему — торжество. Когда об этом узнают, судьи как-то ступешиваются. Картина эта особая. Она — движущаяся, она составлена из предметов жизни, а не написана на холсте. Я жду. И вот появляется картина: в виде странной процессии, идущей по дороге. Вдали виден средневековый замок. Идут люди в черном, с горящими факелами, и несут на ложах... какие-то восковые фигуры, может быть, статуи. Они лежат как будто в гробах. И от всей картины — состоящей из людей в черном, лож-гробов, и фигур в них — веет невероятной красотой, мистической и земной в одно и то же время. Живая картина идет на нас. Созданная моим другом — художником. И вдруг я понимаю, что одна из фигур на ложе — труп убитой им женщины. Он замаскирован под одну из восковых фигур. Худые люди в черном, в процессии, высоко поднимают длинные свечи. Зачем это нужно художнику? Может быть для того, чтобы скрыть убийство? А может быть, труп необходим ему по замыслу картины? И в этом состоял смысл убийства? А может быть и то, и другое? Никто не знает. Но я слышу слова из какой-то книги, ужасающие по красоте и силе. От всего этого как бы раздвигается небо. Все зрители идут за картиной. Кто-то хочет прикоснуться к мертвецу, до трупа убитой женщины. Определенно, она — самый тайный, самый сакральный элемент картины, интимный и страшный. Чудовищной красотой веет от картины. И те судьи не могут разгадать, что одна из фигур — труп. Они как бы исчезают. Это значит, что преступление будет скрыто навеки. Процессия медленно идет к заходящему солнцу. Впереди — мистический город. В закате, а может быть, в заре. И мы идем туда, вслед за процессией. Странное, неумолимое шествие, объятые незнаемой красотой. Куда мы идем?... К этому городу? Но что значит этот город? Я не знаю. Нет, мы идем не к дьяволу, но и не к Богу. А в какие-то никому неизвестные регионы потустороннего мира. И тут все пропало, я провалился в сон без сновидения... Потом проснулся — но это видение так и стояло в уме.

— Ну и сон! Вот это да, — пробормотал Муромцев. — Но с кем все-таки шествие в неизвестные регионы — с Богом или с Дьяволом? — добавил он, рассмеявшись.

— Пожалуй, с Богом, но не с «человеческим»... Не знаю.

— Брр... Какая символика, — вздохнул Демин. — И живопись...

— Гениальность и преступление, искусство и ...

— О, такой сон сразу не раскроешь. В нем много уровней...

— И, конечно, там нечто большее, чем эта тема: искусство и преступление, — улыбнулся Олег. — Что меня поразило в этом сне — сверхчеловеческая гармония. Правда, один элемент этой гармонии — зло, преступление, но он таинственным образом укладывается в общую картину. Значит, зло — необходимый элемент сверхчеловеческой гармонии. Это не оправдание зла, ибо на человеческом уровне ему нет оправдания, но на уровне богов — все укладывается по своим местам. У богов другое видение и другая «ментальность». Они видят картину Вселенной в целом, а не один ее срез, как мы. И вот, может быть, этот сон — о сверхчеловеческой гармонии. Но почему тогда картину создал художник? Да еще пытаюсь, может быть, скрыть свое преступление, превратив его в элемент искусства. Эх, нам и собственные-то сны полунедоступны. Не боги, чай...

Катя расхохоталась, удивляясь такому неожиданному спаду, и подбодрила:

— Жуткая, жуткая символика, Олег. И не однозначная. Поздравляю с великим сном.

— Благодарю.

— Ох, Олежек, Олежек. Все-таки иногда даже мне бывает страшно, — сказала Катя, и какая-то родная дрожь появилась у нее в голосе. — Но чем больше я живу, тем больше люблю свое тело. Нет, не только нарциссизм и женственность. Главное — защита, защита... От тех, невидимых. Как бы не набросились.

— О, конечно, конечно, — подхватил Муромцев. — Пока, до смерти, это надежный покров. И кроме того, в теле не меньше тайны, чем в духе. Но не в том смысле, как думают сатанисты. Эта тайна — за семью печатями...

— Отлично, Олег, — вмешалась Вика, в полуиронии и в восхищении одновременно. — Дай Бог, чтоб и нам как-нибудь взглянуть сверху на эту сверхчеловеческую гармонию. Особенно это полезно матерям, у которых убивают детей. Бывают такие случаи.

Помолчали.

— Может быть, и у богов есть зло, которое не укладывается в эту гармонию. Или если укладывается, то только через Центр Парадоксов, — произнес Муромцев. — К тому же и «да» и «нет» существуют одновременно. А ключ к этому сну, по-моему, не в гармонии, а в том, что труп убитой — самый сакральный элемент картины... Но в конечном итоге, тайна зла никогда не будет раскрыта полностью ни на уровне человека, ни на уровне богов...

— Ох, Валя, ты уже занырял, — вздохнул Олег.

— Оставим в покое мировое зло! — проговорил Демин. — Хотя как-то оно связано с Абсолютом... Подумаем о себе... Мы, мы... Почему мы такие родные друг другу!?. Особенно, наверное, в самой последней безбрежной и сокровенной глубине. Вот в чем вопрос... Может быть, любовь друг к другу спасет нас. Всех. Не квази-разумные отношения, на которые русские органически не способны, а именно крайнее: любовь...

— О, да, да! Это может перевернуть все. И поэтому главное: жить, жить! — воскликнула Катя. — Вернее, быть. Выпьем за это, — и она подняла свой стакан. — Какой здесь уют... Бесконечный. Этот дворик — из Достоевского. Он — наш. В нем тоже — тайна.

— Наш, наш, наш, — посмотрел на нее расширенными глазами Муромцев. — И мы — вместе.

— Итак, за русских мальчиков — по Достоевскому!

— И за русских девочек — они теперь в пути вместе с нами!

Опять воцарилось молчание. Только взгляды говорили за все. Так прошло... неизвестно сколько времени.

Вскоре, однако, перед ними появился милиционер.

— Распитие в общественных местах запрещено, товарищи, — сурово, не дружелюбно сказал он.

Надо было уходить.

— Бедная Светочка Волгина, — пробормотал Муромцев. — Ее тоже вчера из подобного заныря выгнали. Не понимаете вы, товарищ милиционер, как нам здесь хорошо!

И они вышли на улицу. Одинокие прохожие на улочках были погружены в себя. Явно — всем хотелось теперь расслабиться, отдохнуть, уйти в душевный отпуск... Тут же обнаружили припасенные деньги. И они понеслись: в кабаки, к цыганам. Не так далеко был расположен Речной ресторан, там по вечерам танцевали и распевали свои песни «они» — «осколки» древнего мира, цыгане. Когда подходили к реке — не заметили даже, что стало вечереть.

Ресторан был огромен, но уютен и полупуст. Цыгане уже выступали на эстраде. И звуки музыки и неистовый внутренний танец захлестнул их души.

— Что-то близкое в этом есть, — пробормотала Катя.

— Эх, смешать бы эти ритмы с нашими, глубинными. А слова из Олега что-нибудь, получился бы сильный напиток, — отозвалась Вика. — Любил же Блок цыганщину...

Было выбрано подходящее настроению вино. И опять возобновился разговор, но в его ритм и слова врывается уже вихрь цыганских напевов. Слова сливались с ними, со звоном бокалов и жаром глаз. Это была музыка — вне времени — но не вне душ. «Когда-то гордый и надменный, теперь с цыганкой я в раю: и вот прошу ее смиренно: спляши, цыганка, жизнь мою». Но этим цыганам, которые были перед ними, не удавалось сплясать современную жизнь: ее концы уходили в неизвестное будущее, где неизвестно, нашлось ли бы еще место для цыганских плясок; да и настоящее вырывалось из этих ритмов...

А беседа продолжалась, и ее слова были слишком многозначны для цыганских бедствий. Но музыка вносила свой подтекст.

Разговор становился все более и более обрывочным, но стремительным и даже бешеным.

— Перейти, перейти через грань...

— А у него истерика: всюду, кричит, тюрьма! Жажда иного берега сводит его с ума.

— Лишь бы жить, лишь бы жить!

— Лишь бы покончить с жизнью... Но чтоб светила другая, там, за обрывом...

— Просто глупо коверкать почерк законченных почти пророчеств...

— Олег, выбросьте грусть из головы: искусство победит. Наши памятники должны стоять друг против друга на площадях будущей Москвы.

— Бог с ними, с памятниками. Где мы сами будем тогда, в каких мирах, в каких оборотах, вот что важнее. Боюсь, нам будет не до этих монументов...

— Естественно... Да, вот так. Тяжело будет из ада созерцать собственный памятник.

— Мы не попадем в ад.

— Найти, найти спасение...

— От чего спастись-то, Господи?! Ведь сейчас, сию минуту — как хорошо! С теперешним-то Я! Только время, время не останавливается. Вот в чем дело. Остановить бы время! А оно идет и идет. И все быстрее, подлое... К развязке.

— Тот, который всегда внизу, осторожно разложит суть...

— Взорвать бы этот земной шарик, взорвать! Опоганили его совсем. Только вот где тогда плясать будем?

И Катя сплясала. Вместе с пьяным Олегом. Ей удался этот танец, и люди за другими столиками тоже смотрели на нее, и даже аплодировали. Все ее движения отражали вихрь и загул. Волосы ее разметались, и танец завершался в душе.

— Танец с того света, — заметил Муромцев. — Я не про Катю говорю. Так пляшет Ларийон. Но и Катя хороша — в огне...

— Мы чуть-чуть разгулялись сегодня. А ведь хотели просто тихо посидеть...

— Охладиться надо чуток...

«Охладиться» — да и деньги кончились — решили у Сергея Потанина. Вика уже звонила к нему — ибо туда должен был придти Гена Семенов.

...Сергей Потанин являл собой одну из любопытнейших фигур Москвы. Вышел он из простой, бедной семьи, и до своего появления в шестидесятых годах в неконформистской Москве прошел трудный и многоликий путь. Он был солдатом на войне, кочегаром, поваром, артистом цирка, лектором, сторожем... пока не стал писать стихи и не вошел с ними в неконформистский мир. Очень быстро у него сформировался свой круг. Его поэзия того времени была оригинальна и доступна: в ней изображалась повседневная жизнь, но так, что она превращалась в гротеск, в сюрреализм. Точнее, сама жизнь была сюрреализмом, а не стихи. Стихи только с точностью часового механизма отмечали это — просто, экономно и выразительно. Такую поэзию, однако, (ее окрестили «помойной» в официальной прессе) трудно было опубликовать: хотя она, как всякое искусство, скорее выводила из помойки, чем вводила в нее (последнее, как во все времена, было привилегией жизни, а не поэзии). Но соотношение между жизнью и искусством трактовалось тогда в некоторых сферах с такой веселой жеребьячьей упорченностью, что это стоило Потанину многих неприятных дней. Он поседел, но не сдался. Как ни странно, он стал публикующимся детским поэтом — и

очень хорошим. Но свою «взрослую» поэзию он не оставил — наоборот, — слава его разрасталась как раз за счет его подпольной поэзии, хотя он писал уже другие стихи: космические циклы, стихи про монстров — взрывные, новаторские, и отточенные технически. Вместе с тем статус детского поэта позволил ему неплохо существовать — и квартира его за Таганкой превратилась в гостеприимный дом для неконформистов. Немногие среди последних могли сочетать «официальное» с «неофициальным», но были и такие, и к ним относились без предубеждений.

Не только «взрослая» поэзия, но и жизнь Сергея Потанина была вполне неконформистской, во всяком случае, в душевном плане; сам его вид — высокого, седого, средних лет мужчины с суровым, большим лицом, с татуировками на теле — точно взывал к безумствам и лихостыям.

Последнее время он писал новаторский роман (о богеме) такой же бытовой и бредовой (в лучшем смысле этого слова), какой и была его жизнь. В стихах его таилась глубина, так же как и в его зеленом глазе, настоженном и неподвижном.

Наши друзья прибыли из Речного ресторана к Потанину, когда у него стоял дым коромыслом и «отключалась» небольшая, но шумная компания: три художника, курящая всюю девица, Виктор Пахомов, Гена Семенов и одиноко маячивший в углу библиофил Андрей Крупаев. Еще должна была подъехать Люба Демина, которую известили о «сборе» у Потанина.

Жил Сергей Потанин один, вольной холостячкой жизнью.

Его маленькая квартира, напоминающая музей, уже была пропитана дымом сигарет и напоена звуками восточной музыки и сумасшедшими разговорами. Сам хозяин в большом синем персидском халате сидел в кресле и пил чай из пиалы. Водки было немного: Сергей — периодами — не выносил пьянства.

Потанин действовал на других как-то странно: в его присутствии все почему-то трезвели, но по-особенному: оставаясь пьяными. Да и стихи его действовали как наркотики, но в ином смысле.

— Вот у кого надо учиться, — успел кто-то шепнуть Олегу. — Сергей-то и сумасшедший в высоком смысле этого слова, и в то же время, глядите, как устроен. Это вам, Олег, не ваша дикая коммунальная квартира. Пора и вам двинуться по этой стезе... Детские стихи не отнимут много времени.

Олег отмахнулся.

— Нет у меня ничего детского в душе. Нету. Пропало все, что и было. Пускай теперешние малыши подрастут, тогда, может быть, меня будут печатать.

В углу захохотал Андрей Крупаев. Его лицо было совершенно замученным и потеряннным...

Через десять минут новоприбывшие уже знали текущие события «неконформистской» Москвы, которые произошли за часы их пьяного уединения в «сокровенном» месте. А чай необычайной крепости и аромата вернул их к тишине.

Потанин при всей своей фанатичности навевал, однако, отнюдь не апокалипсические настроения. Его стихи, которые он иногда вдруг начинал читать посреди разговора, были безумны, но в каком-то устойчивом и мирском смысле: этот мир-де безумен, но оправдан и вечен.

Много курившая девица долго хохотала после его стихов. Вошла, наконец, раскрасневшаяся Люба Демина. Ей вручили штрафной бокал водки, и для смягчения — потанинский ароматный чай.

— Не будет, не будет конца свету, — отрезал один из художников, чокнувшись с ней пустой рюмкой. — Все пророчества надо понимать наоборот. Тогда откроется истина... И вообще обратите внимание на подтекст...

— Хорошо, неужели ты думаешь, что этот современный человеческий маразм будет продолжаться бесконечно?

— Будет чудовищная трансформация.

— Если «чудовищная», то ведь это одно и то же, что конец и новое начало. Мировой огонь — и преображение.

— Ну и что ж, все это не так долго будет длиться. Огонь вещь скорая. А потом — другой мир...

— Нечего спорить. Мы живем на каком-то страшном переломе. Чувствуется приближение... Пусть не конец, но перелом. В конец близкий я не верю. Единственно, что тяжело — почти буквальное воплощение некоторых черт, о которых говорилось в древних книгах и пророчествах.

Но Катенька прервала этот поток.

— Пуцай хоть конец! Лишь бы то «Я» во мне, в нас, которое я вижу внутри временами, осталось бы навечно! Какая это тайна, какой пожар затаенный...

— Нет, нет, долго, долго будет стоять этот мир. А чувствуется верно: перелом подходит невиданный. Тем более и маразм не может продолжаться вечно.

Потанин чуть-чуть пустынно посмотрел на говоривших своими сумасшедшими зелеными глазами и сказал:

— Но Бог и маразм — вот два полюса, и оба они вечны по-своему.

— Вот именно, именно! — захохотал наоборот чокнувшийся с Любой художник. — Если хотите вечности, господа-товарищи, то человеческий род надо подтолкнуть, и его уже давно толкают, в противоположную от Бога сторону. Дело только в том, что все время остаются какие-то люди, которые еще как-то связаны с божественным, с реально божественным, а не с пародией на него, которая существует везде как более эффективный вариант атеизма. Вот если все погаснет — ведь последний толчок только нужен, и чтоб людей этих не было — тогда-то человечество погрузится в такую жуткую тьму, из которой уже нет возврата. Вот вам и обратная вечность. Это то, что оккультисты называют подземным миром. Земля станет подземным миром, куда ни один луч от Духа уже не проникнет никогда. Ха-ха-ха! Чудная будет жизнь!

Вика Семенова истерически рассмеялась.

— Вы поэт, поэт! Но этого же никогда не будет в целом для всех людей, только часть туда отсечется, в низшие миры, пусть большая, — чуть не крикнула она. — А картина хороша!

— Картина для писателя.

— Про последний толчок хорошо сказано. Пора, пора! — умилилась Катя.

Так тихо продолжался этот мирный вечер. Иногда позвякивал телефон, и Потанин, чуть не по-матерному ругаясь, объяснял в трубку, что детские свои стихи он все равно сдаст вовремя, и пусть об этом не беспокоятся.

Вспомнили о блаженнейшем Лехе Закаулове, который опять куда-то пропал. Было несколько версий, но больше поговаривали о том, что влюбился он отчаянно в синеокую Волгину, и оттого по-светлому затосковал.

Это предположение наваяло грусть на Муромцева.

Вспомнили и еще о ком-то, ушедшем в леса.

Но сам Потанин оставался холоден и невозмутим. Попивая свой неизменный чай, он посматривал на гостей, и в выражении его лица было что-то сурово-аристократическое, и потому безумное в наш век. Много курившая девочка бросила курить, и прилипла к нему, чуть не плача. И Потанин как-то умудрялся охлаждать ее пыл почти буддийским покачиванием головы.

— Я вам завидую, Катя.

С этими словами к Корниловой неожиданно подсел Виктор Пахомов и, печально по отношению к себе усмехнувшись, посмотрел на нее.

— Что так?

— Ха-ха-ха... Вы сами знаете. Давайте я поцелую вас или лучше спою.

И Виктор поцеловал ей руку — внезапно для всех.

Через час полтора квартира эта погрузилась в приятную, но разорванную вечернюю меланхолию. Горели свечи, и все было окутано полумраком, только по углам виделись тени. За окном, подобно Млечному пути, синевела и мерцала огромная Москва. И разговор перешел в полусшепот, прерываемый иногда тревожными восклицаниями... И допивалось последнее вино и восточный чай, и горел глаз Сергея Потанина.

Уже поздно, к полуночи, зазвонил телефон, и издалека Борис Берков сообщил, что у Леонида Терехова все в порядке.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Пока происходили все эти встречи и волнения по поводу судьбы рукописей и конца мира, Нина Сафронова успела дозвониться Саше Трепетову. К ее удивлению она почувствовала, что он ее примет на этот раз. Договорились вечером, у Саши, на его квартире, у Павелецкого вокзала.

Необъяснимо почему-то тревожась, с сильно бьющимся сердцем, Нина подъезжала к этому дому. Медлительный трамвай, на котором она ехала по кривым переулкам, казался ностальгическим, как карета девятнадцатого века. Домик, где жил Саша, находился во дворе — и это был опять-таки старый московский дворик с двухэтажными оштукатуренными строениями. Саша жил в небольшой коммунальной квартире, другие жильцы отсутствовали. Ей понравилась простота и даже суровость его жилища: стол, стулья, железная кровать, множество книг — и две картины на стене, подпольных художников. На них были изображены фантастические, точнее символические чудовища — впрочем, имена художников ни о чем не говорили Нине. Саша встретил ее дружелюбно и легко. Его подъем сразу передался ей. Нине вдруг захотелось идти, бежать, лететь — вместе с Сашей, куда угодно, хотя бы в ночь, но лишь стремительно двигаться, уходить в неизвестное.

И ни о чем ей не захотелось его расспрашивать. Хотя некоторые полунамеки и полусимволы были неизбежны и они прозвучали.

Быстро распили подвернувшуюся бутылку вина. Нина бросала взгляды на стены, на заглавия книг, и некоторые обожгли ее сердце (были они как на русском, так и на иных языках). В память почему-то врезывалась каждая странная мелочь в этой комнате.

И потом они, точно кружимые вихрем, сорвались с места. Саша захотел показать ей хотя бы часть Москвы своей юности. Когда они вышли, уже стемнело, но прежде чем начать путешествие, они бросились в ближайший ресторан.

И когда вышли оттуда, Саша сказал:

— Пойдем. Конечно, это поездка не ко внутренним звездам, но зато можно увидеть кое-какие обломки давно пройденного пути и встреч и забав. Скорее даже забав — с моей теперешней точки зрения.

И они понеслись, с метро на такси и дальше... Первая остановка была в Сокольниках, в маленьком деревянном домике, где их встретила совершенно чудовищная старуха.

— Уж не любовница ли твоя бывшая? — осведомилась шепотом Нина.

Саша улыбнулся.

Огромная толстая старуха еле умещалась в кресле и синела там в своем редком халате. Вокруг нее клубился дым.

— Определенно некромантка, — подумала Нина, заглянув в застывшие, бездонно-черные глаза старухи, которые выделялись как две потусторонние лягушки на ее разрушенно-мертвом лице.

— Шадитесь пить чай, — прошамкала старуха. — А вы, Александр, не озорничайте...

В одном глазу старухи прошмыгнула ласка...

— Вы только, Марфа Петровна не обижайте... — ответил Саша. — И не надо обычного...

— Да, да обышного — не надо... — повторила старуха. — Сегодня не надо.

Расселись вокруг нее. Она была как бы круглым центром, украшающим комнату. Помянула почему-то вслух покойного поэта Жуковского и ученого Лобачевского.

— У меня такое ощущение, что вы жили тогда, Марфа Петровна, — лет сто пятьдесят назад что ли, — высказалась вдруг Нина.

Но старуха обиделась:

— ...Штой-то вы меня молодите-то... Детка.

Она вдруг застенчиво и даже как-то по-девичьи взглянула на Нину, и сладенько отхлебнула чаю из пиалы.

Смех брызнул из ее глаз. Но это было лишь на мгновение, потом взгляд ее опять обездонел.

— Но не думайте, што я по-вашему тогда жила... А то вы, небось, по-человечьи меня понимаете.

И глаз ее мудро заулыбался. Мудрость эта была спокойная, очень странная и какая-то смиренно-черепашечья, точно старуха копалась в невидимых трупах, раскинутых вокруг нее в пространстве.

И вдруг она впала в ярость. Окаменевшие глаза ее заблестали, голос, раздававшийся из глыбы затвердевшего от старости тела, стал живым, даже чуть-чуть пороссячим. Но в глазах зияла бешенная энергия и воля:

— Да, да я умру! — кричала она. — Но я оттудава буду управлять этим. Оттудава!.. Оттудава!.. Все обниму, всем насыщусь. И вы меня не достанете. И времени вашего поганого для меня не будет! Я — буду царить! Я!

Ее толстая рука протянулась в воздухе и кулачок сжался, точно хватая сам себя.

Ниночка чуть-чуть обомлела, и внутренне ей стало всех жалко, и старуху тоже.

Но Саша оставался спокойно-отрешенным и помешивал ложечкой чай в стакане.

— Будете, Марфа Петровна, будете, — успокаивал он ее, кивая головой. — Практика у вас есть. Будете. Почему бы вам и не быть...

— А вы, Александр, не перечьте, — обмякла слегка старуха. — Не ваше это дело, и ладно. Каждому свое.

И чаепитие пошло смиренно. Старуха забылась и ушла в себя, не обращая на гостей особого внимания. Слова ее стали застывшие-отвлеченными, и воля была где-то не здесь.

Напившись, церемонно простились с хозяйкой, и оказались на улице. Нина жалась к Саше, но расспрашивать почему-то постеснялась. Глаза старухи преследовали ее.

Но вскоре они очутились совсем в другом месте, и новое острое впечатление: необычный дом, квартира, а в ней красавица, чем-то похожая на Элен — ту самую, из прошлого, из путешествия к «королю».

— Да, это определенно Элен, — подумала Нина, здороваясь.

Зеленые глаза незнакомки смотрели хищно и глубоко, но отчужденно, будто это была Элен и в то же время уже не Элен.

Их поили ласковым дорогим ликером, и Нине казалось, что незнакомка судорожно хочет остановить для себя время (и некоторые таинственные книги вокруг нее как будто указывали на это); белая, нежная длинная рука ее, вцепившись в ручку кресла, непонятным образом подтверждала эту мысль... Взгляд незнакомки иногда становился яростно-неподвижным, а потом замирающим, и из глубины этого замирания мерцали тогда бешенные, темные, упорные огоньки.

— Может быть, они означают ее страстное желание жить... жить здесь! — мельком подумала Нина, приглядываясь...

Но незнакомка вдруг улыбнулась, и от этой улыбки Нине захотелось встать.

И потом — закружилось, закружилось и полетело! Они покинули зеленоглазую незнакомку, и сидели вдвоем во тьме такси, и Нина с бесконечным доверием прижалась к Саше, и опустила голову ему на плечо. И они мчались так — в ночь, в пустыню мрака, где горели все те же потаенные огни.

И так они оказались на кладбище.

Пришлось проскользнуть в дыру в заборе. И они очутились у свежей могилы. Зажгли карманный фонарик.

— Кто это? — спросила Нина.

— Юлий, здоровяк, — ответил Саша. — Мой школьный товарищ. Еще недавно пили с ним в Парке Горького с Ларионом Смолиным и Олегом. Просто хотелось бы поклониться праху. У него особые счеты с жизнью и смертью. Потому и ушел. И за него не надо молиться.

Нине показалось, что могила была как живая; во всяком случае такое было у

нее впечатление, когда она вглядывалась поглубже... (Вообще могилы для нее разделялись на «живые» и «мертвые»). Да, да она видела этого человека как-то раз: танцующего и розового. И в могиле этой — внутри нее — он почудился ей таким же: розовым и если не танцующим, то умудренным.

— Какой-то он сейчас сознающий свою миссию, — заключила она.

— И оставим его теперь при своей миссии, — закончил Саша, и они так же внезапно исчезли.

А через полчаса они были в комнате, где происходили своеобразные и запоздалые поминки по Юлию. Было три седых старика, и друг покойного Степан — с угольным лицом и в тельняшке. Последний все время плакал, чуть не размазывая слезы по своему костылю.

— Сразу после встречи в парке... Взял да и помер, — разводил он руками.

И самое удивительное — из маленькой смежной комнаты вышла вдруг девушка, редкой одухотворенной красоты, с золотым православным крестиком на груди. Она всех — и живых и мертвых — помянула добрым словом.

...Запоздалое путешествие кончилось кружением по Москве, опять в такси, по Воробьевым горам и внизу, в ночи горели бесконечные, тревожно-теплые огни. Машина неслась, шурша, и Нина чувствовала, что Саша немного устал от этого прощания со своим отдаленным и полузабытым прошлым.

Она опять прижалась к нему, и он обнял ее за плечи — и от этого прикосновения, такого естественного, ей стало страшно и необычно — ведь рядом был Саша. И они мчались так, и она вспомнила все свои загадочные встречи с ним, и в душе ее, несмотря на слабость, было ощущение, как перед прыжком в бездну.

Только одну остановку они сделали перед тем, как вернуться домой, к Саше. Это было проездом, они оказались у окна — то был серый, небольшой дом, первый низкий этаж. Саша постучал, там за окном кто-то, видимо, долго шевелился, урчал, наконец, просунулась темная большая рука со свертком — и Саша принял его. Нине показалось, что там за окном ворочалось то самое существо, — из давнего путешествия к «королю» — которое называли Николаем. Протянутая рука ее не испугала, но скорее озадачила.

— Как твой тайный человек, Сашенька? — шептала она ему потом. — Я знаю, я слышала... Зачем он здесь на земле? Если он всемогущ, и может жить, где хочет, то что ему делать тут, в этом темном подвале, зачем он воплотился среди людей?

— «Они» приходят порой, чтобы помочь человеческому роду, но уже все безнадежно на этой земле с людьми, все кончено, приговор подписан...

— Ну, не торопись уж так, с приговором... И не обязательно сюда приходить для спасения; помимо них тут есть еще кое-что, скрытое, — усмехнулся Саша. — Не все вертится вокруг спасения или отпада этих существ...

И вот они очутились дома, в комнате Саши. Он зажег — по обычаю — свечи, и «чудища» на картинах по стенам заулыбались, ощерились, точно желая воплотиться — из картины в земную жизнь.

Московские звезды смотрели на них сквозь высокие окна.

— Сашенька... — сказала Нина еле слышно.

И первая их ночь любви — была для нее ласково-сказочной, неожиданной, удивительной, и странной. Она вставала с постели, подходила к окну, смотрела на звезды и ей думалось: она ли это? Ведь рядом Саша. И что значило его быстрое и полное принятие ее, и его лицо, мгновенно озаренное любовью?

Но слияние было настолько цельным, что все загадки-разгадки скоро утасили в ее уме, и она уснула.

...Проснулась она поздно утром от одной острейшей мысли, которая начала будить ее вместе с появлением на далеком небе солнца. Она присела на кровать и посмотрела на спящего Сашу.

Теперь, придя в себя, Нина быстро распознала эту мысль. Она родилась из пугающего противоречия между как будто полным и бездонным слиянием ее с Сашей и, вопреки всему, его абсолютной непроницаемостью. «Кто он?» — таков был вопрос. И обнаруженный разрыв совсем ошеломил ее. В этом слиянии со стороны Саши не было ничего «обманного», неестественного, она чувствовала

это, и в то же время он был недоступен, он был где-то «там», куда другим путь был закрыт.

Она ясно ощутила это.

И в ней возникло яростное желание во что бы то ни стало проникнуть в его сферу, войти внутрь его мира. Внезапно она замерла. В какой мир? Прежде чем войти, надо знать «куда» и «во что» — все упиралось в то, что она не знает — и никто, возможно, не знает, кто он, какова его «сфера».

Кто он? В самом последнем и в самом глубинном смысле, конечно. Ведь кое о чем она догадывалась. Но она чувствовала, что в нем есть какой-то последний уровень — и он-то абсолютно непроницаем.

Кто он?

Саша проснулся. Она чуть ли не задала ему сразу этот дикий вопрос. Он почти сорвался с ее губ. Саша, видимо, понял, что ее волнует, и на ее загадку ответил, иронически показывая на себя, на свое физическое присутствие: вот кто я. Нина рассмеялась и поцеловала его в губы.

И понеслись необычайные часы и денечки. Это было как погружение то в холод, то в жар. Нина чувствовала полную радость слияния, какая только может быть на этой земле, но в то же время Сашина «непроницаемость» и «неразгаданность» терзали ее, и ей приходилось выносить полноту и лишенность одновременно. Она и познавала его, и в то же время он оставался непознанным; никогда раньше она не испытывала столько противоположных чувств — и да, и нет, все вместе.

А между тем Саша вовсе не был замкнут с ней в обычном понимании этого слова, он явно не противился возможному духовному сближению, но это еще больше подчеркивало его высшую «недоступность». Нина попыталась, однако, взять себя в руки — в конце концов, если он где-то «там», надо почтить это молчанием.

Но было нечто, помимо даже ее желания единства, что влекло ее дальше и дальше — туда, где Саша, может быть, был совсем один. Она не могла противиться стремлению знать о нем, идти к нему...

Однажды, они сидели у Саши в комнате, за столом, у окошечка, выходящего в московский дворик.

— Сашенька, а то, с чем ты связан, когда мы ездили к «королю», помнишь, уже навсегда пройденный этап? — спросила она его, утонув в кресле, так что оттуда светилась только одна ее улыбка.

— О, да, конечно. Все это позади, — быстро ответил Саша, поглядывая в окно. — Это был первый этап, оккультизм, вход в потусторонние миры. Как ни странно, он начался у меня почти в детстве, и это, надо сказать, довольно приятно, у меня тогда уже открылись возможности кое-каких контактов с тем, что обычно невидимо физическим глазом. Ничего особенного, — усмехнулся он, взглянув на ее взволнованное лицо. — Просто такие способности, бывает же дар в науке, в ремесле... Правда, сейчас это случается редко. Потом, уже в юности, у меня был учитель. Без этого нельзя. Он был настоящий, потаенный, глубинный практик, кое-что шло даже от древних русских устных традиций... Залег он на дне, скрытно, почти никто его не знал, но ко мне он выплыл, голубчик...

— Значит, практика. И тебе не было страшно?

Саша улыбнулся:

— Первое, о чем нужно позабыть в таких операциях — о страхе. Иначе будут очень и очень тяжелые последствия... К счастью, мне очень помогли и некоторые теоретические знания, об этом я не забывал никогда, несмотря на всю свою практику.

— Да, да, конечно, — прошептала Нина. — Я вспоминаю ваши разговоры. Страх здесь как ловушка, как капкан...

— Да, ну и кроме страха, нужно было еще кое с чем расстаться. Например, как это ни кажется забавным, с эгоизмом, с желаниями, и тому подобные вещи, которые так полезны, чтобы выжить здесь, но там действуют как бумеранг, — рассмеялся он. — Там они как раз, наоборот, губительны, и именно в смысле выживания... Самая лучшая позиция: бесстрастного наблюдателя.

— Что же тебе удалось? Поди натворил там Бог знает что, — произнесла Нина.

— О, я «творил» весьма осторожно. Не знаю уж, что тебе рассказать. Тебя, наверное, все еще интересует смерть?

— Увы, все еще, Сашенька...

— Ну так и быть, слушай. Ты, конечно, знаешь из древневосточных источников, что между Божественным миром и миром нашим, физическим, лежат бесчисленные промежуточные, так сказать, полуматериальные, невидимые для нас, миры, если угодно, потусторонние. Каждый из них, со своими законами и своей субстанцией, не менее, а скорее более грандиозен, чем наша физическая Вселенная, но нас все это непосредственно касается. То, о чем я буду говорить сейчас — это до известной степени даже «продолжение» нашего физического мира на разных невидимых планах, то есть я буду говорить о наиболее доступных регионах астрального мира. Все они имеют свои собственные законы — и совершенно иные, чем здесь. Естественно, они заселены существами, силами, образованиями самого разного рода, о некоторых из них много говорилось более или менее аллегорически в разных легендах и мифах, когда двери в некоторые регионы были не так плотно закрыты, как сейчас. Чаще всего, все эти существа и образования анти-божественного характера, в принципе они ниже человека, потому что лишены подобия Божия. Но практически высшие из них обладают невероятной мощью, энергией, властью, знаниями... Одна из этих стихий — сила воли. Их «взгляд», то есть их волевое воздействие — о, не стоит об этом даже говорить...

— Брр! — проговорила Нина. — Я видела один раз слабое подобие такого взгляда во сне. Ведь сон близок по некоторым своим качествам... и в него иногда как-то вклиниваются...

— А теперь о другом. Я прошел через инициатическую смерть, или особую имитацию буквальной смерти. У меня был учитель. И если точно следовать определенным законам и тайным знаниям — ничего страшного не произойдет. И ты вернешься. Кстати, надо было научиться не испытывать никакого страха при ситуации почти абсолютного ужаса, который возникает не только из-за погружения в «неизвестное», но и в силу действия некоторых скрытых и почти неконтролируемых психических механизмов внутри человека. Я повторяю, никакого. Малейшее колебание, малейшая эмоция, не говоря уже о страхе — может привести к фатальным последствиям. Ведь этот мир как бы движим психической энергией, и она действует совсем иначе, чем здесь. Должна быть полная отрешенность среди ада...

Нина замерла. И вдруг что-то случилось в этой комнате, а может быть в ее душе. Она тревожно взглянула на Сашу и ужаснулась; ей показалось (нет, нет, это было явно!), что он как-то весь изменился, точнее она стала видеть его не вполне телесно. От его фигуры исходила черная, внутри себя бездонная тень, преисполненная чудовищным смыслом. Он был весь как-то окутан ею. Она не могла точно определить, что происходит и попыталась прийти в себя: ничего страшного, дело в ней самой, в ее сознании, она слишком чувствительна. И в ту же минуту Нина опять услышала голос Саши, раздающийся из черной глубины. Ее поразило, что направление его мыслей осталось прежним.

— Перед смертью, или между жизнью и смертью, — продолжал голос, — бывают особые моменты и подаются некоторые знаки... Для посвященных эти знаки и явления — ключ к спасению, и они знают, что делать. Но в обычных случаях после эйфории наступает роковое падение. И вот когда все оборвано, тогда картина резко меняется. Одна из сфер смерти — самая близкая к материальному миру, и пожалуй, самая мрачная и жуткая. Она полна различного рода формациями (или существами, если хочешь) чисто вампирического порядка. Так вот они попросту, переводя всю ситуацию на грубый язык, начинают «жрать» (не нашим способом, конечно). Во мраке. Они питаются определенными человеческими оболочками, то есть едят живьем отошедшего в иной мир полуматериального уже человека. Конечно, высшее: сознание, ментальный план, и

более тонкие оболочки они не могут затронуть — они жрут только то, что принадлежит их сфере...

Смысл этих слов настолько поразил Нину, что она как будто бы снова вернулась в состояние нормального восприятия.

— Боже мой!... Боже мой! — вскричала она. — Я чувствую, что так и должно быть. Сжирают же здесь черви труп. А там тем более должны набрасываться! Но в трупе нет нашего «Я»! Оно — там, и его оболочки начинают пожирать. Живьем. Но неужели от этого нет спасения?

— Избежать полностью трудно — для подавляющего большинства людей. Даже для самых духовных из них, я, конечно, не имею в виду редких настоящих йогов и тому подобное, включая, естественно, тех, кто нормально проходит через инициатическую смерть. Я не говорю об исключениях. Но в этом еще нет причины для трагедии, — усмехнулся Саша. — Есть вещи посерьезней. В конце концов, здесь мы сами пожираем тела; почему же этого не должны совершать потусторонние вампиры, раз они этим живут?! Какие тут могут быть претензии?

— Но неужели ничего нельзя сделать!

— Конечно, можно. Я сказал: полностью избежать трудно. Но и в обычных случаях можно смягчить, и весьма сильно: настоящая молитва, православная церковь, при условии полной сохранности ее традиции, и даже люди; энергия их любви, особенно если знать как ее направить. И все это именно то, чего сейчас, мягко говоря, недостает миру.

— Ужасно!

— Неприятно. Но компенсация, одним словом, есть, тем более речь-то идет лишь об одном нюансе послесмертного бытия. Дальше душа уходит, последовательно, ступенька за ступенькой, — в другие регионы, точнее в разные состояния, и там иные проблемы. Все это очень уютно и спокойно называется в нашем Православии «мытарствами души». Неплохое название, хотя и без всякой конкретизации.

— Ничего себе!

К Нине опять возвратилось ее странное состояние. Да, да видимый Саша только малая часть того, чудовищного, необъятного, невидимого Саши, проекция которого мелькнула вдруг перед ее глазами. Но что-то в ней самой происходит, она как бы выходит из себя, и ее мысли становятся... чем-то другим.

— У страха глаза велики. Должна быть абсолютная отрешенность, бесстрастность и незаинтересованность в потусторонней феноменологии. И если возможно, умение управлять своей гибелью. Но это легко сказать. И кроме того: необходимо отсутствие как раз тех качеств, которые старательно развивает в человеке так называемая современная цивилизация. ...Короче, всего не перечесать. Чтобы описать все варианты — а они разные для каждого, но хотя бы наиболее общие — потребовались бы дни и ночи.

Состояние унесенности мучило Нину: да, да она выходит из себя, конец ее милому, родному, привычному бытию... Все рухнет... Еще немного и она не выдержит этого наплыва, сойдет с ума или с ней произойдет что-то еще похуже. Надо взять себя в руки, вернуть эту жизнь. Отчаянным усилием воли (а может быть по другой причине) она как будто возвратилась. С трудом встала и подошла к Саше. Увидев его в лицо (в физическое лицо) она удивилась этой нелепой полумаске, которую приходилось нести. «Но ведь и этот мир полон такого тайного значения, сам Саша говорил об этом», — подумала она совершенно опустошенно. И вдруг бросившись как в воду, прижалась к нему щекой.

— Так вот, где ты бывал. Слышишь меня... Знаю, знаю жалость к себе, обернется только худшим. Но так хочется пожалеть себя.

Саша еле заметно улыбнулся.

— Есть же высшая жалость, — прошептала она.

— Для Господа-Бога это всего лишь Игра, — произнес Саша. — Вот у Кого тебе надо малость подучиться. Но смотри: не ошибись!

Нина отпрянула, отошла. Почти нормальное состояние вновь овладело ею. Только тень виденного плыла в сознании. Но что, что стоит за Сашей?! И поче-

му он так странно воплощен? Она о чем-то спросила его — кажется, о метафизической беспомощности современного человека. «Скажи, скажи...»

— Он беспомощен не только в духе, но во всем, что выходит за пределы узко-материального мира, а как раз иные, «промежуточные» сферы самые решающие в плане Вселенной и жизнью в ней. Но человек вообще отнюдь не бессилен, — был ответ. — Если бы современный человек знал кое-какие ключи... к тем сокровищам, которые скрыты в нем самом. Ого! Это было бы такое могущество, как раз в тех иных, важных и решающих сферах, что это удача — для него самого — необладание ими. Слава Богу, благодаря некоторым процессам эти двери захлопнулись для него. Лучше уж пребывать ему в ничтожестве, но, конечно, не в такой степени, как сейчас. А то эти ребята натворили бы со своим «всемогуществом» такого, что это закончилось бы еще большей катастрофой, чем может кончиться их пресловутое «всемогущество» в природной жизни.

— Но ведь по сути человек — богоподобен, — к Нине уже полностью вернулось самообладание.

— Да, и это заложено в принципах его архетипа. Вот, например, один: воздействие на нас других сил, включая богов, то есть тех, кто принадлежит уже к высшим регионам, относительно близким к Абсолюту, целиком зависит от нашего сознания. Следовательно, мы можем контролировать и форму, и силу этого воздействия, и его направленность, и даже отрицать ее. Поэтому в сущности мы можем «управлять» ими, а не они — нами. Это своего рода божественный солипсизм в нас... В общем, при определенном уровне в этих промежуточных мирах можно стать на очень долгое, космологически долгое время, хозяином положения. К тому же, свобода: и от ига материи, и от комически краткой, земной жизни, да там совсем иные категории, и другие ставки, о которых люди не могут иметь никакого представления...

Саша вдруг встал.

— И вот именно поэтому, Нинок, я покончил с этим раз и навсегда. Я порвал почти все нити. Ибо могущество может быть гораздо опаснее слабости...

— Ты не соблазнился! — вскричала она. — Ты не соблазнился!

Саша засмеялся.

— Нет, не соблазнился. Предпочел остаться в дураках. Я просто слишком много знал. А потом было вот что: начался второй этап, чистого духа и метафизики, не оккультизма. Поиск Бога и Абсолюта. Промежуточные миры и вселенные уже не интересовали меня.

— Что ж, довольно ортодоксально

— Древние не ошибаются. Где-то я вздохнул: в чем-то Абсолют доступнее, чем океан его мистификаций. Тогда мы как раз сошлись с Кирюхой Лесневым, союзом русских мудрецов... брамины... Индия, первоисточник. Путь такой: знания, медитация, созерцание, Бого-реализация. Иначе, отождествление себя со своим высшим Я, с внутренней божественной реальностью, и отказ от всего остального, отказ от Эго во имя высшего Я, во имя self. От разума во имя суперразума. Во имя реального, а не промежуточного бессмертия, во имя вечности по ту сторону тотального уничтожения всех миров. Ведь что такое бессмертие? Ясно, что это не просто бесконечная, по сравнению с человеческой, жизнь, какой бывает, например, дьявол. Это — Абсолютная вечность, даже когда нет миров и дьявола. Когда Боги спят. Воссоединиться с божественным Ничто как с высшим состоянием и это не исчезновение — исчезновение касается только обреченного в нас.

— Если только проникнуть...

— Иногда, — продолжал Саша, — говорят: потеря индивидуального Я при этом «соединении» с Абсолютом, вот где опасность. Это как раз смешно: индивидуальное, божественное содержит в себе зародыш меньшего; индивидуальное Я — только ограничение на пути к бесконечному Я. Ведь Бог не меньше своего творения. Если уж такие колебания, то подумала бы о том, что всегда можно спуститься: сверху вниз легче, чем наоборот.

Нина зачарованно посмотрела на него: почему он вдруг об этом говорит.

Саша остановился посреди комнаты, скрестив руки, и как-то пристально, и в то же время с какой-то бесконечно далекой иронией взглянул на нее:

— Все-таки путь «саморазрушения», отказа от всего, что не Бог внутри тебя, — он подмигнул Нине. — И потом еще говорят: растворение в Свете... А вот здесь есть некоторые, так сказать, парадоксы.

Он вздохнул и посмотрел на свой ботинок.

— Вообще, это был мой самый корректный и спокойный период.

— Как «был»? — вскричала Нина. — Разе ты и от этого ушел?! Это же финал, венец: реализация Абсолюта, Бога в самом себе, в Его последней...

— Действительно, что же может быть вне этого? Вне Бога? Вне реальности?

Саша безучастно и загадочно посмотрел на нее.

И вот тут Нину охватил странный ужас, объяснить который она была не в состоянии. Он просто вошел в нее, как предчувствие какой-то невысказанной анти-реальности, внебожественной и внечеловеческой бездны; это был как будто бы в высшей степени абстрактный и метафизический ужас, однако ее пронзила физическая дрожь. Она мгновенно поняла, что Саша действительно «ушел»; в конце концов он не мог бы вызвать у нее такое жуткое ощущение чего-то невысказанно далекого, если бы он следовал только по пути к Абсолюту; ведь то был — ортодоксальный, древний, «известный» «эзотерический» путь; конечно, Саша осуществлял его практически, и здесь могло быть нечто внеземным дыханием; но не до такой же степени... и не такого качества. Она видела людей, идущих по этому пути Богореализации. Нет, нет, они — другие, чем Саша. В нем есть нечто совершенно закрытое для людей. Вот откуда эта чудовищная, «полная непроницаемость», ее не могло быть, такого рода, если бы он шел проверенным индуистским путем, путем знаний и медитаций...

Вместе с тем мысль о Дьяволе, о Люцифере не возникала в ней: Саша слишком не вязался с этим. «Школьник, не понявший уроков Бога», — вспомнила она презрительные слова Саши о падшем духе, который, хотя и будучи таким «школьником», держал в своих крепких объятиях все царство мира сего.

«Нет, уж лучше он был бы от дьявола, это проще», — подумала она, — и ужас не оставлял ее.

Она взглянула на Сашу: он смотрел в окно.

Вдруг он обернулся и резко подошел к ней.

— А ты у меня чувствительная девочка, — сказал он, привлекая ее к себе. — Ничего. Держись.

— Саша, Саша, кто ты?

Прошли дни. Тем временем, после всех своих «приключений» с друзьями, Олег погрузился в ожидание решающей встречи с Сашей. Всех нужных людей Саша уже видел — теперь должен быть результат, а потом, может быть, сразу: прыжок в бездну, и встреча с этим Человеком Востока. К его томлению присоединился и Боря Берков, и даже вновь появившийся грустный и влюбленный Леха Закаулов.

И в один прекрасный день Саша позвонил Олегу. Своим тихим спокойным голосом он сказал, что пришла пора, и надо бы собраться им всем вместе — у него, за Павелецким вокзалом.

...Не без непривычного, странного волнения подходили они втроем — Олег, Берков и Закаулов — к обшарпанному двухэтажному домику, где жил Саша в глубине своего стародавнего московского дворика.

— Ох, Шехерезада, сплошная Шехерезада, черт побери, — бормотал Закаулов.

Олег и Боря были в чем-то немножечко вне себя — каждый по своему. Саша встретил их как-то смущенно и чуть-чуть грустно. Но непонятно было «почему».

— Проходите, господа-товарищи, — простенько сказал он.

Чтобы добраться до комнаты Саши, надо было пройти через темный коридор. Наконец, дверь в комнату распахнулась и все трое были крайне удивлены присутствием там Нины Сафроновой. Она таинственно сидела у окна, за столом, покрытым простой клеенкой, и, улыбаясь, поглядывала на друзей.

— Не смущайтесь, Олеженька, в жизни еще не то бывает, — рассмеявшись, она привстала для приветствия.

— Она прошла Ваше испытание, Саша? — поинтересовался Берков.

— И да, и нет, — усмехнулся тот. — Мы выносим ее, как говорится, за скобку. Она в особой ситуации, она — теперь со мной...

— Я всегда любила, чтобы меня выносили за скобки! — вставила Нина, пожимая руку Олегу. — И тем более обожала находиться в особом положении.

— Вот как, — с почтением проговорил Олег. — Ну и ну, — он даже чуть-чуть отшатнулся, словно на Нину уже падала непостижимая тень Саши и Человека Востока. Она, правда, и сама по себе была хороша, без Саши, но теперь все трое почувствовали к ней какое-то ошеломление. Как будто стать Сашиной любовницей — значило быть в чем-то сверхъестественной.

Нина устроила необычный чай — без вина, с обилием пирожных.

— Подсластиться, подсластиться ребятам надо, — бормотала она, расставляя чашки и блюда.

Стол был расположен у стены, между двумя окнами, глядящими на дворик; в центре стола пыхтел маленький самовар.

Быстро перекинулись мнениями о последних новостях «подпольного мира», выпили по чашечке, и вдруг Саша прервал уже начавшееся было умиротворение...

Он резко сказал.

— Итак, первый этап пройден. Я не выбрал никого. Вы будете одни.

Ответом было молчание — глубокое и неожиданное. Наконец, его прервал Берков.

— И все же, Саша — почему?

Саша удивленно посмотрел на него.

— Это выяснится для вас только потом, если это «потом» наступит.

— Кто же был в кандидатах? — проговорил громко Закаулов и сам себе ответил: — Виктор Пахомов, Ларион Смолин, целое общество у Омаровых с Муромцевым во главе...

— Я могу, если угодно, выразиться негативным образом, — продолжал безучастно Саша. — Мой отбор не основывался, например, на степени, так сказать, гениальности этих людей, — он усмехнулся. — Это слишком маленькая мерка для нашего пути, и вообще немножечко не то. Дело не в их уме, талантах, гениальности, и не в их творческой сущности вообще. И даже не в предполагаемой способности к обычному посвящению. Принцип отбора пришел из совершенно далекой от всего этого сферы. Так что уж лучше почтим этот принцип молчанием.

Как ни странно, в ответ действительно воцарилось молчание, правда, несколько растерянное...

— Заодно помянем добрым словом внутри себя эти счастливые души, которые избежали Сашиного крыла, — надменно-истерически проговорила Нина, взглянув на Трелетова.

— Да, но мне почему-то показалось, что вы Муромцева-то выделили, — пробормотал Олег, позвякивая ложечкой о блюде.

— Кстати, это так, — подтвердил Саша. — Я слышал о нем давно. Но Вале надо созреть. Для больших дел. В будущем, вероятно, он пустит мощную метафизическую головку.

— А остальные? Неужели Ларион Смолин нехорош? — вставил Закаулов.

— Хорош, хорош, — успокоил его Саша. — Но он чересчур замкнут в своем психологическом круге. Ему не выйти из него. Он не готов пока даже к обычному посвящению. Озарения, конечно, могут быть и у него. Но дело вовсе не в этом.

— Давайте оставим эту дискуссию, — прервал Олег. — Мы остались одни. Тем более нас троих выбрали просто так, без всякого принципа. Так что все равно нам его не разгадать. Но что нас ждет дальше, дорогой Саша? Увидим ли мы сразу вашего Человека Востока?

— Вот это уже другой разговор, — оживился Саша. — Начнем с того, что я

открою вам его настоящее имя, точнее то, с чем он связан. Он был для вас, кажется, великим алхимиком, магом, исцелителем...

— И, наконец, Человеком Востока.

— Да. И все эти имена, кроме, до некоторой степени, последнего, которое я вам сам и назвал не имеют к нему никакого отношения. Такова уж судьба молвы. В действительности человек этот связан с «последней тайной». Вы можете понимать это в меру собственной интуиции. Как угодно: последняя тайна Бога или Абсолюта; нечто, нигде не раскрытое, ни в каком Священном писании, ни в каком эзотерическом учении; можно понимать по-другому. Как угодно. Я произнес только имя: это человек «последней тайны», следовательно, не раскрытой и именно «последней», как бы окончательной, разгадка всего... Это все, что пока я могу сказать.

— Ого! — воскликнул Берков.

— Вот этого я не ожидал! — вдруг заключил Олег. — Не думаете ли вы, что это уже слишком, Саша?!

— Что значит это ваше «слишком», Олег? — спросил Саша. — Вы ожидали эликсир бессмертия, или что-нибудь в этом роде? Но эти эликсиры — из другой, более скромной оперы, хотя и затерявшейся.

— И нет, и да! — резко ответил Олег, расхаживая по комнате. Со стены на него глядели чудовища. — Да, да, я хочу бесконечно жить, потому что чувствую, что мне не хватает времени, чтобы прийти... потому что окружен мраком и не знаю, что будет и куда я иду. Саша, зачем вы издеваетесь над нами?

Он остановился посреди комнаты.

— Да, да, это насмешка, издевка, — горячо продолжал Олег. — Хорошо, — вдруг смягчился он. — Допустим, что этот, так сказать, человек действительно связан с «последней тайной» в полном смысле этого слова. Но при чем тогда мы, люди? Мы же не заметим этого, это не доступно человеческому разуму, это разорвет, уничтожит нас, в лучшем случае... Или будет звучать для нас как страница из «Братьев Карамазовых» прозвучала бы для крысы...

— Ого! Этого я уже не ожидал, — добродушно улыбнулся Саша. — Ясно, что это не для человеческого разума. Кто же говорит о таких пустяках. Но разве человек — только человек? Кроме того, есть намек: да, человек ничтожен, и не очень высокой иерархии, но в него брошена капля... Это другое. Иначе: человек может быть трансцендентен самому себе и даже трансцендентен по отношению к Абсолюту, как это ни парадоксально звучит. Такова уж особенность этих жалких тварей, хотя она почти никогда в них не раскрывается... Такую «каплю» часто «бросают» именно в ничтожное, лишненное существо, но с некоторыми скрытыми данными, конечно.

Олег замер, чуть-чуть ошеломленный. Опять возникло какое-то жутковатое молчание.

— Тогда, Саша, извините. Но вы слишком высокого о нас, людях, мнения, — пробормотал он.

— Господа товарищи! Еще чайку? — озаботился Саша. — Отбросим метафизику. Вопрос очень прост: я ничего никому не навязываю. Как хотите, у вас есть свободная воля. Даже после первого звонка еще можно думать. Думайте. Сейчас же дело вот в чем: второй этап. Собственно, мы уже его проходим. Ничего страшного пока не будет — в этом я ручаюсь. Еще очень далеко до того, когда занавес поднимется и пути назад будут закрыты — но вы получите предупреждение задолго до этого. А сейчас вам нечего терять. Еще даже первый звонок не звенел. Идет только предварительный отбор. И неизвестно, возьмут ли вас для дальнейшего. Итак, согласны ли вы продолжать?

— Почему же нет? — сумрачно ответил Берков.

— А вы, Олег?

— Да.

— Вы, Леша?

— Да.

— Хорошо, побеседуем лучше о чем-нибудь другом. Для отдыха. Нинок, подлей-ка кипятку из самовара! — воскликнул Саша, хлопнув в ладоши.

Нинок, в некотором трансе, начала разливать чай. Она помнила, что пар придает комнате уют.

Разговор вдруг развернулся в какую-то странную фантазмагорию. Говорил больше Саша. Иногда в его голосе был мрак. Разговор метался от одного символа к другому, от одного огня к третьему. Все были вовлечены.

Но у Олега внезапно заболело сердце новой неизвестной ему доселе тоской. Он шепнул об этом Саше.

— Это нормально, — ответил тот.

Пробили часы. Берков посмотрел на Нину: она показалась ему утонченно, как-то выделенно красивой. Точно она порвала связь со всем.

— Итак, второй этап? — спросил, наконец, Борис.

Все вдруг затихло, и только слышно было, как ветер кружил за окном.

— Да, — согласился Саша.

— Мы увидим вашего человека?

— Пока нет. Надо пройти второй этап. Тогда я скажу. Не торопитесь. Дело не в нем, а в вас.

— Я так и чувствовал последнее время, что нам его не видать, — печально сознался Олег...

— В чем же этот второй этап?

— Мы завершим его очень просто, — ответил Саша. — Даже немного постуденчески. Правда, с древним подтекстом. Вот вам слова: «Я, обретший бессмертие, уйду в ночь». Напишите мне все, что вы думаете об этом, не сейчас, а потом, и бросьте свои листки в почтовый ящик. По моему адресу. Вот и все.

— Я, обретший бессмертие, уйду в ночь, — повторил Берков.

— Бр, какие страшные слова...

— Что ж, эдакий экзамен получается, — заключил Леша.

— С одной стороны. Но где-то и анти-экзамен, — произнес Саша. — Многое как раз не зависит от содержания вашего ответа. Не ломайте особенно голову. Не старайтесь во что бы то ни стало угадать, если так можно выразиться, что я имею в виду. Лучше всего — напишите предельно искренне, что вы сами думаете об этом, не обязательно вовлекать книжные знания... Но в общем — полная свобода. Наша беседа и эти ответы — вот и весь второй этап отбора.

— Какие страшные слова... — опять повторил Берков.

— Да, и эта беседа не так уж удачна, я чувствую, — вставил Олег.

— Ничего, ничего, — отмахнулся Саша. — Беседа, ваши ответы... Но где-то все будет зависеть от того, что не содержится ни в беседе, ни в ответе. Здесь есть поле, которое вне... Оно и будет решать.

— Ваша «последняя тайна» может раздавить умы. Это уже слишком.

— Она не может раздавить ум, ибо она вне сферы ума.

— Ну и любовничек же у тебя, Нинок, — не удержался Леха. — Впрочем, ка- жись, по тебе...

— Кого уж Бог послал, — усмехнулась Нина.

— Вперед, вперед! — всполошился вдруг Закаулов.

— Да, но что впереди? — пробормотал Берков. — И почему мы так торопимся? Так ведь легко пропасть, сгинуть.

— Саша, а ведь на вас ответственность. По большому счету.

— Значит, все-таки боитесь, — заметил Саша. — Это нормально.

И он вздохнул. Может быть, первый раз в жизни Саша по-настоящему вздохнул. И этим вздохом закончился вечер: по какому-то неуловимому движению решено было разойтись.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вскоре по всей неконформистской Москве разнеслась радостная, хотя и, может быть, тревожная мысль: на одной частной квартире должна состояться однодневная выставка картин Глеба Луканова. Эту выставку давно подготавливали, откладывали, и покровители Глеба вели по поводу нее самые тончайшие пе-

реговоры. Собственно говоря, выставка получалась неофициальная. Но ходили слухи, что если все пройдет без скандала и картины не будут слишком религиозно-мистического характера, то, возможно, следующим шагом будет уже официальная выставка в одном из московских кафе, где уже проходили выставки подпольного авангардного искусства. Впрочем, другие утверждали, что эта выставка делается на свой страх и риск, и закулисные переговоры не успешны. Так или иначе, выставка нагрелась, как снег на голову, и весть о ней разнеслась неожиданно, за день до открытия. Квартиру предоставлял известный профессор физических наук — она была небольшая, двухкомнатная кооперативная, и купил он ее для своего сына, недавно женившегося. Была она почти пустая — молодые еще не успели въехать в нее. Но сами они были ценителями и поклонниками неофициального искусства, ничего и никого не боялись и были рады помочь, чем могли.

Известие это — волнующее и внезапное — настигло также и умирающего Максима Радина.

Он лежал на диване, и рядом на кресле, сидел, заложив ногу за ногу, худой и одинокий, как Дон Кихот, Виктор Пахомов — у него начался период отчужденного странничества по «гостям». Обычно он жил более замкнуто.

— А я, наверное, никогда не увижу своей выставки, — медленно говорил Максим.

Лицо его исхудало и было на редкость белым, уходящим...

— И не увижу России, в которой такие выставки будут в галереях, и не на частных квартирах под надзором милиции. Ничего этого я не увижу.

Виктор ничего не ответил, только посмотрел на него своими большими синими глазами.

— Да. Но я могу это представить. Сколько лиц, сколько прекрасных лиц! — прошептал Максим.

— Прекрасные лица есть и сейчас, — вдруг заметил Виктор. — Мы увидим другое... И все равно покоя не будет ни нам, ни им...

Почему он сказал «мы», Максим не понял: как будто Виктор собирался если не умереть, то просто куда-то уйти: далеко, далеко...

Внезапно лицо Виктора исказилось, и он с мучительно болью поглядел на Максима. Редко у него бывало такое выражение — надломленное и в то же время старческое. Но потом взгляд его опять изменился, и это был уже взгляд странника, приговоренного надолго брести среди кошмаров мира сего. Возможно, там, на черном горизонте, ему виделась желанная цель — его потерянное «я», в виде награды перед смертью, может быть. Но далекий фантом этого «я», наверное, уже не был теперь после многих лет бреда, таким желанным и искомым; возможно он еле виделся во тьме, искажался, сам превращаясь в подземное чудовище...

Виктор в чем-то ощущал Максима — умирающего Максима — как своего нежнейшего брата, хотя ему был недоступен его страх... И он молчал.

Максим закрыл глаза и опять прошептал:

— Неужели ничего, ничего нельзя со мной сделать... Я хочу, хочу это видеть. И Россию, и своих друзей, и свои картины, и себя...

...Зазвенел телефон. Максим словно очнулся, услышав голос Кати Корниловой. Она сказала, что сегодня вечером к Максиму хочет прийти гость. Он согласен его принять? Да. Значит, пусть ждет.

Катя имела в виду «мастера смерти», того самого человека, которого обещали прислать друзья Светланы Волгиной из православных церковных кругов.

Между тем сама Катя тоже была взволнована известием о выставке Глеба: по какой-то внутренний голос подсказал ей: не иди. И в уме она тоже решила: нет. Разрыв так разрыв. Когда-то около нее прошло целое море поклонников — и только один завлек ее сердце так, что ей до сих пор хотелось кричать как во сне, когда память о нем касалась ее сознания.

Кто встретится ей в будущем? — Она даже не пыталась представить себе того, с кем хотела бы сейчас по-настоящему соединить свою жизнь. Слишком она изменилась, насмотрелась всего: и вовне, и внутри себя. Пусть будет теперь

покой... Хватит с нее пока ее чудной и безобразной свиты — ее молчаливых вздыхателей, Толи Берестова, Игоря Самохина, Кости Нефедова... А сейчас надо им позвонить — Толя уже беспокоился, пойдет ли она.

И царица милостиво отпустила своих подданных...

На очень многих эта весть подействовала опьяняюще, зашевелились и ожились самые сонные, запрятанные по углам. Неконформистская Москва зашумела, отмечая одного из своих лучших сынов: пьяницу, бродягу и великого художника-сказочника. Опасались только того, что народу будет слишком много, начнется столпотворение, тогда появятся милиция, могут быть скандалы, и выставка будет сорвана. Поэтому и «весть» распространили всего за день до события, да и адрес давали с оглядкой. Валя Муромцев приготовился провести там целый день, чтобы заодно повидать и тех, с кем давно не виделся. Выставки были удобны в этом отношении: друзей, приятелей, просто людей по душе — у него было столько, что их не обойти было за короткое время, некоторых даже не видел месяцами. Он немного позавидовал Глебу Луканову: ситуация с неофициальными писателями и поэтами была гораздо хуже, чем с художниками. Правда, месяц назад какой-то институт организовал все-таки чтение поэтов-неконформистов, на котором шумно выступил Леонид Терехов.

Однако одна непредвиденная история чуть было не сорвала намерение Муромцева посетить выставку. Валя довольно близко знал нелюдимого и подпольного библиофила Андрея Крупаева — слышал о нем, конечно, все, и о его библиотеке ходили легенды. Муромцев сблизился с Крупаевым — насколько с ним вообще возможно было сблизиться — во время поиска одно редкой и даже почти неизвестной книги, которая носила специальный характер и касалась некоторых видов древней, русской народной магии. Эта книга «появлялась» у Крупаева, именно «появлялась» (он так и сказал), а не «была». Несмотря на это «появление», Муромцеву так и не удалось добыть ее, — и он только взглянул на нее один раз — несмотря на то, что Крупаев обещал. Но это «обещание» было таким же непонятным, как и его дружба, хотя при всей своей «нелюдимости» Крупаев плакал за водкой, жалуясь Муромцеву, что его «попортили».

Оказалось, что за эти дни разнеслась весть, что Крупаев расходится с женой: влюбился в собственную мачеху... в супругу любимого им отца — бывшего лагерника, живущего в Рязани. Муромцев вообще последнее время злился на не в меру парадоксальное поведение своего «друга»; но и его встревожил ночной звонок Андрея: «Приезжай, я уехал от Зины, живу один, приезжай завтра утром: вопрос жизни и смерти». Это «завтра утром» падало как раз на день открытия выставки. И Крупаев произнес это таким голосом, что Муромцев решил: поеду, если даже придется провести с ним весь день. Но примерно через час Крупаев позвонил опять и измученным голосом сказал, что приезжать пока не надо, хотя случилось нечто ужасное, и он дня через два опять позвонит ему и назначит встречу, и неожиданно добавил, что приготовит ему, наконец, эту книгу...

Не до выставки было и Леше Закаулову — здесь смешалось все: и реакция после вечера с Трепетовым, и любовь его к Светлане Волгиной. Из-за любви он бросил пить, проводя время в ином опьянении — встречались они редко, и Леша все более уходил в незнакомые ему ранее сферы неразделенной и загадочной любви. Ее образ настолько воплотил в себя всю красоту и нежность жизни, что все остальное поблекло и отгорело в его глазах. И даже больше: вводил этот образ его куда-то далеко, далеко, в бесценные и не от мира сего состояния, которым не было конца. И знал он, что без Светланы ничего подобного у него бы не возникло. Вспоминал Алеша и тот день, с которого все началось: как будто уже отдаленное, пламенеющее в памяти, похмельное утро, когда он вместе с Олегом и Валентином Муромцевым, решил «отключиться» от тяжести мира сего и встретиться со Светланой, чтоб залить свою душу вином в присутствии ее глаз.

И теперь уж он знал: от этого ему никуда не деться.

...Но выставка все же состоялась и без Лехи Закаулова. Рано утром пустынная квартира молодоженов принимала первых гостей. По стенам золотом восходящего солнца, синевой моря, радугой, закатом осени горели небольшие картинки. С первого же взгляда они заманивали, вовлекали в себя. От них было

трудно оторваться, через зрение они входили внутрь... Сам художник, Глебушка Луканов, расхаживал по паркету трезвый и праздничный. Только в маленьких глазках его сверкали напряженные и глубинные искры. Рядом с ним прохаживался хозяин квартиры, сын профессора. Звонки раздавались все чаще и чаще, и квартира наполнялась людьми... Вот появилась чета Омаровых, Демины, за ними Гена Семенов и Вика, мелькнул Олег, потом и другие: много незнакомых для Глеба лиц. Никаких инцидентов не происходило, не было видно и милиции. А к стандартному пятиэтажному дому все подходили и подходили люди.

На выставке около картин собирались группы зрителей, и молчали... Споры возникали в основном в коридоре, на кухне — и там уже было много накурено и призрачный дым от папирос вился до потолка. Выделялась высокая фигура Сергея Потанина — с лохматой седой головой.

А у картин долго стояли те, зачарованные, точно свет от живописи вошел в их души.

Днем появились работники комсомола, из горкома.

— Смотри, Любка, им тоже нравится, — пробормотала Вера Тимофеева, обращаясь в Деминой.

— А почему бы и нет? Правда, некоторые картины уж чересчур мистические... для них...

— Ну что ж, они сами мистические.

— Да, да, им нравится.

— Но вот сделать ничего не могут, отстоять, чтобы выставка стала официальной.

— Да, как в заколдованном круге. Посмотри вот на ту картину: это же настоящее колдовство.

— Кругом магия и магия. И в искусстве, и в этой так сказать, социальной жизни...

Было удивительно, что такая относительно небольшая квартира может вместить столько людей. Многим все же приходилось уходить раньше времени, уступая место прибывающим.

Глеб в глубине души был ошарашен отсутствием Кати Корниловой, хотя этого ее отсутствия следовало ожидать. Но почти вся Катина свита была на месте... И Глебушка, забывая прежние страдания, становился центром того, что здесь происходило. Временами внезапный свет озарял его лицо. Да, да именно он все это создал. Значит, в нем есть что-то необычайное, он есть он, и как будто вышел из тени на свет, перед миром. И душа его преисполнялась радостью, ибо он — творец. Вот оно — бессмертие, нет, нет, он не исчезнет. Он вышел из тьмы, он — вечен, и в нем есть свет.

К нему подходило много людей, расспрашивали, возражали, спорили. Старых приятелей он почему-то потерял из виду.

Средь общего гула голосов иногда в его память врезывались отдельные необычные замечания. Порой же все сливалось в единый поток.

— Глебушка, где вы, где вы? — к нему тянулись какие-то девичьи голоса.

Глеб, наконец, заметил любимое сочетание: и очень странный и вместе с тем добрый глаз: то был подпольный философ и бывший юродивый Костя Хмельков.

Опасались все-таки внезапных эксцессов. Особенно, когда мелькнули фигуры двух иностранных корреспондентов. К счастью, все обошлось благополучно. Эксцессов не было. Корреспонденты ушли. Потом появились другие лица: ученые, физики, математики, интересующиеся новым русским искусством.

Даже парень из горкома комсомола подошел к Глебу и осторожно заметил:

— Некоторые картины кажутся мне довольно мрачноватыми. Но удивительно: я ощущаю радость даже от них. Наверное, это свойство искусства.

Понемногу заполнялась книга отзывов, которую устроители выставки решили предложить, что было, впрочем, довольно рискованно.

Толя Демин с меланхоличным любопытством просматривал записи: большинство отчаянно одобрительных, редко недоуменных. Иногда попадались и стихи и эссе. Толя улыбался, читая самые непосредственные.

Но были и профессиональные отзывы художников — точные и хвалебные одновременно. Это немного удивило Демина: он опасался ревности. В квартире, правда, мелькнула одна скептическая физиономия, то был Ларион Смолин.

Только ближе к ночи картина изменилась: поток публики ослабел, и в квартире остались почти одни старые друзья. ...Появилось вино. Сергей Потанин молча слушал стихи подпольного поэта Ловшина, покачивая головой...

В окна уже смотрело темное ночное небо. И маленькие картины на стенах оставались, как земные звезды, — такие же загадочные, но близкие и далекие одновременно. И чем больше углублялась в себя ночь, тем сюрреальней и таинственней становилось в этой квартире...

Все разбрелись по углам, а Глеба отозвали в сторону хозяин квартиры и его знакомый, из устроителей выставки.

А на кухне выступал заветно-пьяненький Валя Муромцев, повывавший, наконец, тех, кого не видел многие месяцы.

Посматривая на Смолина, Валя говорил:

— Вся жуть в том, что вы, Ларион, не можете найти предмет для своей любви. Вас преследует неведомая эротика, секс неизвестно к кому... Это неизвестное — не мужчина, не женщина, не человек и не дух. Оно скрыто от вас. И вы никогда не узнаете, кто это.

Лысина Лариона слегка побелела от смеха и злости, и тем не менее он как-то согласно кивал головой.

— Не думайте, что это дерево или куст. Вы никогда не поймете, к кому вас влечет. ...Бедный Ларион, ищите и не обрящете...

— Ха, ха, ха! — раздался надсадный хохот, из коридора в кухню вошел художник Эдик Бутов, растерзанный и с бутылкой водки. — Мы победим! Мы победим!

— Кто это мы? — поинтересовалась Вика Семенова.

— Искусство.

Ночь темнела в окне, ломаясь звездами, и Олегу слышался скрытый от людей плач — там, в небе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Нина стояла у окна в комнате Саши: он ненадолго вышел. Там, на улице было пасмурно, виделось только серое небо, разгулялась непогода, щемящий ветер, казалось, проникал в самое сердце. Нина была по-своему счастлива и в то же время боль оставалась неразрешенной: кто он?

И по-прежнему непонятный ужас проникал в нее. Это было очень странное сочетание: счастье и ужас. Саша оставался в чем-то непроницаем.

Теперь она знала только, что он связан с «последней тайной». Но больше ничего. Само это слово «последняя» — вызывало у нее скрытую дрожь. Последняя тайна — о чем? Последняя, неоткрытая никому, тайна Бога. Имеющая отношение только к Нему? Или к миру тоже? Или, может быть, эта тайна — даже для Бога? Нечто действительно последнее — божественное? И перечеркивает ли она все, что известно людям о Боге и мире, даже посвященным? Саша, кажется, говорил, что это по ту сторону обычной древней традиции, по ту сторону всякого эзотеризма, высшей йоги, реализации Абсолюта или Нирваны, и обычного нормального посвящения вообще. И ни в каких книгах этого нет. А может быть, это просто высшие ступени посвящения, о которых известно в метафизике, что они недоступны человечеству в его теперешнем состоянии? Кажется, все-таки, это был намек на что-то уже связанное с Абсолютом, но может быть это ошибка, она просто не поняла...

Она присела к столу, в кресло, налила бокал вина, и закутавшись, закрыв глаза, погрузилась в себя, в то же время пытаясь вспомнить те обрывки слов, которые все-таки вырывались у Саши, когда она, прижимаясь к нему, спрашивала... не идет ли он к гибели.

«Погрузиться в себя» было подлинным наслаждением, но уже все время

всплывали, тревожа, Сашины слова, где-то уже потерянные и смешанные с ее мыслями.

«Это тайна всех тайн... Это не касается ни жизни, ни смерти, ни Бога, ни Дьявола, ни Nirваны, ни воскресения, ни конца мира, — проносилось в ее уме, — но это отодвигает на второй план все перечисленное. Это действительно последняя тайна, и она не содержится в Интеллекте, даже Божественном, хотя «преддверие» к ней хранится там, неоткрытое... людям... Но человек может просто коснуться, и даже не «преддверия», перестав быть человеком, по особой печати, которая лежит на нем в силу его особой метафизической ситуации во Вселенной. Но сначала надо пройти обычный путь — реализацию Абсолюта... Да, да... Странно и невысказано... Богореализация — только первый шаг... А потом — высший отказ от полноты и счастья... Лишенность... Уход в вечно-трансцендентное... Но вне Абсолюта нет никакой реальности, нет ничего... Анти-реальность. Бездна... Тайна не быть в Центре... Уход от Света, после приобретения Его... Понимание того, что на Периферии, во Тьме, не в Боге, есть нечто, никому не открытое, чего нет в Центре... Есть нечто другое, чем просто ограничения на пути к Абсолюту, от которых избавлялись по мере движения к Нему... может быть дверь в Бездну... Инопонимание смерти... Последний занавес... И дело-то ведь не в словах...

Нина вдруг встала.

— Нет, нет не то! — почти вскричала она в своем уме. — Я путаю, и уйду в другом направлении. Не может быть такого ужаса, такого абсурда, как Бездна вне Абсолюта. Есть Бездна в Абсолюте, Святая Тьма, по ту сторону бытия, Божественное ничто, но ведь не об этом же Саша говорил, это известно в обычном посвящении. Так о чем же? Неужели о таком невысказанном как о Бездне, которой нет? Ибо ничего нет вне Абсолюта! Или: есть всемогущая сфера того, чего «нет»? Это невозможно понять, это действительно вне Интеллекта. Это нам не дано, а Бог нам дан. То, что не дано, но невозможно реализовать! Анти-реализация!.. Тоска, лишенность... Нет, нет, я все путаю. Я все путаю... Вот она разгадка: речь идет просто о последней тайне Абсолюта, по ту сторону Nirваны, в святой тьме, о некоей подоснове, последней подоснове, перечеркивающей все!.. Почему перечеркивающей?! Просто последняя тайна Бога, которую Он не раскрыл ни в каких Священных Писаниях, ни в каких эзотерических учениях. Тайна о Нем, и следовательно о нас, и о всех. Да, да, конечно, это! И может быть, где-то на Востоке, в устной, бесконечно скрытой форме есть след... Среди немногих. Кому дано то, что не дано человеку...

Да, да, я, кажется «поняла».

Она прошлась несколько раз по комнате, взад и вперед. Бросила взгляд на книги, разбросанные на столе, в шкафу, на кровати... «Реализация Абсолюта», «Человек и его становление согласно Веданте»... Нет, нет, это великое, но все о том, что «дано». Иное, нечто странное, проявляется здесь не в книгах, а в этой комнате, в расположении предметов, нет, нет, в чем-то неуловимом, в каких-то невидимых следах, в дуновении, и изгибе; в конце концов, в том, как лежат эти перчатки. Не сказать, чтоб это было «страшно», или «зловеще» в обычном смысле этих слов, как бывает, когда остается знакомый след Князя мира сего... Но это — абсолютно непостижимо и в то же время в своей анти-реальности, и это убивает... И какая-то музыка...

Она опять села в кресло.

— А может быть, третье — не последняя тайна Абсолюта, а нечто неизвестное, о чем не мыслимо мне и гадать. Что я-то могу думать? Если этого нигде нет! Всего лишь несколько обрывочных Сашиных слов! И что меняет, если это окажется моим первым или вторым или третьим предположением! Все равно в любом случае, суть этого за семью печатями, да и по ту сторону всяких слов... Саша — непроницаем. И зачем, зачем, мне пытаться проникнуть в то, что непостижимо, обшаривать недозволенное? Конечно, потому что я хочу знать, кто он, войти в его душу, слиться... Скупный женский эгоизм. Да еще имя в виду Сашу и его бездны! Смешно! Надо почтить молчанием и не касаться этого. Но вместе с тем я чувствую, что это у меня не только из-за отчаянного желания «слиться»,

а есть нечто другое, что тянет меня «туда», лишает разума... Какой-то полярный ветер захватывает меня. К тому же я боюсь за него, я патологически боюсь его гибели, ведь он посягнул на абсолютно недозволенное. Гибнут и при обычном пути... И неужели для него недостаточно того, что «дано», т.е., реализации Абсолюта? Быть не иным, чем Бог, обладать бессмертием, всей полнотой бесконечного бытия, счастьем, — при последнем слове какая-то неуловимая ирония, отход вдруг скользнули по ее губам, — и можно шагнуть дальше, если уж так тянет в бездны, в Нирвану, в за-бытийный аспект Абсолюта... Неужели этого мало?.. О, Господи, о чем я говорю?.. Здесь можно говорить только на уровне парадоксального мышления...

И опять она яростно встала. Непогода за окном немного улеглась, но в небе появились какие-то странные провалы. Во всяком случае, так привиделось Нине.

— Боже мой, кто он, кто? Ведь я его люблю, как не любила никого и никогда!!

Дверь распахнулась, и на пороге стоял улыбающийся Саша.

Несколько слов, движений, и она не выдержала и опять рассказала, что ее мучает.

На этот раз Саша отнесся к этому не так издалека бездонно, что пугало ее больше всего. Сейчас только изгиб перчатки на кресле навел на нее внесмертный ужас, а Сашины слова были ласковые.

— Ты хочешь войти в эту дверь? Почему ты так торопишься? Мы только начали... Но главное ты должна быть подготовлена. Может быть придет время, ты увидишь и этого человека Востока, и я тут рядом, и дверь начнет чуть-чуть медленно приоткрываться. Хотя в сущности, не советую я тебе всего этого...

— Хорошо, — вдруг покорно ответила она. — А как насчет Олега, Бориса и Леша...

Они сидели у окна, за столом, напротив друг друга.

— А вот с ними запутанная история получилась, — промолвил Саша.

— «Я, обретший бессмертие, ухожу в ночь». Ты получил их ответ на это?

— Да, — Саша улыбнулся. — Но ничего особенного. Берков написал, что речь идет о святой тьме Абсолюта, по ту сторону бытия. Леша помянул почему-то падение человека, от Адама до наших дней, но в основном, вернул что-то о возвращении адептов и святых на земной план, для помощи людям, но главным образом для успешной трансформации земли в нечто более божественное. А Олег не удержался: разрисовал Дьявола и все его дела. Очень это у него красочно получилось, хе-хе...

— И что же?

— Дело не в их ответах только. Я и так прекрасно знал, что они не подготовлены, даже теоретически, хотя надеялся получить хотя бы какие-нибудь намеки — через общение, главным образом, если можно так выразиться. Здесь речь шла о другом, о чем они и не подозревали. Если я сведу их с человеком Востока, то возможен один в высшей степени необычный эксперимент, даже чудовищный...

— Чудовищный эксперимент!? Этого еще не доставало!

— О, нет, нет! Им не будет причинен «вред». Это не договор с Дьяволом и тому подобное. Контакт и эксперимент будет собственно не с ними, и с их внутренними божественными существами, которых сами они еще не знают. Сами они метафизически не будут присутствовать. Ибо они только средства, маски этого их подлинного внутреннего существа, путешественника, так сказать. Необходимые ему, и иногда говорящие его голосом. Ведь эксперимент будет вне их ума и понимания, и их, как личностей, не будет касаться. Последствия этого эксперимента будут уходить далеко, далеко, за пределы этой жизни.

— О Саша! И все-таки это ужасно! Они же люди! И без их согласия — какие-то эксперименты! Ужас!

Это так поразило Нину, что она встала и скрестив руки на груди, нервно, даже чуть истерически, заходила по комнате.

— Слушай, — спокойно ответил Саша, — то, что я здесь подразумеваю — вне

уровня того, о чем ты говоришь. Ничего не значит, что «они» не дают согласия, ведь дело будет иметь не с «ними». Кроме того, все что будет происходить — вне сферы вреда, зла, добра и тому подобное. Никакого зла им не причинят.

— Но значит, ты их обманывал?

— Нисколько. «Эксперимент» — это один уровень контакта, их не касающийся. Но на другом уровне, параллельно, мы хотели действительно иметь дело с ними как с личностями, и бросить несколько тайных зерен. С их согласия уже, — усмехнулся Саша. — Так что должно быть два уровня. Об одном — они не могут иметь представления, и поэтому бессмысленно им об этом говорить, он — полностью вне их достигаемости, да и тем более «эксперимент» этот по существу — не с ними. Другое дело — второй уровень. Здесь им будет все разъяснено. Так что никакого обмана нет.

— И что же? Но на втором уровне, когда речь идет о них самих, как ты говоришь, каковы будут последствия для них? К тому же ты говорил, что знал заранее, что они не подготовлены даже для этого?

— Здесь все будет сделано, как надо, со всеми предосторожностями и предупреждениями. В них будут брошены некоторые тайные зерна. Когда они взойдут — другой вопрос. Может быть, в последующих трансформациях души.

— Ничего себе! Один уровень — относится к вечности, другой — к трансмиграциям. Значит, эта бедная жизнь — вне игры?

— Не совсем. Она тоже будет вовлечена — в последнем случае.

— Но по-настоящему готовых людей и для этого второго уровня — очень трудно найти. Дело не в том, что сначала нужна реализация Абсолюта, пусть человек еще только начинает этот путь обычного посвящения, но потенциально он должен обладать и другим.

— Чем?

— Скажем так: некоторыми парадоксальными метафизическими способностями. Дам маленький намек на одну из них. Может ли человек, полностью погруженный в созерцание Бога, испытывать тоску? По чему? Ведь в Боге полнота всей реальности, включая небытийный аспект. Нет ничего закрытого для него. По чему же испытывается тоска?

— Ну и ну. Но мне их жалко. О Боже, они ведь хотят другого! Им нужен традиционный путь к Богу или к Абсолюту, хотя бы несколько верных и важных шагов в этом направлении. Они готовы к этому. Они хотят освобождения от этого ужаса нелепых сторон земной жизни. Но ты намекаешь на такое, что совершенно вне рамок всего...

Саша молчал.

— И что же ты хочешь делать? Какой твой ответ сейчас?

— Пока еще ничего не могу сказать. Мы скоро соберемся, и ты узнаешь.

Прошло несколько часов. Тьма сошла в их комнату с неба. По отшельнически горела свеча где-то в углу. Они по-прежнему были одни, но уже во мраке. Саша отдыхал в кресле, шерстяное одеяло лежало у него на коленях, а Нина сидела рядом с ним, на полу, прижавшись к его опущенной руке. Они молчали.

Снова прежний ужас и «непроницаемость» Саши скрытой волной овладели ей. Из всех разгадок в уме горела сильнее всего та, вторая, о последней тайне Бога. Но когда тьма подкатывалась к сердцу — думалось о третьей, о полной неизвестности.

Она попыталась воссоздать внутренний смысл того, что он сказал ей, всего несколько минут назад. Слова его восставали в ее уме, как огонь, окруженный тьмой. Но чем больше она вдумывалась в них, тем скорее рушились все разгадки, объятые языками вездного пламени, и когда они исчезали, в ум, какими-то змеиными волнами входила бездонная и холодная тьма. И требовалось усилие, чтоб она отступила, и прежний маленький свет человеческого сознания вспыхивал опять.

И вдруг она сказала:

— Ты хочешь вырвать у Бога Его последнюю тайну? Ты погибнешь.

Молчание было ответом. Она не видела его лица.

— Нет, нет, больше, ты ищешь нечто, что противоречит всему, что идет против всего, что существует. Против Бога и против Дьявола. Ибо и Дьявол принадлежит реальности... Против некой основы основ.

Она говорила все это шепотом, держась за его руку...

— Ты хочешь выйти за пределы всего, что дано Богу и Его образу — человеческой душе...

И вдруг она еще сильнее сжала его руку.

— Мой бедный русский Фауст — ты погибнешь! Гибли даже те, кто посягали на несравнимо меньшее — ты знаешь об этом! Ты погибнешь, погибнешь!

И Саша вдруг ответил: и его ответ раздался откуда-то из меняющейся черты.

— Ты видишь гибель только негативно, или в лучшем случае, — как шаг к новому возрождению. Так думают все, кто принадлежит к этой системе. Но в гибели есть иное начало. ...И принцип смерти — при некотором мастерстве — может быть окном...

— Нет, нет! Я не хочу твоей гибели! — и она прижалась к его похолодевшей руке. — Мой бедный, бедный, русский Фауст! О, это уже не то слово для тебя — «Фауст»! Смешно! Это совсем другое! И кто твой Мефистофель — сам Абсолют?! ...Но зачем, зачем ты идешь...

— Там нет вопроса «зачем».

— Но тогда кто ты, кто — ты?

И вот наступил день, когда Саша позвонил Олегу и сказал, что поскольку второй этап из испытания пройден, надо встретиться, и он сообщит свой результат.

Леши Закаулова не оказалось под рукой: опять пропал. Договорились, что придут Олег и Берков. Саша назначил особое место встречи, одно из своих любимых. Это был дальний, одинокий, заброшенный рабочий район (в духе песни начала века: «где-то в городе, на окраине»...), прорезанный железными дорогами, с которых часто доносились отдаленные тоскливые гудки поездов, точно зазывающих куда-то. И люди здесь, на пыльных улицах, как будто тоже стремились в неизвестное...

Свидание было назначено в простой рабочей столовой, расположенной в покосившемся одноэтажном сером здании. Олегу дали, конечно, адрес — сам же Саша хорошо знал эту столовую, в которую он не раз забегал в свое время выпить стакан-другой водки.

Нине здесь тоже понравилось. Они проходили с Сашей через мост, и весь район хорошо просматривался оттуда. Захватил он ее своей напоенной жизнью тоскливостью, ибо тоска эта, как может быть и тоска расхолодившихся вдаль лучей железных дорог, была напоена и тайной, почти незаметной, но внутри себя бездонной и уводящей. Непонятно было только, откуда взялась эта скрытая жизнь, и что она значила? Но тот, кто мог видеть, был захвачен ею навсегда...

В столовой оказалось мало народу, и само помещение было большое, длинное, с многочисленными столами и стульями по бокам. Разные люди в ней о чем-то переговаривались, молчали и выпивали. Серый свет проливался из узких окон. От всего этого чуть-чуть веяло тем же духом — скрытым, неопределенным, потайным и великим. И каким-то образом ведущим в сокровенную жизнь.

Саша с Ниной присели у окошка, где был столик на четверых. Одинокий пьяный из глубины зала приветствовал их, подняв кружку. Появилась толстая, погруженная в себя, официантка.

Ждать пришлось недолго: негаданно распахнулась дверь, и показались такие знакомые лица Олега и Беркова.

— Ну и уголок вы выбрали, Саша, — промолвил Олег, чуть недовольно. — Впрочем, неплох.

Быстро взяли пива и обычной еды. Стеклообразные граненые стаканы запотели от пивной влаги.

— Ну, это место, наверное, в вашем вкусе тоже, Ниночка, — усмехнулся Берков.

Нина прилепилась совсем к окнам, в своем ситцевом платице — волосы ее были причесаны просто, но изящно.

— Да и всем где-то должны нравиться такие места, — заметила она. — А мне и подавно.

— Она чувствует их скрытый смысл, — улыбнулся Трепетов. — Давайте грянем.

И он поднял стакан.

— За скрытую жизнь, что ли?

Все согласились выпить за это.

И потом Саша сразу перешел к делу. Его ответ своим вихрем ошеломил Олега и Бориса: все кончено, продолжения не будет, занавес поднимется... Конеч... Нина даже вздрогнула и с изумлением уставилась на Сашу. Этого не ожидала даже она.

Но почему, почему??

— Олег, скажите честно, — Саша взглянул на него, — вы ощутили каким-то шестым чувством серьезность всей ситуации, высшую серьезность, несмотря на всю внешнюю простоту и непритязательность того, как началось??

— Да. Из-за целого ряда намеков, нет, не знаю от чего... какой-то жуткий подтекст всего этого входил в меня...

— Тогда и не спрашивайте, «почему». Надеюсь также, что не будет никаких детских обид. Вся эта история вне личных отношений. Это была бы смешная реакция... Тем более я вас предупреждал, что будут «этапы» и после каждого из них — решение о дальнейшем.

Тем не менее возникла неприятная и напряженная обстановка. Слова запутывались и застревали. Олег, грустный, смотрел в окно.

— Давай-ка откланяемся и пойдем своей дорогой, Олег, — вдруг резко сказал Берков и встал.

Это, может быть, был самый лучший выход. Быстро, смущенно и неприятно простились.

Саша и Нина оказались одни у столика.

— Ну что ж, остается только допить пиво, — вздохнул Саша.

Нина решила ни о чем не спрашивать его. Он ничего не сказал ей. Заранее. С туманно-странной улыбкой она посмотрела на него, допивающего свое пиво.

Задумчивая официантка поплелась из своего угла и опять оказалась перед глазами Нины. «Она всегда смотрит внутрь себя», — подумала Нина.

Нет, нет, ни на одну минуту в ее уме не мелькнула мысль, что Саша отказался из-за «морали»: ибо ожидался «чудовищный» метафизический эксперимент без согласия на то. Она вгляделась: что-то иное заволочло его лицо и глаза, устремленные внутрь. Принял ли он такое решение сам или вместе с этим несмысленным человеком Востока? Как связать сущность этих ребят с отказом? Ведь никому не было известно, кроме Саши, в чем собственно состояло «испытание». Но оно было явно отчужденно от их личности. Что же испытывалось тогда в этой крошечной тьме на грани между жизнью и смертью, которая всегда рядом? Может быть, испытывался их будущий предсмертный стон, который Саша или этот всевидящий Человек Востока могли провидеть и положить на весы? И что могло быть такого в этом последнемestone или видении? И в какие пласты души можно было бы бросить эти тайные зерна? И какая неудача постигла их предсмертный живой стон? А если, подумала Нина, то было испытание последующих транс-воплощений, заложенных внутри нас и раскрывающихся потом как зонты в согласии с Волею Небес? Или, — и тогда в ее уме появлялся воображаемый образ этого неизвестного Сашиного друга, все связывалось с первоначальными божественными прообразами души Олега, Бориса и Леша? С той божественной искрой, которая начинает свое путешествие, спускаясь во тьму? Может быть, она не выдержала Сашиного испытания? И зачем, какие еще сети и капканы заготовили для нее они — Саша и Человек Востока — для этой бедной божественной бабочки-летуны, — улыбалась Нина... В какие

еще немислимые, — божественные бездны надо заманить эту наивную и всемогущую бабочку, называемую иногда вечным огнем? Заманить так, чтобы она уже никогда не возвратилась к своему Небесному Отцу.

Счастливые, какие же они счастливички, эти двое, Олег и Борис, удалившиеся в горечи и даже злобе и воображающие, что они оказались недостаточно духовны и глубоки, и так сказать, неполноценны перед высшим.

Золотые счастливички!

А что остается мне? — думала она. — Наверное, Саша выбрал меня одну для своего «чудовищного эксперимента». Ну и пускай. Где-то я всегда стремилась к гибели. Страшно будет расстаться только с одной — во всей этой так называемой Вселенной — с одной... Россией. О, нет, нет она — внутри меня, и она пребудет со мной даже после моей смерти, в вечности. Ее я никому не отдам. А божественной искры моей — прообраза Божия — мне не жалко, давно уже пора над ней маненько подшутить. А то уж больно вечная и божественная. Так и пребывает в своей полноте, блаженстве и покое, как толстый Будда. А я тут маюсь по всяким столовым и планетам, без конца и начала.

Мне даже не будет жалко, если Саша «подшутит» и надо мной, какая я есть, а не только над моей божественной искрой, с которой я еще не отождествила себя полностью.

Все равно — я его. Как это поется в народной песне: «Пускай могила меня накажет за то, что я его люблю. Но я могилы не убоюсь, кого люблю и с тем помру».

Кажется, наши женщины — в далеком прошлом, добровольно соглашались уходить в землю вместе с мужьями, как только те умирали. Но, увы, Сашу не интересуют такие мелочи, как могилы на земле, и все эти его игры пахивают другой, более жуткой и фундаментальной могилой — взезмой. А может и нет, кто знает?

Она взглянула на Сашу. Он обернулся к ней.

... Нет, нет, я попросту не понимаю его. Разве он — вне Света. Он же говорил, что обязательным условием этого последнего пути является «обычное» посвящение, с его целью — Богореализацией. Значит, то не против Бога, а идет куда-то еще «дальше», раз необходимо, чтоб сначала душа была вместе с Богом, как скромно говорят на Западе, или просто стала не иным, чем Бог, как говорят на Востоке. Да, конечно, он не отрицает Божественный Свет, и в этом отличие от люциферических сект. Но вместе с тем это глубинное восхищение некоей Высшей Тьмой... Нет, нет, дальше я ничего не понимаю. И вообще все путаю. Не надо ускорять события. Пусть будет, что будет. Я, слава Богу, не Гретхен, а он не Фауст, а кто-то гораздо крепче. Правда, юмор никогда не мешает. Его можно сравнить с колобок из народной сказки: я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и т.д... ото всех ушел колобок и катится по дороге. Так и Саша от всех ушел: и от Бога, и от дьявола, и от Традиции, и от эзотеризма, прихватив все это с собой. Но чем это кончится?

Два дня спустя Саша уносил свою любовь в пучину подмосковных лесов и городков. Они, как и раньше, ехали на электричке повидать Сашиного друга. Нина надеялась, что пока еще это не Человек Востока. Они неслись вглубь, теперь уже летом, а не зимой, как когда-то, и поезд врезывался в пространство. Было мало народу в вагоне, и жесткий стук колес то убаюкивал, то тревожил.

Я не удивлюсь, думала Нина, что этот Человек Востока в конце концов окажется Божеством, воплотившимся в человеческом теле, наподобие Кришны. Тем более Бог может быть одновременно где угодно — ни время, ни пространство, ни число — не препятствия для него. Только на этот раз приход не связан со спасением людей или возвращением им утраченной мудрости. Скорее другое. Бог приходит на страшный, ледяной, пронизанный мраком край своих Владений, за которым может быть почти сразу начинается обрыв, бездонная ночь вне Космоса, чтобы соприкоснуться с тем, чего нельзя «увидеть» в Центре, в Сиянии Духа, в этом бесконечном всемогущем и Самодавляющем Центре, где пребывает Бог в Самом себе, в Своем вечном и непостижимом блаженстве...

Нет, нет, я захожу слишком далеко, это иной случай...

Или может быть, этот Тихон Федорович как раз, наоборот, — человек и последняя тайна связана не с Богом, а с Человеком?

Куда несется этот поезд, в котором мы едем? Кажется, вагон стал слишком покачиваться от огромной скорости...

Саша молчал. В окнах мелькали бесконечные, раскинувшиеся и застывшие в своем бытии и покое поля и леса, и заброшенные домики и люди среди них — от всего этого сжималось сердце, но не только потому, что там таилось много печали, а потому, что было в них нечто иное, и это почти нельзя было выразить на обычном человеческом языке...

Нина переводила глаза на Сашу, затихшего в углу на скамье, и потом опять вглядывалась в эти картины за окном.

«Почему такие огромные пространства, — думала она. — Как это поется: в пространствах таятся пространства... Одно в другом, одно в другом, и так все дальше и дальше... Куда? Как будто ничего не меняется, одно пространство исчезает в другом, а тем не менее мы двигаемся — и во всем этом есть непонятная цель и предназначение...»

И она еще раз взглянула в окно. Даже печаль этих картин была не только печаль. Тоска приводила к скрытым откровениям. Кое-где за деревьями, в лесу мелькали церкви, и вообще чувствовалось присутствие Неба, и вместе с тем, где-то оставалась и тоска...

Наконец, поезд остановился: маленький городок — заброшенный и пустынный — окружал одинокую станцию. Здесь обычно происходила пересадка: дальше надо было ехать на автобусе. Они оказались на большой пыльной привокзальной площади.

Покосившаяся вывеска указывала на чайную. Дверь была открыта, и изнутри лились звуки заунывной, бесконечной, хватающей за сердце песни. Посреди площади лежал пьяный, но может быть это был просто спящий человек.

... Трепет, а потом восторг умиления охватили Нину. Кажется, они со Светланой Волгиной совсем недавно видели такую площадь, и слышали эту песню. И какая-то музыка — не то извне, не то как будто бы изнутри — захватила ее, и ей казалось, что занавес уже почти сдернут, да никакого занавеса и не было, нужно было только понять и увидеть.

Они стояли на остановке автобуса, в очереди, впереди были две женщины. Облезлый пес блуждал в стороне. И Саша был внутренне весел и в огне. Лес вдалеке на горизонте — с правой стороны был совсем открытый вид — казался входом во что-то притягивающее, тайное, но родное и вечное.

Наконец подъехал небольшой старенький автобус.

Уже смеркалось: шофер был не в меру рассеян. Кто-то лежал на темном полу автобуса, похрапывая, рядом с дырявым сидением, где разместились Саша и Нина. Две женщины уселись недалеко, за спиной водителя. Автобус, задрожав, тронулся с места, и печальные окна домов по-домашнему, уютно, огоньками провожали его в путь. Конек-горбунок на одной из крыш, казалось, срывался в небо...

Городок быстро очутился позади, и со всех сторон опять открылись леса и поля и пространства. Нина взглянула на высокое, уводящее небо, немного отраженное на земле, и поняла, что никуда не надо уходить, потому что такая загадочная жизнь распростерлась в этих лесах, полях и одиноких домиках, что она застонала.

Спускался мрак, но леса дышали привольем, и огоньки вдали мерцали во тьме. Окна автобуса были открыты (он медленно плыл) и пахло рекой. И тьма окружала огни, и далекие пространства были как песня.

Нина взглянула на Сашу: его лицо показалось ей огромным во мраке. Она стала все прикованней, но как бы незаметно, всматриваться в него, и протянула ему руку, которую он взял.

И вот теперь она вдруг подумала о том, что их союз заключен навеки. И что наверно они едут к Человеку Востока. И что, может быть, Саша и есть этот Человек Востока, но скорей всего их все-таки двое...

И не исключено также, что ей уготовано поражение или гибель, равносильная... не «победе» (какое смешное слово), а чему-то более высшему... А может быть, ей даже не уготована гибель. И она сильнее сжала Сашину руку. Он отвечал чуть жутковатым, но дружеским рукопожатием. Да, в их отношениях появилось нечто большее, чем любовь...

Автобус остановился. Это было их место: тусклый фонарь, темная лужайка, окруженная ровным лесом. Рядом — стволы строгих деревьев уходили в синее звездное небо, и лес тихо шумел, замирающе и неведомо. Где-то мерцали огни — значит неподалеку было человеческое жильё. Автобус исчез, и они остались вдвоем у высокой сосны, сквозь ветви которой сияли звезды. Тьма в провалах леса была как живая.

Нина оглянулась.

— Я иду к тебе, — прошептала она.

— Глаза должны быть закрытыми, — был ответ.

И тогда невиданная нечеловеческая радость рассекла ее сознание, ставшее на мгновение тьмой.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

И Олег, и Берков, и Леша были в ярости. Неожиданное решение Саши все оборвать взорвало их. И дело заключалось не только в самолюбии и в ощущении того, что они не прошли «испытания» (да и непонятно было, в чем состояло это «испытание» и вообще было ли оно). Им даже стало казаться, что над ними весьма натуральным и в то же время фантастическим образом поиздевались. И захлопнулась дверь перед самым носом. Но был в их чувствах еще и другой подтекст: как будто темная волна чего-то изглубинного и неведомого нахнынула на них при общении с Сашей. Наконец, они просто истратили много сил и нервов на все эти диковинные встречи.

— Шарлатан он чертов, и больше никто! — кричал Леша Закаулов, когда они втроем собрались у Олега.

— И развел Шехерезаду — в себя не придешь! Скорее шехерезадник, сказочник! Совсем заморочил голову!

— Ерудна! Какой он сказочник! — угрюмо ответил Олег. — От его лица веет холодом ада. В сущности нам повезло, что мы от него избавились.

— Холодом, но не ада, — возразил Берков. — И я жалею об этом разрыве, началось какое-то движение и вдруг полная остановка.

— Ничего не сделаешь. Нужен другой поворот. Значит, не судьба.

Особенно переживал Олег, впавший в гнетущую и океанную тоску. Несколько дней он не находил себе места. К тому же все чаще и чаще творчество и упоение славой не могли предотвратить возникновения в нем странных провалов, когда со дна души поднималась черная жуть и оставалось только одно желание: спастись, найти выход из земного бытия в вечное. И все это несмотря на то, что творчество по-прежнему оставалось единственным, что еще насыщало его...

Иногда он чувствовал даже отвращение к собственному телу, и вообще ко всем формам земного бытия. Боже мой, зачем это, зачем, думал он, зачем это жалкое тело, короткая, до нелепости, до издевки короткая жизнь, эти идиотские уши, ноги, какие-то две впадины в голове, называемые глазами, от которых зависит зрение; почему все это так жалко, эфемерно, где-то по большому счету уродливо, смешно и ненадежно. Я уже не говорю о страданиях. Не хочу, не хочу всего этого! Хочу бессмертия, свободы от материи! Хочу иметь жизнь в самом себе, а не зависеть от любой бациллы; иметь эту жизнь реально, как боги, воочию, а не шептать о ней в бессильных молитвах.

А что надо совершить, чтобы получить такое, он не знал.

В печальном настроении он оказался однажды у Белорусского вокзала. Он брел никого не замечая, даже ни о чем не думая, устав от противоречий, но со смутным ожиданием и тревогой...

Вдруг перед его глазами возникла Катя Корнилова, одна и с сумочкой в руке.

— Вот это встреча! — воскликнул Олег. — Ты знаешь, я только сию минуту понял, что именно тебя я хотел встретить сегодня. А брел без цели.

— Ну вот, а что случилось? — улыбнулась Катя. — Ты не всегда так рад мне.

И Олег — сам не понимая зачем он это делает — вдруг рассказал ей все: и их историю с Сашей, и то, что происходит в его душе. Они медленно шли по улице Горького к Кремлю.

Неожиданно Катя взволновалась, и с нежностью отозвалась на его призыв: «Ты знаешь, я сама об этом много думаю последнее время». — Она ласково взяла его под руку, и вдруг быстро проговорила:

— О, да, конечно, конечно, только за большие грехи можно сюда попасть. В эту земную клетку! За большие грехи!

— Это на одном уровне, — усмехнулся Олег. — А вот Саша как-то намекнул, что на другом уровне — наоборот, большая привилегия для духовного существа воплотиться в такую грязь и униженность, ибо только тогда откроется окно...

— Саша — кудесник, — прервала Катя с яростью. — А я, знаешь, чего только хочу: бытия, вечного бытия, — и она судорожно сжала его руку. — И мне кажется, я начинаю постигать... чуть-чуть... Необходимо сделать очевидным и постоянным то великое, скрытое, духовное Я в нас. Его надо ощутить во всей реальности. У меня бывают такие состояния... Спонтанные... Вдруг я чувствую, что это невиданное Я восстает во мне: о, это такая тайна, такое упоение, такое сокровище, что у меня нет слов... Все мысли и образы исчезают, лишь чистое Я, как Я в своем бытии и славе... Я равно Я... И ясно видишь: это не умрет вместе с телом, это выше тела, ума, земной личности, и это мое любимое Я! Мое! Потом, в обычном состоянии, я спрашивала об этом у Юры Валуева, ты помнишь, наверное, из круга Кирилла Леснева, союз мудрецов про-индуисты. Он мне многое объяснил. Я не уверена была порой, что это и есть то, что они ищут. Меня теперь всегда пробирает дрожь: неужели. Хотя бы на мгновение, я открываю в себе то, что индуисты называют Богом внутри нас, Атманом, истинным Я, и это и есть цель всей Богореализации. Надо только превратить эти мгновения в постоянную жизнь внутри себя, так учат. Это самое трудное, но я рада сейчас и мгновениям. Не знаю уж, что со мной, неважно, как это называть, имеют ли это в виду брамины или нет, только скажу: это — счастье, это тайна, и это источник жизни вне этой жизни. Это сокровище, потому что я вся в каком-то ином бытии... И это мое самобытие. И это принадлежит духу, а не уму и этому миру, а потому вне изменений и разрушения.

Олег был поражен: «О, тебе можно позавидовать... Глубинный мистический опыт... Да еще спонтанный... что же будет с Учителем... А я одинок, как крыса, поющая на льдине»...

— Зайдем-ка в это кафе. Просто, чтобы присесть, — Катя махнула рукой, и вид у нее был совершенно отключенный.

— У меня даже нет денег, — ответил Олег. — Я совсем ушел во все эти дела, и одна мысль о добывании денег вызывает у меня тошноту. Сколько приходится тратить времени на этот маразм!

— У меня тоже, слава Богу, мало денег. Последнее время. Но какие-то два рубля завалялись. Зайдем...

Кафе было тихое, уютное и мирное: в нем не продавали алкоголь. Они сели у полукруглого окна, сквозь которое были видны беспечные прохожие и троллейбусы.

Постепенно волна вдохновения стала сходиться с Кати. Она нервно курила и отпивала кофе из маленькой чашечки.

— Но ты не можешь постоянно быть в этом? — спросил Олег.

— Это было бы совсем иное качество. Но хотя бы я могу забегать в ту внутреннюю клетку, в то состояние, и выходить опять — в эту жизнь.

— Неплохо устроилась, — мрачно усмехнулся Олег и подмигнул ей. — Я бы согласился. Погулять, покутить, понаслаждаться здесь и потом прыгнуть в медитацию, в вечность, в созерцание! И обратно! Туда и сюда, и в эту жизнь и в вечность.

Катя расхохоталась, даже утробно, и не обиделась.

— Ну что ж, пусть будет пока и так! Вот как ты повернул! Ну и ну!

— Ах, подлая. Это уже по Достоевскому. И сладость жизни и вечность. А то вечность-то слишком абстрактна, саморазрушение, как говорят сатанисты.

— Как бы ни была она абстрактна, это реальность. И к тому же — не абстракция. Просто люди — ниже...

— А все-таки плен, исчезновение в Свете, — и Олег подмигнул ей опять. — Я шучу, конечно. Просто: кентавры мы, человечество теперешнее, вот кто мы на самом деле, кентавры... В лучшем случае.

— Ну это уж слишком, Олег. Да ты как-то сбил своим мраком мой настрой, — она отодвинула чашку кофе. — Тогда вот что я скажу тебе, дорогой. Поговорим иначе. С другого полюса: в конце концов любое бытие — благо, даже низшее. Просто бытие. Я не говорю о чистом божественном бытии, а просто о бытии твари. Любом бытии. Я это тоже чувствую. И я хочу даже этого временами. Пусть не будет выхода к Богу, пусть перевоплощения, пусть цепь страшноватых жизней где-то там, пусть бесы, пусть, как говорит поэт, «...заочно за нас решило наше прошлое, пусть тюрьма», — но я буду судорожно цепляться за любое бытие, если уж невозможно найти божественного. Такое есть даже в аду. Блаженное самобытие. Лишь бы хоть оно было, чтоб можно было осознавать себя — и этим наслаждаться.

— О, это уже ближе к делу... А еще лучше договор заключить... С этим, с рога-тым, «который всегда внизу», как говорит тот же поэт.

Катя вздохнула.

— Нет, что-то ты совсем, как это сказать помягче... не весел, Олег. Вот как Саша на тебя подействовал. А ведь он сам не такой. Знаешь, что я вам всем трем — тебе, Боре и Леше — посоветую: свяжитесь-ка вы с Кириллом Лесневым! Это же такая мощная личность! И светлый!

Олег вдруг изменился в лице, просияв.

— Это предложение! Я сам подумывал об этом. Но не знаю, как подступить-ся. Леснев — довольно закрыт, если я не ошибаюсь...

— Да нет! Я помогу. Я сама хотела с ним связаться, через Юру Валуева...

...Два дня спустя Олег, не выходя из своей печали, рассказал о Катинем предложении Леше и Борису. Алексей наотрез отказался: «с меня хватит одного небожителя, я пойду теперь своей дорогой. Вы как хотите, а у меня начался другой полет... А если я когда-нибудь и приду к Богу по-настоящему, то, наверное, только через христианство. Я так чувствую. А пока ничего не хочу: только пребывать в этом мире, в моем новом полете».

Но Борис принял предложение. «Леснев есть Леснев, — сказал он. — Первый Брамин Республики, так сказать. Говорят он получил инициацию от одного, захватившего сюда с этой целью весьма «крепкого» индуса».

Через Юру Валуева Катя все быстро устроила.

Первое свидание должно было состояться на квартире у друга Кирилла, который, правда, уехал, но оставил Лесневу ключи. В этом месте часто собирались русские ведантисты.

Олег все еще пребывал в своей тоске и неуверенности, когда они собрались втроем: он, Борис и Катя. Тень Сашиного крыла все еще лежала на Олеге и Борисе. Олег взял с собой записку, где были начертаны те самые слова: «я, обретший бессмертие, ухожу в ночь». Катя же была бодрa; красивая, чуть пополневшая, она смотрела уверенно и прямо.

— Что вы все грустите, Олег? Ведь впереди — вечность. Ох уж мне эти поэты! — заявила она, похлопав его по плечу.

Комната, куда они пришли, казалась почти круглой, она была завалена книгами, у стен располагались диваны и рядом — добротные старинные столы. Олег не ожидал, что Леснев такой, каким он его видел. Перед ним стоял спокойный человек лет 35 с чуть кругловатым лицом, с небрежной копной русых волос, скромно одетый. Темно-карие глаза его выдавали необычную внутреннюю силу...

Сначала за чаем произошел чуть-чуть светский разговор — все-таки первая встреча. Говорили о новостях в московском подпольном мире.

Одна весть уже несколько дней тревожила Катю: что-то случилось с Максимом Радиным. Он исчез.

— Я слышал об этом, — ответил Кирилл, взглянул на Катю. — Его увезли в одно место под Москвой. Сделал это тот самый «мастер смерти», о котором вы знаете. Он один из моих ближайших друзей, но он пошел традиционным христианским путем, православным. В конце концов цель у нас одна: Бог как солнце, а лучи-пути к Нему разные... Это очень глубокий человек, и он может влиять на людей. Увез он Максима к своим... там есть и церковь. Мать Максима поехала тоже.

— А как же врачи? — спросила Катя.

— Врачи от него практически отказались. В том смысле, что спасти его невозможно. Лекарства, конечно, взяли с собой, да там и врач есть хороший, верующий, кстати. Но вообще внешняя ситуация его безнадежна. И чудес тут не будет... Его дни сочтены.

Катя словно окаменела.

— И что же?

— Будет сделано главное. И перелом в лучшую сторону уже есть, я знаю. Он будет вырван из когтей, которые уготованы ему после смерти. Трудно представить, что большее может быть сделано для него в его положении...

Воцарилось молчание. И Олег был не в ладах с самим собой. Какая-то вышшая серьезность, благоговение и тишина царили в этой комнате. Возможно здесь проводились таинственные медитации.

Все это довольно отличалось от Сашиной ауры. Не было никаких сверхзагадок. Дышать было легче и нетревожней. Все выглядело глубоким, но вместе с тем открытым. Если же были внутренние парадоксы, то не такие, которые уничтожали сознание.

Перелом в разговоре наступил тогда, когда Олег вдруг упомянул имя Саши Трепетова. Кирилл изумился и ошеломленно посмотрел на него.

— Вы его, конечно, знаете лично? — спросил Олег.

— Еще бы.

И тогда Олег начал говорить. Потом вынул записку: «Я, обретший бессмертие, ухожу в ночь», и молча показал ее Кириллу.

Лицо Леснева внезапно исказилось, как только он прочел эти слова. Трудно было понять, что выразилось на его лице в это мгновение, но Олегу показалось, что как будто пронеслась черная молния: и ушла внутрь. И лицо опять стало прежним. Быстрым движением он вернул Олегу записку и спросил:

— Один момент очень важен. Была ли практика, точнее хотя бы отдаленный намек, скажем на, так сказать, трансфигурацию реальности?

— Нет, до этого еще не дошло.

— Значит, никаких «операций» еще не было. Вам повезло. Это крайне опасно.

— Опасно даже в теории?

— Даже теоретически. Даже намеки. Но как я понял, не было ни практики, ни теории. Только отбор... и ничего больше?

— Неужели это так опасно?

— Несоизмеримо опасней, чем любые игры с Дьяволом и адом, хотя это совсем из другой оперы.

— Что же это такое? — воскликнул Олег.

Кирилл сделал странное движение рукой, которое можно было истолковать, как нежелание больше говорить об этом.

— Вы пришли сюда, как я понял из разговора с Юрой Валуевым, чтобы получить помощь, — сказал Кирилл. — Чтобы придти к Богу и понять, что такое Бог. Неужели этого недостаточно? Не ищите того, что не существует.

И опять воцарилось молчание. Но отсутствие слов как-то подходило к ауры этой комнаты. Оно было естественным и многозначным.

Борис, наконец, прервал тишину. Он немного рассказал об их прежних исканиях. Чуть-чуть колебались от ветра улицы темные шторы у окон.

Разговор быстро выровнялся.

— Наш путь традиционен и проверен тысячелетиями, — говорил Кирилл. — Он основан на индуизме, хотя мы касаемся и других восточных метафизических течений. Это путь знаний, высшей медитации, созерцания и претворения знаний в духовную практику. Это путь Бого-реализации, не дуализма, когда вы входите в божественную реальность и отождествляете себя с ней. Это путь к своему Центру, к своему собственному подлинному бессмертному Я, которое скрыто и совершенно отличается от обычного человеческого сознания. Этот Центр, это высшее Я, неотличим от Бога, и есть Бог. Но он далек от человеческого эго, индивидуальности. Поэтому одним из главных принципов является умение увидеть, познать и отличить это высшее Я или self, как его называют в некоторых книгах, от эго, от временного «я». Это один из кардинальных вопросов, и вас научат, как это делать — практически. Если вы отождествите себя с вашим эго, и скажете «я», т.е., мое эго — есть Бог, то это чистый сатанизм, это путь дьявола-человека. Но если вы сможете отождествить себя с self, с вечным Я, и скажете Я, т.е., self — есть Бог, это то же самое, что сказать Бог есть Бог... Мы идем путем метафизических знаний, их превращения в практику, путем медитации и созерцания, отсечения от себя отождествления с телом, умом и «эго»... Наша цель — полное осуществление метафизической реализации, а не только временное мгновенное или непостоянное вхождение. Это, следовательно, высшая цель, и она требует огромных усилий и дисциплины. Но по мере того, как вы будете стремиться «входить» и понимать, что это дает практически — вы будете стремиться все глубже и глубже. Если вы действительно готовы... Но вы должны сделать попытку... Я сведу вас с одним человеком, который будет вашим непосредственным учителем и советчиком. Вы будете в его круге.

— Значит мы не будем с Вами?

— Вы будете и со мной. Но этот человек подойдет вам больше, чем я. Вы увидите это сразу.

— Так хочется войти, войти в это!!!

— Кроме того, здесь есть много тонкостей, — продолжал, улыбнувшись, Леснев. — Например, поэт, художник вообще, имеет ряд бесспорных преимуществ, но также и негативных сторон, которые могут сильно затруднить его путь. Например, у него может быть сильно развито духовное «эго» — есть и такое, и от него еще труднее освободиться, чем от обычного. Но об этом потом. Все будет совершаться постепенно. Разумеется, полная Бого-реализация при жизни — это нечто исключительное. Но важно, пока вы здесь, на земле, хотя бы основать прочную связь с Абсолютом, как гарантом вашего бессмертия и спасения... Кроме того, человек может овладеть промежуточными реальностями, разного порядка, включая необычайно высокие иерархические ступени, уже внечеловеческие. Так делают некоторые йоги: но не теряя при этом из виду главную цель — иначе это опасно. Иными словами, речь может идти о раскрытии всех потаенных, различного плана, внутренних возможностей человека. И это, конечно, не просто...

Но возвратимся немного назад. У нас вы получите знания о самоограничении, о контроле над страстями и желаниями. Рухнет миф о себе как об индивидуальности, вы соприкоснетесь со сверхрациональным, надиндивидуальным началом, и узнаете, что это не означает потерю, а наоборот, освобождение, ведущее в бесконечную жизнь, ибо индивидуальная жизнь, т.е. жизнь, ограниченная какой-либо формой, только момент по пути в высшую жизнь... Вы поймете, насколько ограничен ум, как заставить его умолкнуть, и это значит вступить в сферу сверхрациональную, в сферу сверх-Разума, подлинного Божественного интуитивного Интеллекта. Разумеется, пока это только возможности, хотя несомненно у вас есть некоторые задатки, иначе бы вы не пришли сюда. В конечном счете вашим учителем может стать ваше божественное собственное высшее Я... Цель: вырваться за пределы воплощений, обрести бытие и за-бытие, которое вечно и которое не прекратится даже когда исчезнет не только наш мир, но и все миры вообще.

— Да, картина... — пробормотал Берков.

— Но это цель. Сколько шагов вы сделаете в этой жизни в этом направлении — уже другое дело.

«Глаза, какие у него глаза, — подумал Олег. — Точно чье-то присутствие... И сама эта комната, как ладья, направленная в вечность. И такое незнакомое мне спокойствие, и... странно: глубокая доброта, даже когда Кирилл говорит резкие по сути вещи».

— И еще, — продолжал Леснев, — наш путь — это не религия. Ни от кого не требуется перемены веры — это было бы безумием. Но религия — это лишь один из вариантов связи с Богом... Наш путь к Богу, основанный на не-дуализме, между Богом и миром, путь знаний и метафизической реализации, лежит в другой сфере, чем религия. Мы не поклоняемся Кришне, не берем религиозную сторону индуизма, наша сфера — его надрелигиозные аспекты, его космология, духовная йога и в первую очередь реализация Абсолюта. Индуизм, как известно, не только религия. И йога, в том числе высшая — вообще не религия. Но между восточным христианством и индуизмом есть много общего. Вспомним традицию умной молитвы безмолвия и обожения в Православии... Есть и существенные различия... Но намой взгляд — это два крыла одной птицы. Здесь действует принцип дополнительности, а не взаимоисключения. Думаю, что можно сочетать православие и путь метафизической реализации, а не выбирать что-то одно...

Наконец, у нас вы получите глубокое представление о том, в каком отношении находится Россия к Востоку, особенно к Индии, этой нашей прародине, о нашем духовном родстве...

Возникло еще несколько вопросов, ясных, темных, прорезывающих душу и уводящих... Такие же волны отрешенности и любви сопровождали ответы.

— Вам от многого нужно будет отказаться, многое трансформировать, но во имя большего, — сказал в заключение Кирилл. — Итак, мы договорились. Теперь вы вступаете в новую жизнь. Начнется работа и нужна дисциплина, не только вдохновение...

Все встали, прощаясь.

— А как же Саша? — внезапно спросил Олег на самом пороге.

— О Саше забудьте, — еле уловимая улыбка тронула губы Кирилла. — Его как бы нет.

ЭПИЛОГ.

Спустя несколько дней после этой встречи у Леснева черная весть разнеслась по неофициальной Москве. Еще не затихли волнения, связанные с выставкой Глеба Луканова: оказалось, что все не так просто, и кому-то из официальных комсомольских защитников этой «полулегальной» выставки здорово пошло... И вдруг известие: убит Андрей Крупаев, владелец одной из лучших подпольных библиотек в Москве. Ведется следствие...

По-особому эта весть о смерти поразила Валию Муромцева. Вспомнил недавние ночные звонки Андрея и его слова о том, что случилось нечто ужасное. Последнее вероятней всего относилось к истории любви Андрея к собственной мачехе — неожиданной, ошеломляющей любви, — которая не принесла ему ничего, кроме страдания. Андрей ушел и от своей жены Зины, и от любимой мачехи, и от отца, и звонил тогда Муромцеву словно из тьмы одиночества — он даже переехал куда-то на край Москвы... И еще тревожило Муромцева само существование потаенной библиотеки Андрея — была ведь она не только богословской, но и много непонятных и редких книг, даже рукописей, было скрыто там, а некоторые из них расходились в разных направлениях: Крупаев был связан с черным книжным рынком чуть ли не по всему Советскому Союзу. И знал еще Муромцев, что теперь уже не достать ему ту книжечку по древней магии, которую обещал дать ему на прочтение Андрей: продавать он ее никому не хотел.

Муромцев заехал в до боли знакомый деревянный домик на Плющихе к Зине — была она подавлена, и не в слезах даже; промолвила, что убийство связано с книжным рынком — разного рода полууголовные посредники часто кружи-

лись вокруг ценных книг. И что следствие усиленно подвигается в этом направлении. Потом она сказала, что, согласно семейным преданиям, смерть Андрея точно в этом возрасте, — через месяц ему должно было исполниться тридцать семь лет — была предсказана цыганкой, когда Андрей был еще ребенком. И этот груз — потихонечку, тайно — с тех пор висел на нем, убийство не имеет отношения к истории его жуткой, нелепой любви; нет, все темные слухи о его библиотеке — только слухи; библиотека в сохранности, и она — законная владелица теперь; но никому никаких книг она не продаст — у нее есть свои планы относительно этого. А Андрей, мол, лежал в гробу помолодевший — царствие ему Небесное! — но строгий, очень строгий, как будто хотел оттуда выпрыгнуть и кричать. И мы все там будем, слава Богу — но без подспудного желания выпрыгивать оттуда.

Так говорила Зина, сидя у окна за чаем. В руках у нее была тряпка. Версия о книжниках-уголовниках была, по мнению Муромцева, очень близка к истине — по ряду дополнительных сведений о последних днях Андрея, и о его запутанных отношениях с некоторыми мрачноватыми парнями из этого мира. Но Муромцева поразила не причина убийства, а скорее подтекст, движение невидимой кармы, дикая любовь к мачехе (для отца, бывшего лагерника, она была последней опорой), запретные странные книги, и сама полутемная провальная личность Андрея — то впадающая в истерику, то уходящая во тьму. И в глазах стоял этот ребенок, мальчик, которому цыганка предсказала по руке, что он умрет в 37 лет. И он умер. (Детскую фотографию Андрея — как раз того года, когда его увидела цыганка — Зина поставила на стол.)

...Валя был не в силах долго сидеть рядом с Зиной. Ему почему-то показалось, что смерть — совсем не то, что о ней сказано во всех традициях, а гораздо хуже... Но в каком смысле хуже он не мог определить и провидеть, и тогда наоборот, выплывало странное представление, что смерть — чепуха...

Беспокойный, он ушел на улицу, в московский круговорот.

Но смерть Андрея выхревым клубком прошла по душам близко знавших его и надолго оставила след.

«Улетаем... улетаем... улетаем», — шептала Верочка Тимофеева.

«Не улетим», — отвечали ей.

Даже танец Смолина уже не напоминал теперь пляску Мефистофеля, и сам Ларион основательно поблек. Валя советовал ему перейти к психоанализу мертвых.

Только бедный Глеб Луканов ничего не понимал, настолько вдруг поразило его отсутствие Кати Корниловой вокруг себя. Однако ж, к удивлению всех, он нашелся и женился на простой, редкостного добродушия, девушке, которой жаловался на свою непонятную царевну.

«Ведь кого... предпочла... Вместо меня... Кого?! Полутруп. Вот что обидно!» — кричал он.

А потом обычно то молчал, то говорил, обливаясь слезами: «Не полутруп, а душу живую, у ворот смерти стоящую! Вот кого она полюбила — не полутруп, а душу бесконечную!» И его скромная подруга утешала его.

А златокудрая царевна осталась одна — ибо хотела сейчас быть в одиночестве...

Вскоре, холодным пасмурным днем у Семеновых собралась небольшая компания друзей-неконформистов. Тени неофициальной выставки Глеба и убийства Андрея еще лежали на них. И все это приумножали различные слухи, предчувствия, настроения. А тут еще на днях шумно наскандалил все тот же неуравновешенный поэт — Леня Терехов.

За круглым столом — в темной квартире Семеновых, при свечах — сидели: хозяин с женой, Валя Муромцев, Светлана Волгина, Толя Демин с Любой, и четверо начинающих...

— Возможно ли жить? — спросил один из новичков, поэт, поставив бокал на стол. — После всего, что произошло в XX веке в мире.

— А я скажу: немислимо все время жить в подполье! — вдруг начала Вика Семенова. — Выставки, чтения, создание произведений — все в подполье! Когда

же это кончится?! Когда?! Когда Россия будет жить нормальной жизнью?! А должен же великий народ, давший Рублева и Достоевского, иметь хотя бы право на мысль, просто на мысль?! Я же не говорю об изменении политического строя, мы все здесь вне политики — я просто спрашиваю, когда наступит нормальная жизнь? Когда можно будет, например, спокойно молиться или публиковать свои стихи? Пусть они в цензуре, тем более политической. Как было в девятнадцатом веке, когда все наши великие писатели печатались дома, а не в самиздате? Немыслимо, чтобы писатель, который не касается никакой политики, не имел бы возможности печататься на Родине, только потому, что, например, его стиль не совсем обычен?! И так далее, и так далее! Тысячи других примеров! Когда нам возвратят право на веру и культуру?! И почему мы должны так страдать!? И как можно создать культуру, достойную нашей прошлой, если существуют такие дикие, нелепые, ничем не объяснимые ограничения?! Как можно опубликовать, например, современную вещь при таких отвратительных ограничениях, если она, предположим, на уровне Достоевского, где все закручено на парадоксах, страстях, вере, обнаженности. Это значит, у нас будет только второстепенная культура?! Это чудовищно!... Ведь все настоящее создается в мучениях, в боли, в судорогах преувеличений, в свободе дойти до конца... а тут циркуляры!

Ее перебил Гена Семенов.

— О, Господи, да не кричи так! Я тебе скажу, когда будет нормальная жизнь. Это будет, когда свыше — те, кто отвечает за искусство — поумнеют и освободятся от догм. Когда поймут, например, что даже от самого странного романа не будет никакого «вреда», если его издать небольшим тиражом — тем более в самиздате такая вещь циркулировала бы с большей силой... Зато этот «странный роман» может прозвучать — рано или поздно — как слава нашей культуры, как второй «Мастер и Маргарита»! Вот тогда все изменится. Будет возможно публиковаться. Этот поворот должен быть сделан ради русской культуры в конце концов!

— Ну и картину ты нарисовал! — вздохнула Светлана Волгина.

— Не дай Бог, чтоб так было! — вдруг громко сказал Муромцев.

Все ошеломленно поглядели на него.

— Удивлены? Захотелось премий, публикаций, речей, поездок за границу?! А я скажу — все это ерунда! Ограниченная свобода, полная свобода, при цензуре, без цензуры — жалкий лепет все это! Все равно контроль — в разных формах — всюду сейчас существует. Подлинно великое искусство — при жуткой ситуации двадцатого века — может существовать только в подполье! Мы должны целовать властям руки за то, что они нас не печатают. Только в глубинном и полном подполье, при занавешенных шторах, рождается свобода познания и независимость; и даже больше — в этой уникальной ситуации, со всем ее бредом, отчаянием и уходом от всего внешнего — может родиться действительно необычайная невероятная литература, которой еще никогда не было на земле. Литература, достойная России! Достойная Достоевского, его стремления к крайностям — пусть, она будет чудовищной на первый взгляд!... Из глубины последней бездны должна она выйти!... Так родились «Мастер и Маргарита», «Котлован» Платонова, Цветаева. Но это только начало. В такой ситуации — невиданной до сих пор — должна родиться литература конца мира — в пропасти своей доходящая до предела человеческих и нечеловеческих возможностей. Неужели вы соблазнитесь всей этой химерой и идиотизмом современного общества — всеми этими сфабрикованными знаменитостями и потоками печатной благоглупости! Ведь взамен этого — участие в невиданной культуре, создаваемой в подполье! Где нет никаких хозяев! Где одна тьма и свобода!

Его речь возбудила всех до невероятности: некоторые повскакали с мест, кто-то кричал: «Да, да, да!» Демин покраснел и ходил взад и вперед по комнате. Кто-то истерически смеялся. Гена же Семенов сидел немного смущенный.

Поэт-новичок пытался возражать:

— Но в самиздате так много художественно неважного!

— Конечно! — холодно ответили ему. — Это есть везде, тем более при таких обстоятельствах. Мы не говорим об отходах. Пусть будет немного подлинных...

— И они уже есть! — прервала Люба Демина. — Они есть! Просто они пока не на поверхности! И мир их не знает!

— Хорошо, — спросила вдруг Вика Семенова, — но почему официальная свобода в искусстве так уж плоха, чем это может повредить?

Муромцев, казалось, не смотрел на говорящих. Его руки слегка дрожали от возбуждения.

— Да поймите же вы, что я имею в виду не столько социальную сторону, сколько психологическую и философскую, — начал он опять. — Например, человек слаб, и весь этот фимиам официоза, истаблишмент — неважно где: у нас или на Западе — неуловимо и подспудно меняет сознание. Что-то происходит, захлопывается какая-то дверца, и наступает — пародия на золотой сон. Как будто бы нет: мозг писателя работает, он открывает, пишет — но вот самая потайная и невидимая дверца захлопывается. Та дверца, которая ведет в подлинную гениальность, а не в причесанную талантливость... Не то у нас, в бесконечности, в подполье: эта потайная дверца открыта. Что врывается тогда в сознание творца? То последнее, что может сделать русскую литературу сокровищем конца мира... Человек — это один из центров парадоксов, а русский человек тем более! Вот он — источник! Я чувствую, что мы можем сказать слишком многое, слишком многое... Но пусть! Нам ли бояться дыхания Бездны? Нам ли, которые — впервые в истории — были лишены, в детстве, даже веры в Бога! Это ведь самая лучшая — и самая страшная — проверка! И что с нами было потом? Сам Бог, который внутри нас, прошел испытание абсолютной смертью, к которой Ему невозможно прикоснуться иным путем... Это чудовищно. Это должно породить взрыв. Сам Бог, который прошел в нас опыт отрицания Самого Себя, будет с нами! Он присутствует здесь... А мы, мы!?!.. Ведь принужденные, сначала в юности, до обращения, быть «атеистами», — мы познавали своё высшее бессмертное Я как обреченное на гибель!!! Можно ли было вынести такой разрыв, такое противоречие, такое безумие!?? А ведь это только одна сторона нашего пути! Кроме того, мы стоим лицом к лицу с реальностью, которая видится только при мировом распаде!

Опять все задвигались, повскакали, кто-то вдруг подошел и поцеловал Муромцеву ручку. Светлана Волгина даже чуть-чуть поклонилась ему, как будто ей так уж хотелось заглянуть в реальность, «которая видится только при мировом распаде».

Но такой восторг не мог длиться долго. И после всех криков, споров, восклицаний, ужасов — через полчаса — все как-то понемногу улеглось. Опять расселись за неизменный семеновский круглый стол, горели свечи, и темно было в углах, как в пирамидах.

— Задел, Валя, признаюсь, — усмехнулся Гена Семенов. — Конечно, слишком уж в полете... Но какая-то большая доля истины, черт возьми, в этом есть. Думаю, что прав и ты и я: если все будет благополучно, большинство пойдут тем путем, о котором говорил я, но некоторые — твоим. Одно не исключает другое.

— Но меня убивает, — сказала одна молоденькая девушка, начинающая подпольная поэтесса, — что впереди у нас много страданий!

— Сама Россия — великая страдальца и мученица, — возразила Светлана. — И мы должны разделить ее путь. Но это великая и страшная радость! Страдание и радость — неотделимы! А безнадежных ситуаций нет.

— А я вот что скажу, ребята, — возвысил голос Демин. — Уже из другой оперы. Хотя это и известно, но я все-таки повторю. Если говорить о множестве простых русских людей, которые еще не вернулись к вере, думаю, что атеизм — вот скрытая причина их внутренних страданий. Вот кому надо помочь! Русский человек не может жить без великой веры. Ему трудно перенести собственный смертный приговор. Атеизм противопозаказан русской душе, для нее он равносителен самоубийству. Он действует совершенно разрушающе на русских людей, хотя они могут и не осознавать этого. Русский человек должен во что-то верить,

причем ему нужна живая вера, а не ее суррогат. Если ее нет — начинается страшное, прогрессирующее и сейчас с каждым годом опасно разрастающееся разложение всего и вся, всех основ души, и отсюда все остальное. Люди задыхаются в этой клетке. Тем более вера в земной рай пропала. Это может кончиться кошмаром, моральным разложением, бунтом, отчаянием, вечным запоем... Я так чувствую, я говорил с простыми людьми, я ощущаю их изнутри. Но нужна подлинная, великая живая вера, а не тусклое лопотание...

— Да, но как помочь?!

— И еще, — продолжал Демин, — одной веры, даже самой подлинной, мало. Нужно еще что-то — я имею в виду духовную сферу...

Муромцев быстро взглянул на Демина.

— Ах, Толя, Толя!.. Все это слишком важно. Давайте обсудим это в другой раз, в более спокойной обстановке.

— А сейчас, может быть, выпьем за Валю, — сказал Поэт.

— И за Россию!

— И за русскую литературу!

— И за вечную жизнь!

Вечер закончился бурным, вдохновенным, сияющим порывом; смеялись, пели, что-то рассказывали и говорили, как всегда, но все это было пронизано лучами надежд и озарений. Только иногда они гасли, сменялись взрывами мрака и хохота. Тогда звучали шутки и анекдоты о конце мира.

Муромцев уезжал домой, упоенный. Земной мрак уже не казался ему мраком, и непонятный, таинственный, неугасающий огонь славы — его славы — жег его изнутри. Это не было слабостью, тщеславием, нет, это было странное, непреодолимое выделение себя из хаоса и стройности мира — выделение, идущее изнутри или не от мира сего. Кто же он, и что ему суждено?

На горизонте горел закат, но тучи на темном небе были бледны и еле видны. «Все мы вместе — и что будет? — и пусть этот мир стоит всегда — как парадокс — на грани невысказанного», — думал он, ужасаясь себе...

В этот же день Леша Закаулов выходил из каморки, где жил теперь Виктор Пахомов, глаза которого становились все больше и больше, а сам он неподвижной. Леша уже не пил, он вообще последнее время бросил пить, но был на грани полного забвения. Образ Светланы то падал на него с неба, то появлялся в сердце, то обвивал душу своей уходящей в века русой косой, то уводил... но куда? Или дальше, захватывающее душу пение слышалось из пространства и возникали слезы. И опять захватывало сердце от любви, добра и красоты. И странно было жить таким на земле.

В конце концов Леша почувствовал желание остановиться. Это длилось уже долго, и многое зависело от того, в какую сторону повернется очередной наплыв. И что будет в будущем. Сейчас ему нужно было чуть-чуть отойти: иначе нельзя было оставаться на земле. Он тяжело вздохнул и поехал навестить Зину: он, как и Муромцев, хорошо знал Крупаева. Опять возник маленький деревянный домик, где жила задохнувшаяся от горя и забот Зина. И огромная библиотека, еле вмещающаяся в комнатах. И двенадцатилетний ребенок, сын Андрея — и его крик. Этот крик и заставил Лешу на время позабыть образ Светланы. Это было, как шок. Почему мальчик так кричал? Ему ведь не сказали о смерти отца? В этом крике было что-то невозможное, так плачут не от горя, а потому, что сходят с ума. Или не хотят жить.

Не слышать бы ему этого крика. Да и что значит крик ребенка в этом огромном, чудовищном мире, где звезды — проекции богов?

Леша не долго оставался в этом доме. Он вышел на улицу. «Мальчик будет спасен, спасен!» — вдруг ясная молния-мысль озарила его. Кто спасен? И что здесь значит — быть спасенным?

И внезапно потоки света стали входить в его сознание. И в этих потоках он увидел картины. То были невероятные пляшущие фигурки — «богов» или «сущест» — и все они уходили далеко, далеко... Целые караваны живых «символов». Может быть, то были знаки из миров, в которых пребывала его душа до вопло-

щения на земле. А потом свет сменился мраком — тяжелым и беспросветным. Но снова возник свет. Это было, как мигание глаз Браммы: то рождение, то смерть, то свет, то тьма. Но вдруг мрак стал живым, и в нем можно было провидеть, Алеша твердо знал, что он не сошел с ума и что это не галлюцинации: ум его был холоден, и сознание оставалось прежним. Он мог контролировать себя и знал признаки: это были «видения», те самые, о которых он читал в книгах и знал из истории. Но тьма была живая, и Леша (он заметил, что спокойно сидит в саду, на одинокой скамейке) попытался проникнуть в нее. Внезапно ужас охватил его. На этот раз не перед собственной судьбой, а за то, что любимо. Что будет? Что будет? Кто стоит за судьбами людей и народов и толкает их в пропасть? Кто так подшутил над людьми двадцатого века? Кто внушил им все это? И что могут сделать люди? И почему все рухнет? Сможет ли выскочить из этих сетей человеческий род? И сделать мир другим? Или все безнадежно, и необратимая ночь, прерываемая кровавыми взрывами, покроеет мир? Тогда лучше вмешательство Бога: конец этому миру, скорей конец всему.

Он сам не ожидал, что будет об этом думать. Ведь, если он посвятит себя Богу, он сможет уйти из этого кошмара в Вечность, во внутреннюю келью, в Божественное Я — туда в неземные и вечные сферы, где любые взрывы всех планет вместе взятых, не более чем чирканье спичкой или шутка ребенка. Но как же тогда то, что любишь на земле? Неужели бросить... Сердце его разрывалось между желанием Вечности и любовью... И тогда из тьмы раздался непонятный и далекий голос. В нем не было ничего зловещего. И снова возник свет. Но голос продолжал звучать. Ты ищешь вечного? И ты любишь кроме той женщины что-то еще здесь, в этом мире? Ты думаешь, я не знаю, «что»? Сказать?! Почему ты плачешь? Найди первообраз его, и это приведет тебя к источнику. Ничто не может быть потеряно. Запомни: то, что ты сейчас любишь — отражение того, что хранится Там, в Вечности. Но оно сокрыто от глаз смертных, и на него наброшен покров, как на сокровенную и высшую Тайну. Но если когда-нибудь после многих смертей и рождений ты станешь величайшим Учителем, ты увидишь Там, в пламени Вечности, то, что ты любишь сейчас — и познаешь Его.

А пока ты не можешь этого сделать. Тогда по крайней мере защищай на земле то, что ты любишь...

И запомни, если то, что вы называете Россией, исчезнет с земли, этот мир станет пустыней для вас...

Голос замолк.

А потом возникла еще одна картина. То было его земное будущее, но закрытое пеленой света, и почти ничего нельзя было различить. И он почувствовал, кто-то шепчет ему: «Ну что ж, попробуй совершить что-нибудь здесь. Сейчас твое будущее — игра возможностей и нет ничего для тебя, для твоего виденья, абсолютно предрешиленного. Совершай и не ошибись».

И потом все исчезло, и только поток сияющей радости поднял его сознание куда-то вверх.

На следующий день Леша, спокойный и улыбающийся, позвонил Светлане и сказал, что хочет с ней встретиться и поговорить. О чем?

Было утро. Опьяняющее утро над Москвой. Но большинство людей еще спало.

Нью-Йорк. Итака. 1981 — 1983.

Ольга СЕДАКОВА

КИТАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Родилась в Москве, окончила филологический факультет МГУ в 1973 году. Кандидат наук, специалист по древнеславянской литературе. Первый поэтический сборник на русском языке вышел в 1986 году в парижском издательства «ИМСА-press». Стихи О.Седаковой переведены на многие европейские языки. На родине же, где поэтесса и живет, они известны лишь по подборке в журнале «Дружба народов».

«Китайское путешествие» — цикл стихов, навеянный воспоминаниями о детстве, часть которого прошла в Китае.

* * *

И меня удивило:
как спокойны воды
как знакомо небо
как медленно плывет джонка в каменных берегах.

Родина! вскрикнуло сердце при виде ивы:
такие ивы в Китае
смывающие свой овал с великой охотой
ибо только наша щедрость
встретит нас за гробом.

* * *

Пруд говорит:
были бы у меня руки и голос
как бы я любил тебя, как лелеял.
люди, знаешь, жадны и всегда болеют
и рвут чужую одежду
себе на повязки.
мне же ничего не нужно:
ведь нежность — это выздоровленье.
положил бы я тебе руки на колени
как комнатная зверушка
и спускался сверху
голосом как небо.

* * *

Крыши поднятые по краям как удивленные брови:
что вы? неужели? рад сердечно!
террасы, с которых вечно
видно все что мило видеть человеку:
сухие берега серебряные, желтоватые реки
кустов неровное письмо —
любовная записка —
двое прохожих низко

кланяются друг другу
 на понтонном мосту
 и ласточка на чайной ложке
 подносит высоту:
 сердечные капли, целебный настой.
 впрочем, в Китае никто не болеет:
 небо умеет
 вовремя ударить длинной иглой.

* * *

Несчастен кто беседует с гостем и думает о завтрашнем деле
 несчастен кто делает дело и думает, что он его делает
 а не воздух и луч им водят как кисточкой бабочкой пчелой
 кто берет аккорд и думает каким будет второй —
 несчастен боязливый и скупой.

И еще несчастней кто не прощает:
 он, безумный, не знает
 как аист ручной из кустов выступает
 как шар золотой сам собой взлетает
 в милое небо над милой землей.

* * *

Неужели и мы как все как все расстанемся?
 знающие кое-что
 о страсти быстрее конца
 знающие кое-что
 о мире меньше гроша —
 пусть берут, кому нужен —
 знающие что эта раковина — без жемчужин
 что нет ни единой спички свечки плошки
 кроме огня восхищенья
 знающие откуда приходят
 звучанье и свеченье —
 неужели мы расстанемся, как простые невежды?

Не меньше чем ивы
 вырастать у воды
 не меньше чем воды
 следовать за магнитом звезды
 чем пьяный Ли Бо заглядывать
 в желтое как луна вино
 и чем камень опускаться на дно
 любящие быть вместе —
 неужели мы расстанемся как простые скупцы и грубияны?

* * *

По белому пути по холодному звездному облаку
 говорят, они ушли и мы уйдем когда-то:
 с камня на камень перебрывая воду
 с планеты на планету перебрывая разлуку
 как поющий голос с ноты на ноту.
 там все, говорят, и встретятся
 убеленные млечной дорогой.
 сколько раз — покаюсь — к запрещенному порогу
 подходило сердце сколько стучало
 обещая неведомо кому:
 никто меня не ищет никто не огорчится
 не попросит: останься со мною!..
 о, не от горя земного так чудно за дверью земною
 а потому что не хочется не хочется своего согрешенья
 потому что пора идти
 просить за все прощенья
 ведь никто не проживет
 без этого хлеба сиянья.
 пора идти туда
 где всё из состраданья.

* * *

Знаете ли вы
 карликовые сосны, плакучие ивы?
 Отвязанная лодка
 недолго тычется в берег
 и ни радость того что бывало
 и ни жалость: все мы сегодня здесь,
 а завтра кто скажет?
 и ни разум: одни только духи безупречны,
 скромны, бесстрашны и милосердны —
 простого восхищенья
 ничто не остановит
 простого восхищенья
 заходящего как солнце.
 отвязанная лодка
 плывет не размышляя
 обломанная ветка
 прирастет, да не под этим небом.

* * *

Лодка летит
 по нижней влажной лазури
 небо быстро темнеет
 и глазами другого сапфира глядит.
 знаешь что? мне никто никогда не верил
 как ребенок ребенку
 умирая от собственной смелости

сообщает: «...да, а потом зарыли
под третьей сосной...»
так и я скажу:
мне никто никогда не верил
и ты не поверишь
только никому не рассказывай
пока лодка летит, солнце светит
и в сапфире играет небесная радость.

* * *

С нежностью и глубиной —
ибо только нежность глубока
только глубина обладает нежностью —
в тысяче лиц я узнаю
кто ее видел на кого поглядела
из каменных вещей как из стеклянных
нежная глубина и глубокая нежность.

Так зажигайся
теплый светильник запада
фонарь, капкан мотыльков
поговори еще с нашим светом домашним
солнце нежности и глубины
солнце покидающее землю
первое последнее солнце.

* * *

Велик рисовальщик не знающий долга
кроме долга играющей кисти
и кисть его проникает в сердце гор
проникает в счастье листьев
одним ударом одною кротостью
восхищеньем смущеньем одним
он проникает в само бессмертье
и бессмертье играет с ним.
Но тот кого покидает дух
от кого отводят луч
кто десятый раз на мутном месте ищет чистый ключ
кто выпал из руки чудес
но не скажет: пусты чудеса! —
перед ним с почтением
склоняются небеса.

ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ

Был уже, должно быть, поздний вечер, когда на улицах показались впервые подразделения, прибывшие из Валенсии. Это была штурмовая гвардия, соединение подобное гражданской гвардии и карабинерам (то есть, предназначенное прежде всего для несения полицейской службы) — отборные части республиканской армии. Войска появились внезапно, будто выросли из-под земли. На всех улицах появились патрули — группы по десять человек, рослые солдаты в серых или голубых мундирах, с длинными винтовками за плечами. Каждая десятка имела один автомат. А нам предстояло выполнить деликатную работу. Шесть винтовок, которыми были вооружены наши часовые, все еще оставались на крыше обсерватории. Необходимо было любой ценой вернуть их обратно в здание Р.О.У.М., то есть, всего навсего перенести через улицу. Но это значило нарушить приказ правительства. Если бы нас поймали с винтовками, то, конечно, арестовали бы, а главное — конфисковали бы оружие. Имея в здании всего двадцать одну винтовку, мы не имели права рисковать потерей шести. После долгого спора, как это сделать, было решено, что я и рыжий испанский мальчишка начнем незаметно выносить оружие. Мы сняли пиджаки и повесили винтовки на левое плечо — приклад подмышкой, а дуло просунули в штанину брюк. К несчастью, это были длинные винтовки «Маузер», и даже человек моего роста не может безнаказанно засунуть дуло «Маузера» в штанину. Спуск по винтовой лестнице обсерватории с негнувшейся левой ногой был настоящей мукой. Выйдя на улицу, мы убедились, что способны передвигаться только очень медленно, так медленно, чтобы не приходилось сгибать ноги в колене. Кучка людей, собравшаяся возле кинотеатра, с любопытством глядела, как я полз черепешьим шагом. Позднее я не раз задумывался о том, что эти люди говорили обо мне. Видимо, решили, что я ранен на войне. Во всяком случае, все винтовки были благополучно перенесены на место.

На следующий день все улицы кишели штурмовой гвардией. Гвардейцы ходили как победители. Не было сомнения, что правительство хочет продемонстрировать свою силу населению, отлично сознавая и без того, что народ не будет сопротивляться. Если бы существовала реальная опасность новой вспышки беспорядков, то гвардейцев держали бы в казармах, а не рассеяли по всему городу маленькими группками. Это были великолепные солдаты — лучше их я в Испании не видел, — и хотя в определенном смысле это были «враги», один их вид доставлял мне удовольствие, к которому примешивалось изумление. Я привык на Арагонском фронте к обтрепанному, плохо вооруженному ополчению, и мне было невдомек, что республика имеет такие войска, как штурмовая гвардия. Это были крепкие, как на подбор, парни, и все они ходили с новенькими «русскими винтовками» (эти винтовки прибыли в Испанию из СССР, но делали их, насколько мне известно, в Америке). Я осмотрел одну такую винтовку. Это было не идеальное оружие, но его нельзя было сравнивать с кошмарными мушкетами, из которых мы стреляли. Каждый из «штурмовиков» имел автоматический пистолет, а на каждую десятку приходился один автомат. У нас на фронте один автомат приходился на пятьдесят человек, а пистолеты или револьверы можно было достать только незаконным путем. Гражданская гвардия и карабинеры, которые не предназначались для отправки на фронт, были вооружены и одеты значительно лучше, чем мы. Я подозреваю, что так ведется на всех войнах — всегда та же разница между элегантной полицией в тылу и оборванными фронтовиками на передовой. После одного или двух дней штурмовая гвардия начала отлич-

по ладить с местным населением. Небольшие потасовки имели место только в первый день, когда некоторые «штурмовики», действуя, как я думаю, по инструкции, спровоцировали несколько столкновений. Они врываются в трамваи, обыскивали пассажиров, а найдя профсоюзный билет С.Н.Т., рвали его и топтали ногами. Это привело к стычкам с вооруженными анархистами. Один или двое были убиты. Но очень скоро «штурмовики» перестали вести себя с высокомерием завоевателей, и отношения с населением стали более дружескими. Через день или два у большинства из них появились девушки.

Бои в Барселоне дали валенсийскому правительству долгожданный предлог для усиления своей власти в Каталонии. Шла подготовка к роспуску рабочего ополчения и включению ополченцев в Народную армию. Над Барселоной реяло республиканское знамя. Я увидел его, как мне кажется, в первый раз — если на считать фашистских окопов. В рабочих кварталах разбирали баррикады, но, как известно, баррикаду гораздо легче построить, чем возратить камни на место. Было разрешено оставить баррикады возле домов P.S.U.C., и многие из них оставались там вплоть до июня. Гвардейцы по-прежнему занимали стратегические пункты. В посещениях С.Н.Т. было конфисковано большое количество оружия, хотя не сомневаюсь, что много удалось скрыть. Газета «La Batalla» все еще выходила, но в результате вмешательства цензора, первая страница оставалась почти целиком белой. Газеты P.S.U.C. выходили без всякой цензуры и печатали пламенные статьи с призывами запретить P.O.U.M., который был объявлен замаскированной фашистской организацией. Агенты P.S.U.C. распространяли карикатуру, изображавшую P.O.U.M. в виде человека, у которого под маской с эмблемой серпа и молота скрывалась отвратительная рожа, меченая свастикой. Уже была, разумеется, выработана официальная версия события в Барселоне: мятеж фашистской «пятой колонны», организованный P.O.U.M.

После окончания боев атмосфера подозрительности и враждебности, царившая в гостинице, стала еще отвратительнее. Слушая на каждом шагу вздорные обвинения, нельзя было оставаться равнодушным. Почта снова работала, и начали приходить иностранные коммунистические газеты. Они не только предвзято описывали ход боев, но и совершенно искажали факты. Думаю, что кое-кто из коммунистов, бывших свидетелями событий, приходил в смущение от объяснений, которые давали им газеты, но, конечно, коммунистам не оставалось ничего другого, как молчать. Наш приятель-коммунист снова явился как-то ко мне и спросил, не хочу ли я перейти в интернациональную бригаду.

— Но ваши газеты пишут, что я фашист. Перейдя к вам из P.O.U.M. я буду человеком подозрительным в политическом отношении, — сказал я.

— О, это не имеет значения. Ведь ты же только выполнял приказ.

Пришлось сказать ему, что после всего виденного мною, я не могу служить в части, контролируемой коммунистами. Это значило бы, что меня рано или поздно заставили бы выступить против испанского рабочего класса. Ведь то, что произошло, может повториться и впредь. В таком случае, если мне придется стрелять, я предпочту стрелять не в рабочий класс, а в его врагов. Приятель-коммунист отнесся к моим словам с пониманием. Но обстановка в стране менялась. Уже нельзя было, как раньше, «достигнув соглашения о разногласиях», выпивать с человеком, который был вашим политическим оппонентом. В холле гостиницы произошло несколько острых и безобразных стычек. Тюрьмы уже были битком набиты. Когда бои кончились, анархисты отпустили всех пленных, но гражданская гвардия этого не сделала. Более того, многих пленных бросили в тюрьму и держали там без суда долгие месяцы. Полиция без конца ошибалась и арестовывала многих совершенно невинных людей. Я упомянул раньше, что Дуглас Томпсон был ранен примерно в начале апреля. Потом мы потеряли его из виду, что обычно случается с ранеными, так как их часто перевозили из одного госпиталя в другой. Из госпиталя в Таррагоне Томпсона отослали в Барселону, и он приехал в город как раз к началу боев. Когда я встретил Томпсона во вторник утром, он, ошеломленный раздававшимися со всех сторон выстрелами, задал вопрос, который в то утра задавали все:

— В чем дело?

Я объяснил ему как умел. Томпсон сразу же решил:

— Я буду держаться в стороне от всего этого. Моя рука еще не зажила. Пойду в гостиницу и пережду.

Он пошел в гостиницу, но к несчастью (как важно во время уличных боев знать местную географию) его гостиница находилась в той части города, которую контролировала гражданская гвардия. В гостиницу пришли с обыском. Томпсона арестовали и посадили в камеру, где было столько народу, что негде было лечь. Продержали его там восемь дней. Таких случаев было много. Иностранцы с сомнительным политическим прошлым скрывались, разыскиваемые полицией, живя в постоянном страхе доноса. Особенно туго приходилось итальянцам и немцам, не имевшим паспортов и преследуемым, как правило, секретной полицией своих собственных стран. В случае ареста их могли выслать во Францию, что сопряжено было с возможностью выдачи Италии или Германии, где их, вероятнее всего, ожидали всякие ужасы. Некоторые иностранки быстро нашли выход из положения, «выйдя замуж» фиктивным браком за испанцев. Девушка-немка, не имевшая документов, спаслась от полиции, изображая в течение нескольких дней любовницу одного из своих знакомых. Помню выражение стыда и смущения на ее лице, когда случайно зайдя к этому человеку, я увидел, как она выходит из его спальни. Она, конечно, не была его любовницей, но, видимо, думала, что я за таковую ее принял. Все это время нас не оставляло отвратительное чувство, что какой-либо бывший друг может вдруг пойти с доносом в полицию. Длинные бессонные ночи, стрельба, крики, недоедание, напряжение и скука караулов на крыше, когда каждую минуту можно было получить пулю в лоб или быть готовым стрелять самому, вконец расшатали мои нервы. Дошло до того, что я хватался за пистолет всякий раз, когда где-то хлопала дверь. В субботу утром с улицы вдруг послышались выстрелы, и все закричали: «Снова началось!» Я выскочил на улицу и обнаружил, что несколько «штурмовиков» пытаются пристрелить бешеную собаку. Никто из побывавших в те дни в Барселоне или навестивших город даже месяцы спустя, не забудет кошмарную атмосферу: страхи, подозрения, ненависть, газетная цензура, переполненные тюрьмы, бесконечные очереди за продуктами, рыскающие повсюду банды вооруженных людей.

Я попытался передать, что чувствовал человек, оказавшийся в Барселоне во время уличных боев. Боюсь, однако, что мне не удалось дать представление о том, насколько странно и дико было все происходившее. Возвращаясь памятью к событиям того времени, я вижу перед собой случайных встречных, не принимавших участия в боях; им события, должно быть, представлялись бессмысленной возней. Помню модно одетую даму с корзиной для покупок, переброшенной через руку. За дамой шел на поводке белый пудель. Увидев ее на Рамблас, я решил, что она глуха, если не слышит стрельбы на соседней улице. Вот перед моими глазами встает образ мужчины, бегущего по совершенно пустой Plaza de Catalunya, размахивая двумя белыми платками — по одному в каждой руке. А вот большая группа людей в черном, которые целый час напрасно пытались перейти площадь. Стоило им только показаться из-за угла, как пулеметчики P.S.U.C., засевающие в отеле «Колон», открывали огонь и загоняли людей в черном обратно за угол, хотя было ясно, что они безоружны. Думаю, это была похоронная процессия. Вспоминая маленького старичка, сторожа музея над кино «Полиорам», видевшего в нас гостей, явившихся к нему со светским визитом. — Очень рад приветствовать у себя англичан, они такие «симпатико», — сообщил сторож и очень просил снова навестить его, когда все это кончится. Я, кстати, исполнил свое обещание. И другой старичок, стоявший в подворотне и добродушно кивавший в сторону Plaza de Catalunya, обстреливаемую со всех сторон. «Снова девятнадцатое июля», — заметил старичок так, будто речь шла о погоде. Я трижды посетил сапожную мастерскую, где заказал ботинки: я побывал там до начала боев, после их окончания и во время короткого перемирия 5 мая. Это была дорогая мастерская, и работали там члены профсоюза U.G.T., а возможно и P.S.U.C. Во всяком случае они в политике были по другую сторону баррикады и знали, что я служу в ополчении P.O.U.M. Но к событиям сапожники относились совершенно

равнодушно. «И зачем все это нужно? К тому же и делам помеха. Хоть бы кончилось поскорее. Неужели им мало стрельбы на фронте?» — говорили они. Было много людей, — возможно, большинство жителей Барселоны, — которые относились к происходящему не с большим интересом, чем, скажем, к воздушному налету.

В этой главе я рассказал лишь о своих личных переживаниях. В следующей — попробую, как смогу, изложить, что произошло в действительности, кто был прав, а кто виноват, кто нес ответственность за события. На боях в Барселоне кое-кто нашёл такой огромный политический капитал, что важно попытаться дать беспристрастную оценку событиям. На эту тему написано уже так много, что материала хватило бы на много томов. Я не преувеличу, однако, если скажу, что девять десятых всего материала не соответствует действительности. Почти все газетные статьи, освещавшие ход боев, писались журналистами, которые находились на далеком расстоянии от событий. Их статьи искажали факты, причем газетчики делали это умышленно. Как обычно, читатели могли познакомиться лишь с одной стороной событий. Как и все, кто находился в то время в Барселоне, я видел лишь то, что происходило в непосредственной близости от меня, но виденного и слышанного мною вполне достаточно для того, чтобы опровергнуть многие из распространявшихся лживых измышлений. Снова прошу читателя, если он не интересуется политической склокой между множеством партий и партиек с причудливыми названиями (вроде имен китайских генералов), — пропустить эту главу. В гущу межпартийных раздоров ныряешь, как в выгребную яму — дело это малоприятное. Но попытаться разобраться и установить истину — насколько такое вообще возможно — совершенно необходимо. То, что представляется всего лишь грязной потасовкой в далеком городе, на самом деле гораздо важнее, чем может показаться на первых взгляд.

11

Никогда нельзя уже будет получить полный, точный и беспристрастный отчет о событиях в Барселоне, ибо необходимые для этого документы больше не существуют. Будущим историкам придется использовать в качестве источников многочисленные обвинения, какими осыпали друг друга враждующие стороны, и пропагандистский материал. У меня лично тоже нет почти никаких документов, я опираюсь на то, что видел собственными глазами и слышал от заслуживающих доверия очевидцев. И тем не менее, я могу опровергнуть некоторые наиболее наглые вымыслы и представить события в некоторой перспективе.

Прежде всего, что же произошло в действительности?

В течение некоторого времени обстановка в Каталонии накалялась. В первых главах книги я рассказал о борьбе между анархистами и коммунистами. К маю 1937 года положение обострилось до такой степени, что взрыва можно было ожидать каждую минуту. Непосредственным поводом к столкновению стал правительственный декрет о сдаче всего личного оружия, совпавший с решением увеличить и до зубов вооружить «не связанную с политикой» полицию, в которую не принимались члены профсоюзов. Смысл этих действий был ясен каждому. Было также совершенно очевидно, что следующим шагом станет захват ключевых отраслей промышленности, до сих пор контролируемых С.Н.Т. Кроме того, нарастало недовольство рабочего класса шириющейся пропастью между богатыми и бедными, повсеместно чувствовалось, что революцию саботируют. Многие были приятно удивлены, когда 1 мая прошло спокойно. 3 мая правительство решило занять центральный телеграф, на котором с начала войны работали преимущественно члены С.Н.Т. Предлогом было обвинение в том, что телеграф вообще работает плохо, а к тому же подслушиваются разговоры членов правительства. Начальник полиции Салас (превысил он свои полномочия или нет, осталось неизвестным) послал три грузовика вооруженных гражданских гвардейцев для захвата здания, а улицы вокруг телеграфа оцепили вооруженные полицейские в штатском. Одновременно группы гражданских гвардейцев захватили другие здания в стратегических пунктах. Каковы бы ни были их подлин-

ные намерения, все сочли эти действия сигналом для гражданской гвардии и P.S.U.C. (коммунисты и социалисты) начать общее наступление на С.Н.Т. По городу разнесся слух, что захватывают принадлежащие профсоюзам дома, на улицах появились вооруженные анархисты, рабочие прекратили работу, и сразу же начались бои. В эту ночь и на следующее утро в городе выросли баррикады, бои не прекращались до утра 6 мая. С обеих сторон, однако, бои носили главным образом оборонительный характер. Здания осаждались, но, насколько мне известно, ни одно не было взято штурмом. Артиллерия не была введена в действие. Силы С.Н.Т. — F.A.I. — P.O.U.M. концентрировались преимущественно в рабочих кварталах, вооруженная полиция и силы P.S.U.C. держали в своих руках центральную часть города и административные здания. 6 мая обе стороны согласились на перемирие, но вскоре бои вспыхнули вновь, видимо, потому, что гражданская гвардия предприняла преждевременную попытку разоружить рабочих — членов С.Н.Т. Тем не менее, на следующее утро люди по собственному почину начали покидать баррикады. До этого времени, примерно до ночи 5 мая, верх одерживала С.Н.Т., — много гвардейцев сложило оружие. У рабочих не было, однако, ни признанного руководства, ни твердого плана, вернее, не было никакого плана, если не считать неопределенно выраженную решимость сопротивляться гражданской гвардии. Официальные руководители С.Н.Т. присоединились к призывам руководства U.G.T., — много гвардейцев сложило оружие. У рабочих не было, однако, ни признанного руководства, ни твердого плана, вернее, не было никакого плана, если не считать неопределенно выраженную решимость сопротивляться гражданской гвардии. Официальные руководители С.Н.Т. присоединились к призывам руководства U.G.T. и вместе уговаривали население вернуться на работу. Кончалось продовольствие, и в этом заключалась главная беда. В этих условиях никто не рисковал продолжать стрельбу. К вечеру 7 мая обстановка почти полностью нормализовалась. В этот вечер из Валенсии прибыли морем 6 тысяч штурмовых гвардейцев, взявших в свои руки контроль над Барселоной. Правительство издало приказ о разоружении всех нерегулярных частей. В течение нескольких следующих дней было конфисковано много оружия. По официальным сведениям, во время боев обе стороны потеряли четыреста человек убитыми и примерно тысячу ранеными. Четыреста убитых — это, пожалуй, преувеличение, но, поскольку мы проверить эту цифру не можем, приходится принять ее на веру.

Кроме того, очень трудно подытожить последствия боев. Нет доказательств, что барселонские события повлияли на положение на фронте. Но если бы бои продолжались еще несколько дней, то фронт, наверняка, почувствовал бы их последствия. Барселонские бои послужили предлогом для прямого подчинения Каталонии валенсийскому правительству в целях роспуска ополчения и для запрещения P.O.U.M. Нет сомнения, что эти бои способствовали также падению правительства Кабалальеро. Но перечисленные события были неизбежны в любом случае. Главный вопрос заключается лишь в том, выиграли или проиграли рабочие, члены С.Н.Т., выйдя на улицы с оружием в руках. Лично я считаю, что они больше выиграли, чем проиграли. Захват барселонской телефонной станции был всего лишь эпизодом в длинной цепи событий. Начиная с прошлого года профсоюзы постепенно лишались реальной власти, шло неуклонное движение от рабочего контроля к централизованному, к государственному капитализму, а, быть может, и к реставрации частного капитализма. Народное сопротивление в какой-то степени замедляло этот процесс. Через год после начала войны каталонские рабочие, успевшие утратить немалую часть своей власти, все еще находились в сравнительно выгодном положении. То есть, их положение было бы значительно хуже, если бы они показали, что готовы уступить перед лицом любой провокации. Бывают моменты, когда лучше драться и проиграть, чем вообще не вступать в драку.

С какой целью были начаты бои? Была ли это попытка совершить государственный переворот, революционный акт, уместно ли говорить о намерении свергнуть правительство? Была ли вообще какая-либо цель в этих действиях?

Лично я считаю, что обусловленность боев сводилась лишь к ощущению их неизбежности. Не было никаких видимых признаков того, что какая-либо из сторон имела заранее разработанный план. Можно сказать почти с полной уверенностью, что для анархистов события явились неожиданностью, ибо в них принимали участие главным образом рядовые члены партии. Люди низов вышли на улицу, а политические деятели либо неохотно последовали за ними, либо вообще остались дома. В революционном духе *говорили* только «Друзья Дурутти» — небольшая группа крайне левых, действовавших в рядах F.A.I. и P.O.U.M. Но и они не руководили, а шли на поводу у событий. «Друзья Дурутти» разбрасывали какую-то революционную листовку, но она появилась только 5 мая и нельзя сказать, что эта листовка стала причиной боев, ибо они начались 3 мая. Официальные руководители C.N.T. сразу же сняли с себя ответственность за эту листовку. Объясняется это целым рядом причин. Начнем с того, что C.N.T. все еще была представлена в центральном правительстве, а каталонское правительство позаботилось, чтобы руководители этого профсоюзного объединения были людьми более консервативных взглядов, чем рядовые профсоюзники. Кроме того, руководители C.N.T. стремились изо всех сил к объединению с U.G.T., а бои могли только углубить раскол. Наконец, — правда, в то время об этом мало кто знал, — анархистские лидеры боялись, что, если события зайдут слишком далеко, и рабочие захватят в свои руки власть в городе (что было вполне возможно 5 мая), произойдет иностранная интервенция. В порту стояли английские корабли — крейсер и два эсминца, а другие суда находились поблизости. Английские газеты писали, что эти корабли прибыли в Барселону, дабы «защищать британские интересы», но в действительности они и не думали этого делать, то есть, никого не высадили на берег, и не взяли на борт никаких беженцев. Прямых доказательств нет, но вполне вероятно, что английское правительство, палец о палец не ударившее, чтобы спасти республиканское правительство от Франко, сразу же окажет этому правительству помощь, если его надо будет спасать от собственного рабочего класса.

Руководители P.O.U.M. не осудили выступления рабочих, они поощряли своих сторонников оставаться на баррикадах и даже одобрили (6 мая в газете «La Batalla») экстремистскую листовку «Друзей Дурутти». (Точное содержание этой листовки неизвестно, ибо до сих пор никто не смог достать хотя бы один экземпляр). В некоторых иностранных газетах ее называли «подстрекательским листком, расклеенным по всему городу». Сопоставив несколько источников, я могу сказать, что листовка призывала, во-первых, к созданию революционного совета (хунты), во-вторых, к расстрелу всех виновных в нападении на телефонную станцию, в-третьих, к разоружению гражданской гвардии. Есть расхождения и в вопросе об одобрении листовки газетой «La Batalla». Лично я не видел ни листовки, ни газеты за 6 мая. Она была выпущена маленькой группой троцкистов («большевиков-ленинцев»). В листовке говорилось: «Все на баррикады — всеобщая забастовка на всех предприятиях, кроме военных!» Только и всего. Другими словами, она призывала сделать то, что уже было сделано. В действительности же руководители P.O.U.M. колебались. Они никогда не были сторонниками восстания вплоть до победы над Франко; но после того, как рабочие взялись за оружие, руководители P.O.U.M., доктринерски следуя марксистской схеме, гласящей, что, когда рабочие выходят на улицы, долг революционера следовать за ними, пошли за рабочими. В результате, провозглашая революционные лозунги о «пробуждении духа 19 июля», руководители P.O.U.M. делали все, чтобы ограничить действия рабочих пассивной обороной. Они, как я писал выше, приказали своим сторонникам держать оружие наготове, но стараться не открывать огонь. В «La Batalla» была напечатана инструкция, запрещающая воинским частям покидать фронт¹. Насколько я могу судить, вся ответственность P.O.U.M. состоит в том, что она призывала рабочих оставаться на баррикадах, и кое-кто

¹ В последнем номере органа Исполкома Коминтерна «Inprescor» говорится нечто прямо противоположное — будто «La Batalla» приказала частям P.O.U.M. оставить фронт! Это легко проверить, заглянув в соответствующий номер «La Batalla».

откликнулся на призыв, оставшись там дольше, чем лично этого хотел. Люди, видевшие в те дни руководителей Р.О.У.М. (мне самому видеть их не довелось), говорили, что они были в отчаянии от всего происходящего, но считали своим долгом солидаризироваться с рабочими. Само собой разумеется, что позднее на этом, как обычно, наживался политический капитал. Один из вождей Р.О.У.М. Горкин впоследствии даже говорил о «славных майских днях». С пропагандистской точки зрения это может быть и правильно. В короткое время, оставшееся до запрещения Р.О.У.М., ряды этой партии возросли. Тактически, было, пожалуй, ошибкой одобрять листовку «Друзей Дурутти», группки малочисленной и, в обычное время, враждебной Р.О.У.М. В условиях всеобщего возбуждения, когда не выбирали слов, листовка воспринималась лишь как призыв оставаться на баррикадах. Но одобрив ее, в то время, как анархистская газета «Solidaridad Obrera» листовку осудила, руководители Р.О.У.М. дали коммунистической печати предлог заявить впоследствии, что бои вспыхнули в результате восстания, организованного Р.О.У.М. Правда, нет никакого сомнения, что коммунистическая печать выступила бы с подобным заявлением в любом случае: до и после боев обе стороны швырнули друг другу в лицо и более серьезные обвинения, почти без всяких на то оснований. Руководители С.Н.Т., действовавшие более осторожно, мало что выгадали. Их похвалили за лояльность, но выжили как из центрального, так и каталонского правительства при первом же случае.

Насколько можно судить со слов окружающих людей, в то время никто не имел по-настоящему революционных планов. На баррикадах оказались простые рабочие, члены С.Н.Т., в некоторых случаях и члены U.G.T., не собиравшиеся свергать правительство, а желавшие отразить то, что они — правильно или неправильно, это вопрос другой — рассматривали, как нападение полиции. Действия рабочих были, по существу, оборонительными, и я сомневаюсь, заслуживали ли они названия «восстания», как их называли все иностранные газеты. Восстание предусматривает нападение, ведущееся по определенному плану. Это же был скорее мятеж, правда, очень кровавый мятеж, ибо обе стороны имели в руках оружие и были готовы пустить его в ход.

А другая сторона? Каковы были ее намерения? Может быть, произошел не анархистский, а коммунистический переворот? Тщательно подготовленная попытка одним ударом выбить власть из рук С.Н.Т.?

Я не верю в это, хотя имеются некоторые основания для такого подозрения. Знаменательно, что нечто подобное (захват вооруженной полицией телефонной станции) произошло два дня спустя в Таррагоне. Но и в самой Барселоне нападение на телефонную станцию не было изолированным актом. Во многих частях города отряды гвардейцев и сторожников P.S.U.C. захватили здания в стратегических пунктах, если не до начала боев, то во всяком случае с удивительным проворством. Нельзя забывать, что все это происходило в Испании, а не в Англии. Барселона — город с длинной историей уличных боев. В таких городах все происходит быстро, противник наготове, каждый знает все улицы и закоулки — поэтому, как только раздаются выстрелы, все занимают свои места, как по команде. Вероятно, люди, ответственные за атаку на телефонную станцию, ожидали беспорядков — хотя и не такого размаха — и были готовы подавить их. Но из этого, однако, не следует, что они планировали удар по С.Н.Т. Я не верю, что какая-либо из сторон готовилась к тяжелым боям, и по двум причинам:

1. Ни одна из сторон не подтянула заранее войска в Барселону. В боях участвовали лишь наличные в городе силы — гражданские и полиция.

2. Почти сразу же кончилось продовольствие. Каждый, кто служил в Испании, знает: единственное, что испанцы во время войны делают хорошо, это снабжение войск продовольствием. Кажется совершенно невероятным, чтобы та сторона, которая за неделю или две до событий могла предвидеть уличные бои и всеобщую забастовку, не запаслась заблаговременно продуктами.

Наконец, кто был прав, кто виноват?

Иностранная антифашистская печать подняла вокруг этой истории страшную шумиху, но, как обычно, выслушана была лишь одна сторона. В результате, бои в Барселоне были представлены как восстание изменников — анархистов и

троцкистов, «всадивших нож в спину республиканского правительства», и т.д. и т.п. В действительности же дело обстояло не так просто. Нет сомнения, что когда идет война со смертельным врагом, лучше избегать междоусобиц. Но следует помнить, что в ссоре участвуют не менее двух сторон, а люди не начинают строить баррикад, пока их не вынуждают к этому действия, кажущиеся им провокацией.

Действительно, волнения начались в момент издания правительственного декрета, потребовавшего, чтобы анархисты сдали оружие. Британская печать дала этому факту типично английское толкование: оружие нужно было позарез Арагонскому фронту, а анархисты, не будучи патриотами, отказались от сдачи оружия. Говорить так, значит не понимать того, что в действительности происходило в Испании. Все знали, что анархисты и P.S.U.C. увеличивают свои арсеналы. Когда в Барселоне вспыхнули бои, это стало очевидным — оказалось, что обе стороны имеют много оружия. Анархисты хорошо понимали, что если даже они сдадут оружие, то P.S.U.C., главная политическая сила в Каталонии, свое оружие сохранит (Это действительно произошло после окончания боев). А тем временем по улицам разгуливала «политически нейтральная» полиция, обвешанная снизу доверху оружием, которого так не хватало на фронте. Подоплекой всего были, однако же, непримиримые разногласия между коммунистами и анархистами, которые рано или поздно должны были привести к столкновению. За месяцы войны коммунистическая партия Испании неимоверно разрослась и захватила в свои руки значительную часть политической власти в стране. Кроме того в Испанию прибыли тысячи иностранных коммунистов, многие из которых открыто говорили о своем намерении «ликвидировать» анархизм сразу же после победы над Франко. В этих условиях вряд ли можно было ожидать от анархистов сдачи оружия, которое они захватили летом 1936 года. Захват телефонной станции был поэтому всего лишь искрой, взорвавшей пороховую бочку, стоявшую наготове. Можно даже предположить, что те, кто приказал захватить телефонную станцию, не отдавали себе отчета в последствиях этого шага. Говорят, что президент Каталонии Кампанис за несколько дней до начала боев говорил смеясь, что анархисты все проглотят. Несомненно, однако, что шаг этот был неразумным. На протяжении последних месяцев в разных районах Испании имели место вооруженные столкновения между коммунистами и анархистами. Каталония, а прежде Барселона, находилась в состоянии нервного напряжения, которое уже успело привести к уличным стычкам и убийствам. Внезапно по городу разнеслась весть, что кое-кто напал с оружием в руках на здания, захваченные рабочими в июльских уличных боях; эти здания успели стать для рабочих чем-то вроде символа. Следует кроме того помнить, что рабочие не питали особой любви к гражданской гвардии. Исполнок веков La guardia была исполнительницей воли помещика и хозяина. Гражданскую гвардию ненавидели вдвойне, ибо подозревали ее (впрочем, вполне справедливо) в сочувствии фашистам¹. Вполне возможно, что народ вышел на улицы в первые часы под воздействием тех же чувств, которые побудили его оказать сопротивление мятежным генералам в начале войны. Что должны были сделать рабочие? Отдать телефонную станцию без сопротивления? Ответить на этот вопрос можно по-разному — все зависит от отношения к централизованному управлению и рабочему контролю. Более убедителен такой ответ: «Да, вполне вероятно, что рабочие — члены C.N.T. — были правы. Но ведь шла война, и они не должны были затевать драку в тылу». С этим я полностью соглашаюсь. Внутренние беспорядки были только на руку Франко. Но кто дал повод? Можно спорить о праве правительства на захват телефонной станции. Несомненно одно: в существовавшей обстановке такой шаг неминуемо вел к столкновению. Это была провокация, поступок означавший: «Ваша власть кончилась, теперь наступил наш черед». Ожидать чего-либо иного, кроме сопротивления, было смешно. Трезвая оценка событий за-

¹ С началом войны гражданская гвардия неизменно примыкала к сильнейшей стороне. Позднее, в ряде случаев, например, в Сантандере, отряды гражданской гвардии целиком перешли на сторону фашистов.

ставляет сделать вывод, что нельзя возложить вину только на одну из сторон. Такая односторонняя версия получила распространение только по той причине, что испанские революционные партии не имели возможности представить свою точку зрения в иностранной печати. Например, нужно было перелистать очень много английских газет, прежде чем удавалось найти положительный отзыв об испанских анархистах. Причем, это касается всех периодов войны. На анархистов систематически клеветали, а напечатать что-либо в их защиту, я знаю это по собственному опыту, было почти невозможно.

Я попытался объективно описать барселонские бои. Конечно, в такого рода вещах никто не может быть совершенно объективным. В любом случае приходится стать на какую-нибудь сторону. Конечно, я делал фактические ошибки, описывая барселонские события, да и в других главах книги. Но это неизбежно. Об испанской войне писать без ошибок очень трудно, ибо нет документов, не окрашенных пропагандой. Поэтому я предупреждаю читателей как о моей предвзятости, так и об ошибках. Но я сделал все, чтобы писать честно. Мое описание событий резко отличается от описаний, опубликованных в иностранной, особенно, в коммунистической печати. Необходимо рассмотреть коммунистическую версию, ибо ее публиковали все газеты и журналы мира, она постоянно дополняется и расширяется, она стала повсеместно принятой.

Коммунистическая и прокоммунистическая печать всю вину за бои в Барселоне возложила на Р.О.У.М. События изображаются не как стихийный взрыв, а как заранее подготовленное, запланированное восстание против правительства. Восстание организовал Р.О.У.М. с помощью нескольких обманутых «крайних элементов». Более того, это было заговор, осуществленный по приказу фашистов, которые стремились развязать гражданскую войну в тылу республики и таким образом парализовать усилия правительства. Более того, Р.О.У.М. был «пятой колонной Франко», «троцкистской» организацией, сотрудничающей с фашистами. «Дейли уоркер» писала 11 мая: «Немецкие и итальянские агенты, нахлынувшие в Барселону якобы для «подготовки» пресловутого «Конгресса Четвертого Интернационала», в действительности имели совсем другую задачу. Они должны были — с помощью местных троцкистов — вызвать в Барселоне беспорядки и кровопролитие, что позволило бы Германии и Италии заявить о «невозможности осуществления эффективного морского контроля каталонского побережья в связи с беспорядками, царящими в Барселоне», и необходимости «высадить в Барселоне воинские части».

Иными словами, готовилась обстановка, которая позволила бы германскому и итальянскому правительствам высадить свою морскую пехоту на каталонском побережье «с целью обеспечения порядка»...

«Немцы и итальянцы имели для выполнения этого задания подходящее оружие — троцкистскую организацию, известную под названием Р.О.У.М.

Р.О.У.М., действуя рука об руку с уголовными элементами и некоторыми обманутыми анархистами, запланировала, организовала и руководила мятежом в тылу, точно скординированным с наступлением фашистов на Бильбао...» И так далее, и так далее.

В этой же статье бои в Барселоне превратились в «вооруженное выступление Р.О.У.М.», а в другой статье в том же номере констатировалось: «Нет никакого сомнения в том, что полную ответственность за кровопролитие в Каталонии несет Р.О.У.М.» 29 мая «Инпрекор» писал, что баррикады в Барселоне построили «члены Р.О.У.М., посланные для этой цели своей партией».

Я мог бы цитировать еще и еще, но думаю, что и приведенных цитат вполне достаточно. Всю ответственность несет Р.О.У.М., действующий по приказу фашистов. Чуть ниже я процитирую сообщения, появившиеся в коммунистической печати. Они настолько противоречивы, что теряют всякую ценность как доказательства. Но до этого я хотел бы перечислить несколько фактов, доказывающих априори, что называть майские бои в Барселоне фашистским мятежом, организованным Р.О.У.М., нельзя.

1. Р.О.У.М. — слишком малочисленна и невлиятельна, чтобы вызвать беспорядки такого масштаба, и уж, наверняка, слишком слаба, чтобы организовать

всеобщую забастовку. Влияние Р.О.У.М. в профсоюзах незначительно, у нее были такие же шансы объявить всеобщую забастовку в Барселоне, как, скажем, у английской компартии сделать это в Глазго. Как я говорил выше, позиция руководителей Р.О.У.М. могла в какой-то мере продлить бои, но партия ни в коем случае не могла бы привести к началу боев, даже если бы она этого хотела.

2. Мнимый фашистский заговор остается полностью голословным утверждением, все доказательства свидетельствуют об обратном. Нас убеждают, что была запланирована высадка германских и итальянских сухопутных частей в Каталонии. Но ни немецкие, ни итальянские суда даже не приближались к побережью. Чистой выдумкой являются и разговоры о «конгрессе Четвертого Интернационала» и «немецких и итальянских агентах». Насколько я знаю, не было даже разговора о конгрессе Четвертого Интернационала. Существовали неопределенные шансы созыва конгресса Р.О.У.М. и братских партий (английской и немецкой) в июле месяце — то есть, через два месяца после событий, — причем ни один делегат еще не приехал. «Немецкие и итальянские агенты» существовали только на страницах «Дейли уоркер». Каждый, кто в то время пересекал границу, знает, что было совсем не легко «нахлынуть» в Испанию или покинуть ее.

3. Ничего не произошло ни в Лериде — бастионе Р.О.У.М., ни на фронте. Совершенно очевидно, что если бы руководители Р.О.У.М. хотели помочь фашистам, они должны были приказать своему ополчению открыть фронт. Но ничего подобного не было и не предполагалось. С фронта не был отозван ни один человек, хотя было легко незаметно, под разными предлогами, стянуть в Барселону тысячу-другую бойцов. Не было даже косвенных попыток саботажа на фронте. Продовольствие, амуниция и другие припасы продолжали беспрепятственно поступать на передовую. Я позднее проверил эти факты. И главное, планируя такое восстание, нужно было заранее месяцами готовиться, вести подпольную пропаганду в рядах ополчения, и так далее. Не было даже и следа таких действий. Тот факт, что ополчение на фронте не участвовало в «мятеже», является решающим доказательством. Если бы Р.О.У.М. действительно планировала переворот, она не могла бы не использовать единственной ударной силы, имевшейся в ее распоряжении — десятка тысяч вооруженных ополченцев.

Думаю, что это убедительно доказывает несостоятельность коммунистической версии о «мятеже», якобы организованном Р.О.У.М. по приказу фашистов. Никаких доказательств у коммунистов нет. Но я добавлю несколько выдержек из коммунистической печати. Описание захвата телефонной станции, первого эпизода боев чрезвычайно показательны. Противоречия друг другу от начала до конца, газеты сходятся лишь в одном — виновата другая сторона. Любопытно, что английские коммунистические газеты в первую очередь сваливали вину на анархистов, а только потом на Р.О.У.М. И это совершенно понятно. Мало кто в Англии слышал о «троцкизме», но каждый англичанин вздрагивал, услышав слово «анархизм». Достаточно сказать, что в дело замешаны «анархисты», и подходящая атмосфера предубеждения создана. После этого можно спокойно сваливать вину на «троцкистов». «Дейли уоркер» за 6 мая начала свою статью так:

«Немногочисленная шайка анархистов в понедельник и вторник захватила и пыталась удержать здания телефонной и телеграфной станции, начав стрельбу на улицах».

Итак, начинать лучше, вывернув факты наизнанку. Гражданская гвардия нападает на здание, находящееся в руках С.Н.Т., поэтому следует изобразить дело таким образом, чтобы якобы С.Н.Т. нападает на здание, которое находится под его собственным контролем, то есть нападает само на себя. Но 11 мая «Дейли уоркер» пишет:

«Левый каталонский министр общественной безопасности Аигуаде и социалист, главный комиссар общественного порядка Родриге Салас направили вооруженную республиканскую полицию в здание телефонной станции с приказом разоружить рабочих, в большинстве своем членов С.Н.Т.»

Это противоречит первому сообщению, но «Дейли уоркер» и не думает признаваться, что первое сообщение было неверным. В том же номере, 11 мая, «Дейли уоркер» пишет, что листовки «Друзей Дурутти», осужденные С.Н.Т., поя-

вились 4 и 5 мая, во время боев. «Инпрекор» (22 мая) утверждает, что они появились 3 мая, то есть, *до начала боев*, и добавляет, «учитывая эти факты» (появление различных листовок):

«Полиция, возглавляемая лично префектом, заняла 3 мая здание центральной телефонной станции. Полицию, выполнявшую свой долг, обстреляли. Это был сигнал для провокаторов, начавших стрельбу во всем городе».

А вот, что писал «Инпрекор» 29 мая:

«В 3 часа дня комиссар общественной безопасности товарищ Салас явился на телефонную станцию, которая предыдущей ночью была захвачена 50 членами Р.О.У.М. и различными безответственными элементами».

Это уже выглядит странно. Захват телефонной станции полусотней членов Р.О.У.М. — явление достаточно примечательное, и можно было ожидать, что оно не пройдет незамеченным. Однако его обнаружили только три или четыре недели спустя. В другом номере «Инпрекора» 50 членов Р.О.У.М. превратились в 50 бойцов ополчения Р.О.У.М. Даже при все желании, трудно втиснуть больше противоречий в эти несколько строк. Сначала члены С.Н.Т. нападают на телефонную станцию, потом оказывается, что не они атакуют, а их атакуют; листовка появляется до захвата телефонной станции и становится причиной этого шага, но она же появляется и после захвата, из причины превращаясь в следствие. Телефонную станцию занимают то члены С.Н.Т., то члены Р.О.У.М., и так далее. В очередном номере «Дейли уоркер» (3 июня) мистер Дж.Р.Кембелл извещает нас, что правительство заняло телефонную станцию лишь потому, что были уже сооружены баррикады!

Не желая загромождать книгу, я остановился на сообщениях, связанных только с одним эпизодом, но это относится и ко всем другим сообщениям, опубликованным коммунистической печатью. Следует лишь добавить, что часть из них была чистой фальшивкой. Например, 7 мая «Дейли уоркер» цитировала коммюнике, опубликованное, якобы, испанским посольством в Париже:

«Характерной чертой мятежа было появление на многих домах Барселоны старого монархистского флага, как бы выражавшего убеждение мятежников, что они стали хозяевами города».

Очень возможно, что помещая это сообщение, газета «Дейли уоркер» верила в его правдивость, но тот, кто его сфабриковал в испанском посольстве, несомненно, лгал. Любой испанец сказал бы, что это ложь. Монархистский флаг в Барселоне! Это было единственное, что вмиг объединило бы все враждующие стороны. Даже коммунисты в Барселоне не могли читать это сообщение без улыбки. То же самое следует сказать и о сообщениях разных коммунистических газет относительно оружия, использованного Р.О.У.М. во время «мятежа». Поверить этим сообщениям мог только человек, понятия не имевший о фактическом положении. Мистер Франк Питкери писал 17 мая в «Дейли уоркер»:

«Во время беспорядков они использовали все виды оружия. Оружие, которое они месяцами воровали и прятали, танки, украденные в казармах в момент начала мятежа. Совершенно очевидно, что у них еще есть десятки пулеметов и несколько тысяч винтовок».

«Инпрекор» (29 мая) подтверждал:

«3 мая Р.О.У.М. имел в своем распоряжении несколько десятков пулеметов и несколько тысяч винтовок... на Plaza de España троцкисты открыли огонь из 75-миллиметровых пушек, предназначенных для отправки на Арагонский фронт, но вместо этого спрятавшихся в казармах».

Мистер Питкери не говорит нам, как и когда стало известно, что Р.О.У.М. имеет в своем распоряжении десятки пулеметов и несколько тысяч винтовок. Я перечислил оружие, имевшееся в трех главных зданиях Р.О.У.М.: около 80 винтовок, несколько бомб, ни одного пулемета. Этого как раз хватало, чтобы вооружить охрану, имевшуюся во всех зданиях, принадлежавших отдельным партиям. Может показаться странным, что позднее, когда Р.О.У.М. был запрещен, и все его здания захвачены, эти десятки пулеметов и тысячи винтовок так и не были найдены. Не нашли даже танков и полевых орудий, которые в дымовую трубу не спрячешь. Но что особенно бросается в глаза в двух приведенных выше

сообщениях, это полное невежество авторов, совершенно не разбирающихся в обстановке. Мистер Питкерн утверждает, что Р.О.У.М. использовал танки, «украденные в казармах». Ополчение Р.О.У.М. (тогда уже сравнительно немногочисленное, поскольку партии прекратили набор новых бойцов в собственные отряды — ополчения) помещалось в Ленинских казармах Барселоны, в тех же казармах находились и гораздо более многочисленные соединения Народной армии. Мистер Питкерн хочет нас таким образом уверить, что Р.О.У.М. украл танки с благословения Народной армии. То же самое относится к «казармам», где были спрятаны 75-миллиметровые пушки. Эти артиллерийские батареи, стреляющие с Plaza de España, фигурировали во многих газетных сообщениях, но думаю, можно с полной уверенностью заявить — они никогда не существовали. Как я упомянул выше, во время боев я находился примерно в полутора километрах от Plaza de España, но артиллерийского огня не слышал. Несколько дней спустя, после окончания боев, я тщательно осмотрел площадь, но никаких следов артиллерийских снарядов ни на одном здании не нашел. Очевидец, находившийся во время событий по соседству с площадью, заявил, что орудия на ней не появлялись. (Вполне возможно, что историю с краденными орудиями придумал советский генеральный консул Антонов-Овсеенко. Во всяком случае, он сообщил ее известному английскому журналисту, который, будучи уверенным в подлинности факта, написал о нем в своем еженедельнике. Позднее Антонов-Овсеенко стал жертвой «чистки»). Все эти рассказы о танках, полевой артиллерии и тому подобном были придуманы с одной лишь целью — доказать, что такая малочисленная организация как Р.О.У.М. могла стать причиной крупных боев. Повторяю, возлагая всю ответственность за бои на Р.О.У.М., нужно было в то же время напоминать, что это незначительная партия, насчитывающая, как писал «Инпрекор», всего «несколько тысяч человек» и не имеющая сторонников. Но сочетать эти два утверждения можно было только в случае, если бы удалось доказать, что Р.О.У.М. в ходе боев пользовался наиболее современными видами оружия.

Читая коммунистические газеты, нельзя не прийти к выводу, что они сознательно используют полное незнание читателями фактов, стремясь к одному — привить им предубежденное отношение к событиям. Этим, например, можно объяснить заявление мистера Питкерна в «Дейли уоркер» (11 мая) о том, что «мятеж» был подавлен Народной армией. Автор сообщения старался создать впечатление, будто вся Каталония, как один человек, выступила против «троцкистов». Но во время событий Народная армия сохраняла нейтралитет. Вся Барселона знала об этом, и трудно поверить, что только мистер Питкерн этого не знал. Коммунистическая печать жонглировала цифрами убитых и раненых, желая раздуть размах беспорядков. Коммунистические газеты широко цитировали слова генерального секретаря испанской коммунистической партии Хосе Диаса, заявившего, что было убито 900 человек и 2.500 ранено. Каталонское правительство, которое нельзя заподозрить в желании приуменьшить масштабы событий, говорило о 400 убитых и 1000 раненых. Коммунистическая партия удвоила эти цифры и добавила еще несколько сот — на всякий случай.

Иностранные капиталистические газеты в своем большинстве возлагали вину за беспорядки на анархистов, но некоторые из них повторяли коммунистическую версию. В их числе была английская «Ньюс кроникл», корреспондент которой, мистер Джон Лангдон-Дэвис, находился во время боев в Барселоне. Вот, что он написал:

«Троцкистский мятеж».

... Восстание подняли не анархисты. Это был неудавшийся путч «троцкистской» Р.О.У.М., действовавший через контролируемые ею организации «Друзья Дурутти» и «Свободная молодежь»... Трагедия началась в понедельник вечером, когда правительство послало вооруженную полицию на центральную телефонную станцию, чтобы разоружить находившихся там рабочих, преимущественно членов С.Н.Т. Серьезные неполадки в работе телефонной станции давно уже носили скандальный характер. На площади Испании собралась большая толпа, наблюдавшая, как сопротивляются члены С.Н.Т., отдавая этаж за этажом поли-

ции... В этом инциденте многое было неясно, но вдруг разошелся слух, что правительство выступило против анархистов. На улицах появилось множество вооруженных людей... К ночи все рабочие центры и правительственные здания были забаррикадированы, а в десять вечера раздались первые залпы, и первые санитарные машины, гудя, помчались по улицам... На рассвете, когда число убитых достигло сотни, можно было сделать попытку разобраться в случившемся. Анархистская С.Н.Т. и социалистическая U.G.T. формально «не вышли на улицу». Оставаясь за баррикадами, они настороженно выжидали, какой поворот примет события, оставляя за собой право стрелять в каждого вооруженного человека, появлявшегося на улице... Хуже стрельбы залпами были одиночные выстрелы *Pacos*, снайперы, обычно фашисты, стреляли с крыш, делая все, чтобы усугубить атмосферу всеобщей паники... Во вторник вечером уже стало ясно, кто организовал мятеж. На стенах появились подстрекательские плакаты с призывами к немедленной революции и казни республиканских и социалистических вождей. Подписаны они были «Друзья Дурутти». В четверг утром анархистская газета заявила, что ничего о них не знает и осудила листовку, но газета P.O.U.M. «La Batalla» перепечатала призывы, отозвавшись о них крайне похвально. Барселона, первый город Испании, была втянута в кровопролитную борьбу провокаторами, использовавшими эту подрывную организацию».

Это не совсем совпадает с коммунистической версией, изложенной выше, но и сама по себе статья полна противоречий. Прочтем ее внимательно. Сначала события представляются как «троцкистский мятеж», затем говорится, что они были результатом рейда на телефонную станцию и слухов, что правительство «выступило против анархистов». Город покрывается баррикадами, сооружаемыми как членами С.Н.Т., так и U.G.T. Спустя два дня появляется плакат (точнее листовка), который, как следует из текста, дает толчок началу событий — результат предшествует причине. Итак, налицо очень серьезное искажение. Мистер Лангдон-Дэвис называет «Друзей Дурутти» и «Свободную молодежь» организациями «контролируемыми P.O.U.M.» На самом же деле это были анархистские организации, не имевшие к P.O.U.M. никакого отношения. «Свободная молодежь» была молодежной анархистской организацией, соответствовавшей J.S.U. — молодежной организации P.S.U.C. «Друзья Дурутти» — малочисленная организация, входившая в состав F.A.I.; ее вражда с P.O.U.M. была непримирима. Насколько мне известно, не было человека, который состоял бы одновременно в обеих организациях. С таким же правом можно назвать Социалистическую лигу организацией, «контролируемой английской либеральной партией». Разбирался ли в этом мистер Лангдон-Дэвис? Если нет, то ему следовало бы более осторожно касаться этой сложной проблемы.

Я не сомневаюсь в доброй воле мистера Лангдона-Дэвиса. Но, по-видимому, он выехал из Барселоны к моменту окончания боев, то есть, именно тогда, когда он имел возможность серьезно приступить к сбору материала. В статье Лангдона-Дэвиса заметно, что он принял официальную версию о «троцкистском мятеже» без достаточной проверки. Это очевидно даже из процитированных мной отрывков. «К ночи» появились баррикады, а «в десять часов раздались первые залпы». Очевидцы говорят иначе. Если руководствоваться указаниями статьи, то прежде следует подождать, пока противник построит баррикаду, а потом уж начать в него стрелять. Если верить мистеру Лангдону-Дэвису, то между сооружением баррикад и первыми залпами прошло несколько часов. На самом же деле все было, конечно, наоборот. Я и многие другие видели и слышали, что первые выстрелы раздались днем. Статья упоминает и «одиночных снайперов, обычно фашистов», стреляющих с крыш. Лангдон-Дэвис не объясняет, откуда ему известно, что эти люди были фашисты. Вряд ли он карабкался на крыши, чтобы справиться, кто они. Мистер Лангдон-Дэвис просто повторяет то, что ему сказали, а поскольку это совпадает с официальной версией, он не находит нужным проверять факты. Впрочем, в начале статьи Лангдон-Дэвис несколько неосторожно называет в качестве возможного источника своей информации министерство пропаганды. Иностранные журналисты в Испании целиком и полностью зависели от этого министерства, само название которого, казалось бы,

таит в себе предостережение. Совершенно понятно, что министр пропаганды столь же был способен дать объективное представление о событиях в Барселоне, как, скажем, покойный лорд Карсон о дублинском восстании 1916 года.

Я привел аргументы, позволяющие утверждать, что коммунистическую версию барселонских событий нельзя принимать всерьез. Я хотел бы еще добавить несколько слов о распространенном обвинении, согласно которому Р.О.У.М. — тайная фашистская организация, оплачиваемая Франко и Гитлером.

Это обвинение повторялось вновь и вновь в коммунистической печати, особенно с начала 1937 года. Оно было частью официальной коммунистической «антитроцкистской» кампании, охватившей весь мир. Р.О.У.М. называли «ставленником троцкизма в Испании». Выходившая в Валенсии коммунистическая газета «Frente Rojo»¹ давала следующее определение «троцкизму»: «Это не политическая доктрина. Троцкизм — официальная капиталистическая организация, фашистская террористическая преступная банда, саботирующая усилия народа». Р.О.У.М. была «троцкистской» организацией, действовавшей рука об руку с фашистами, частью «франкистской пятой колонны». С самого начала бросалось в глаза, что все эти обвинения голословны. Авторы обвинений принимали при этом важный вид знатоков. Травля Р.О.У.М. изобиловала личными оскорблениями, ее инициаторы совершенно не считались с тем, как она может отразиться на ходе войны. Многие коммунистические журналисты считали вполне допустимым разглашение военной тайны, если это позволяло лишний раз облить грязью Р.О.У.М. В февральском номере «Дейли уоркер», например, Уинифред Бэйтс позволила себе (и ей позволили) заявить, что Р.О.У.М. держит на своем участке фронта наполовину меньше бойцов, чем говорит (Впрочем, это была неправда). И журналистка, и газета «Дейли уоркер» сочли, следовательно, вполне допустимым сообщить врагу важнейшие военные тайны. Мистер Ральф Бэйтс в «Нью рипаблик» утверждал, что бойцы Р.О.У.М. играют с фашистами в футбол на ничейной земле. Когда он это писал, части Р.О.У.М. несли тяжелые потери, и многие из моих личных друзей были убиты или ранены. Широко распространялась, сначала в Мадриде, а потом в Барселоне, злобная карикатура, изображавшая Р.О.У.М., у которой под маской с серпом и молотом кроется рожа, заклеенная свастикой. Если бы правительство не было под фактическим контролем коммунистов, оно никогда не позволило бы распространять подобную карикатуру во время войны. Это был умышленный удар не только по частям Р.О.У.М., но и по всем тем, кто оказывался рядом с ними. Кому приятно слышать, что часть, занимающая соседний участок фронта, состоит из предателей? Я лично не думаю, что распространяемая в тылу клевета деморализовала бойцов Р.О.У.М. Но такова была цель этой кампании. Ее организаторы ставили интересы своей партии выше единства антифашистских сил.

(Продолжение следует)

¹ Красный фронт.

Борис ВАЙЛЬ

«МЫ ЗЯБЛИ, НО НЕ ПРОЗЯБАЛИ...»

Беседу ведет Бронислава ТАРОЩИНА

Площадь Ратуши в Копенгагене всегда оживлена. В датском варианте, в отличие от отечественного, с оживленностью рифмуется не толпа, давка, спешка, а спокойствие, праздничность и уверенность в себе людей на площади.

Каждое утро в одно и то же время здесь появляется еще довольно молодой человек. Человек идет на работу, в Датскую Королевскую библиотеку. Он бодр, энергичен, озорно поблескивают глаза. Есть нечто ритуальное в его появлении на этой площади, среди этих людей. И кажется, так было и так будет всегда. Было и будет?..

В среде интеллигенции принято рассуждать об истоках сегодняшних перемен: пока вы отсиживались в лагерях, мы готовили перестройку, говорят одни, пока вы отсиживались на воле, мы в лагерях начинали перестройку, утверждают другие. Борис Вайль, подданный королевы Дании, счетов не предъявляет. Право на свободу он оплатил сполна: девять лет в лагерях, четыре года — в сибирской ссылке. И началось это в 1957 году, когда студенту Ленинградского библиотечного института исполнилось восемнадцать лет.

Хотелось бы написать что-то вроде «жизнь закручивает сюжеты почти детективных», да рука не поднимается. Какие уж тут «сюжеты» — трагическая реальность. Не удержусь, однако, от желания сообщить читателю, что суд над Борисом Вайлем в 1970 году был первым политическим процессом, на котором присутствовал академик А.Д. Сахаров...

Диссидентов часто упрекали: вы, дескать, интеллигентки, не знающие народа. Перечислю лишь некоторые профессии Вайля: рабочий совхоза, механизатор, журналист, актер провинциального театра кукол, строитель. В 1977 году он с семьей вынужден был эмигрировать в Данию. Сегодня Борис Вайль — член датского отделения ПЕН-клуба, Датского Внешнеполитического общества, автор краткой истории СССР, разумется, изданной за его пределами, корреспондент журнала «Страна и мир». Сначала на русском языке — в Англии, а недавно по-датски в Копенгагене вышла его автобиографическая книга «Особо опасный»; скоро и советский читатель сможет с ней познакомиться.

Больше всего мне не хотелось бы числить Бориса Вайля по журналистскому ведомству «человек удивительной судьбы». Нет, он — человек той единственной судьбы, которую выбрал себе сам давно, еще будучи подростком, и которую достойно продолжает сегодня — без столь модного ныне ореола былого мученичества, без громких слов и эффектных жестов. Но пусть судит читатель.

— Мы теперь достаточно много знаем о сталинских временах и гораздо меньше о брежневских, о годах семидесятых, связанных с мощной волной правозащитного движения. Ты, можно сказать, стоял у истоков, не так ли?

— Мы тогда в середине-конце пятидесятых годов не употребляли такого термина — «правозащитное движение», а говорили о демократизации. Многие полагали, что социализм в СССР, в общем, есть, а демократии — нету. Одна моя

знакомая говорила тогда, что вот, мол, напечатали бы «секретный» доклад Хрущева — и ничего больше не надо. Большинство, конечно, шло дальше, хотело социальных и политических преобразований. Терминов «еврокоммунизм» или «социализм с человеческим лицом» тогда еще не существовало, но они, так или иначе, верно отражали стремления этих молодых людей из подпольных организаций середины 50-х годов.

— Как ты пришел к идеям правозащитников? Ведь ты был яростным апологетом советской системы, считающим своим долгом сообщить в райком о знакомом парне, не столь приверженном идеологии, а уже буквально через пару месяцев ты же — активный критик системы. С советским человеком, коим ты, несомненно был, не мог произойти такой быстрый скачок; слишком велик, даже генетичен его конформизм. Аберрация памяти? А может, дело все в том, что этому человеку было в ту пору 15 лет?

— Тот разрыв, насколько я помню, был длиннее, чем пара месяцев... Представь: юноше пропаганда ежедневно вдальбивала, что он живет в «самом лучшем из миров», и он верил в это. То, что он видел вокруг себя, не совпадало с тем, о чем он читал, слышал по радио, учил в школе, но ему казалось, что только здесь, в поле его зрения, так убого и нище, а вообще, все прекрасно, и жизнь в стране таковая, как она показана в «Кубанских казаках». Соревнующиеся колхозники, стахановцы, доблестные чекисты... И вдруг приходит понимание, что то, что казалось частностью — это и есть общий закон, а «Кубанские казаки» — раскрашенные кулисы. Вот примерно то, что произошло со мной в пятнадцать лет. Конечно, в эти годы трудно ожидать «политической зрелости», многое зависит от ближайшего окружения. В 17-18 лет на меня влияют люди социалистической ориентации, изучающие опыт Восточной Европы.

— Людей сажали только за то, что они поддерживали, скажем, лозунги Октябрьской революции: «Фабрики — рабочим!», «Землю — крестьянам!», обсуждали творчество Пикассо, провозглашали своей программой «Декларацию прав человека» и т.д. и т.п. Как ты полагаешь, одной лишь нетерпимостью тоталитарного государства к любым попыткам мыслить самостоятельно можно объяснить такую дикость в относительно либеральную эпоху Хрущева?

— Конечно, тоталитарное государство не терпит никакого инакомыслия, никакого отклонения от официальной идеологии, от догмы сегодняшнего дня. «Дикостью» это может казаться лишь теперь, но ведь тогда страна только-только выходила из сталинской тьмы... Впрочем, по структуре своей государство оставалось сталинским. «Неосталинистское государство» — так многие на Западе характеризовали СССР после смерти Сталина и вплоть до наших дней. И общество еще не оправилось от страха. Так что речь может идти не о «дикости», а о логике системы и стремлении к самосохранению.

— Я полагала, что люди, бывшие шпионами всевозможных разведок мира, а также рывшие тоннели от Лондона до Бомбея, канули в Лету в 30-е годы. Как же ты умудрился стать шведским шпионом уже в середине 50-х?

— Меня никто, разумеется, никогда не обвинял в шпионаже, а просто надо было объяснить однокурснику причину моего ареста. Вот и пустили слух — из КГБ или же из партбюро института — о «шведском шпионе», тем более, тогда как раз было сообщение в газетах об аресте группы эстонцев, обвиненных в шпионаже в пользу Швеции (я потом встречал этих эстонцев в лагерях). Ну, «шпион» — и все понятно. А если бы честно сказали студентам, что арестовали по политическим, идеологическим мотивам, тогда пришлось бы вступать в политические дискуссии... Ни КГБ, ни институтские власти этого делать не собирались.

— Меня поразил эпизод из «Особо опасного». Студент сдает кровь, чтобы заработать деньги на венок Плеханову в день его 100-летия. Сначала он сдает 200 г крови — за марксизм, потом — за него же получает семь лет лагерей. Как можно объяснить это в стране, исповедующей марксизм? Причем, насколько мне известно, Россия здесь не одинока. И в других странах, более цивилизованных, люди страдали за марксизм.

— Ты имеешь в виду «охоту за ведьмами» в США в период маккартизма? Тут прямого сравнения быть не может, это отдельная тема не для нашей беседы... Ты сама сказала: в СССР марксизм-ленинизм был и остается пока государственной идеологией, и вот парадокс: система карала марксистов. Но ведь и в царской России верхи тоже недолюбливали искренних, последовательных, идейных монархистов (хотя в тюрьмы их, разумеется, не сажали). На Плеханова, хоть он и был ортодоксальным марксистом, при Сталине смотрели «косо», но это понятно: оппонент Ленина, антибольшевик. Еще и сейчас, когда наконец опубликованы «Несвоевременные мысли» Горького, антибольшевистские статьи Плеханова ждут своего часа. Это ведь как для церковников: не так опасен атеист, как еретик.

— Итак, твоя «подрывная» деятельность начиналась чуть ли не по-ленински с создания «партии нового типа». Удивительно — в нашей стране даже подростки знали (имею в виду прежде всего тебя и твоих юных сподвижников), что первым делом нужно сформировать ЦК, а вторым — не пускать туда евреев. И еще более удивительно, что в ту пору все это тебе казалось совершенно естественным?

— А что мы знали, кроме «партии нового типа»? Кроме книжек типа «Мальчик из Уржума»? Мы читали, как большевики создавали свою партию, свое подполье, и это было образцом для нас. В подполье какая может быть партия? Естественно, «пятерки», конспирация, централизация, подчинение меньшинству, верхам партии. Это же совсем другая ситуация, чем сейчас, когда создаются неформальные организации и народные фронты. Им не надо прибегать к модели «партии нового типа». А когда знаешь, что людей арестовывают за анекдоты, а не то что за подпольную партию... Такого ведь и в дореволюционной России не было: социал-демократы и другие левые могли действовать вполне легально, в Государственной Думе заседали...

Процентная норма для евреев в нашем «ЦК» была предложена моим другом, и тогда показалась мне логичной. Это ведь было в Курске и до моего знакомства с социалистически ориентированными людьми в Ленинграде. От этих тем — антисемитизм, национальный вопрос — я тогда был далек. Учти, мне было 16 лет, и я не предполагал, что вслед за введением «процентной нормы» может возникнуть проблема определения процента крови, расовой чистоты, смешанных браков и т.д.

— Вернемся к твоему первому аресту в 1957 году. Любопытен такой психологический нюанс. Тебе говорят: «Вот санкция прокурора на обыск и арест», а ты про себя начинаешь сильно гордиться тем, что твоя персона интересует прокурора города на Неве. Сколько раз тебе приходилось в дальнейшем таким оригинальным образом тешить свое тщеславие?

— Это, конечно, общечеловеческая слабость: «Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге...» Когда арестовывали во второй раз, то уже не гордился... Тогда, в 1957 году, мне очень импонировало то, что офицеры КГБ ко мне, восемнадцатилетнему мальчишке, обращались: «Борис Борисович» и на «ВЫ».

— Твое «тщеславие», видимо, должен был тешить и тот факт, что после первого ареста ты оказался в ленинградской тюрьме в камере № 194 — рядом с камерой № 193, где Ленин писал «Развитие капитализма в России»?

— Конечно... Иногда здесь, в Дании, случается сидеть в автобусе рядом с министром, членом парламента. Примерно такое же ощущение. Но если говорить серьезно, то тогда чувствовалось как бы дыхание истории. В этих же камерах на Шпалерной, теперь улице Воинова, сидели и народники, и народовольцы...

— Колыбель революции — всегда в авангарде. Как ты с высоты своего печального опыта можешь объяснить тот факт, что прокурор Ронжин нашел слишком мягким приговор тебе, мальчишке, в результате чего ты получил вместо трех — шесть лет?

— Этот прокурор просто выполнил указание сверху, скорее всего из Москвы, а не из Смольного. Что касается «колыбели», то уже замечено, что Ленинград в

послесталинские годы поставлял больше подпольных организаций, чем Москва. Вспомним дела «Колокола» и ВСХСОН в 60-е годы. В Москве в это время начинает зарождаться правозащитное движение, чуждое конспирации.

— А между тем в 1959 году тебе исполнилось 20 лет. Не помнишь, как встречал этот день рождения?

— Встретил его в карцере Иркутской тюрьмы. Это были тяжелые дни моей жизни. Во-первых, я был недоволен тем, что ничего не сделал, «подзалетел» на новый срок — за участие в этой самой лагерной организации. Во-вторых, карцер: собачий холод. Это ведь Иркутск, февраль, карцер практически не отапливается, телогрейка была и одеждой, и постелью, и спал на холодном полу, каждые полчаса просыпался от холода, курева тоже не было — не положено. И голодно, конечно, это само собой. Тут в день своего двадцатилетия и подсчитал, что за последние годы лишился нескольких зубов — и воспринимал это как трагедию... Но главное было в чувстве заброшенности. В Бога я не верил, а люди — те, кто меня знал — меня забыли, так мне казалось. То есть какое-то экзистенциальное одиночество на фоне холода и негаснущего круглые сутки тусклого мертвенного света от матовой лампочки. В подвале... Не хотел бы пережить это снова. А вообще-то, как сказал Д. Самойлов, «мы зябли, но не прозябали...»

— Одиночество тюрьмы или многолюдность лагеря — что для тебя предпочтительней, если вообще возможен такой вопрос? Что было самым страшным и там и там?

— В лагере невозможно остаться наедине с собой — это заметил еще Достоевский. В этом плане камера-одиночка лучше. Говорю, разумеется, только о себе. Ощущение забытости всеми (верующие сказали бы «богооставленности»), как в том карцере, появлялось не всегда. Нет, не одиночество самое страшное в тюрьме, а вот это унижение, которому человек подвергается ежечасно, и чувство безнадежности... Впрочем, и в лагере то же самое. Мне повезло, я не сидел в уголовных лагерях. Те же из диссидентов, кто был осужден по «уголовной» 190-й статье и оказался в уголовных лагерях, свидетельствуют, насколько страдали они не только от произвола лагерной администрации, но и от окружения.

— Ты удосужился в лагере получить добавление срока. А ведь это были относительно мягкие годы. Часто ли это случалось?

— Да, я не первый и не последний. В хрущевское время все-таки такое случалось реже, а вот в брежневское — часто. Приговорят диссидента к трем, скажем, годам, в лагере сфабрикуют новое дело. Примеры последних лет известны.

— Не боялся, что тебя объявят сумасшедшим? Тем более, что и по вод был — кто, как не сумасшедший, сидя в тюрьме, мог распространять листовки с подписью несуществующей организации «Социалистический Союз России»?

— Не забудь, что это случилось в 1959 году. Тогда еще психиатрия не использовалась целенаправленно как карательное средство против «инакомыслия». Имевшиеся исключения подтверждали правило. А вот в брежневские времена это было возможно. Впрочем, тогда сидел со мной в Иркутской тюрьме человек, писавший матерные письма Хрущеву — из лагеря. Его сочли ненормальным и отправили в Казань, как говорилось тогда, «на вечную койку».

— Не предлагали ли тебе сотрудничество работники КГБ?

— Предлагали, но не они, а сотрудники МВД. В своей книге я рассказываю, как я дал им подписку и как потом отказался «сотрудничать». И хотя имел дело с офицерами МВД, я-то прекрасно знал, что за ними стоит и КГБ. И, действительно, потом уже работники КГБ напоминали мне об этой подписке, и я рад, что устоял. Заключение легко соблазнить сотрудничеством: «вы — нам, мы — вам». Обещают обычно досрочное освобождение, порой и выполняют это обещание...

— Судьба сталкивала тебя со многими интересными людьми, скажи несколько слов о тех, о ком тебе хотелось бы вспомнить.

— Револьт Пименов. Ровесник Горбачева, да и родившийся в тех же краях (на суде на вопрос о национальности он неизменно отвечал: «русский, казак»),

он впервые столкнулся с карательной системой в 1949 году, когда подал заявление о выходе из комсомола. Его поместили в дурдом, а при обыске нашли переписанное его рукой произведение Горького «Человек», без указания автора. Дежурный врач записала в истории болезни: «При больном обнаружено воззвание к товарищам, содержащее идеи явно бредового содержания». Когда в 1957 году профессора Случевского упрекали в том, что его сотрудники квалифицировали текст Горького как «бред», то Случевский буквально сказал так: «Врач не обязан наизусть знать всю мировую литературу!» Мне кажется, что где-нибудь в примечаниях к полному собранию сочинений Горького следовало бы отразить этот случай... С Пименовым меня судили вместе дважды — в 1957 и в 1970 годах, так что мы с ним дважды «подельники». Притом, оба раза вменялось нам в вину послесловие Пименова к «секретному» докладу Хрущева: ему — авторство, мне — распространение. Сейчас это послесловие — хоть в «Правде» печатай, а тогда — срок.

В лагерях я встретил людей, дружеские связи с которыми сохранились на всю жизнь. Не стану здесь перечислять имена, но одного человека хотел бы выделить. Это Михаил Молоствов, философ по образованию и призванию, но ни одна из его статей до сих пор не опубликована в СССР... Работает почтальоном в деревне, выдвинут ленинградским «Мемориалом» и выбран народным депутатом РСФСР...

— Понимал ли ты, на что идешь, когда на воле снова начал заниматься самиздатом? Кстати, можно ли вашу «Информацию», выпускаемую в 1956-1957 годах в Ленинграде, рассматривать как прообраз будущего самиздата, в частности, его «Хроники текущих событий»?

— Да, это, действительно была предшественница «Хроники». Тогда же в наших кругах ходила по рукам поэма Твардовского «Теркин на том свете» — возможно, что это не был окончательный вариант. Что касается самиздата после моего освобождения в 1965 году, то это был «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, затем произведения Синявского и Даниэля, письмо Раскольникова Сталину, «завещание» Н.Бухарина и многое другое. Я, конечно, представлял себе, чем все это может для меня кончиться, но и быть вне этого течения общественной жизни просто не мог.

— В октябре 1970 года в Калуге состоялся суд по твоему очередному делу. Помогло ли тебе присутствие А.Д.Сахарова? Как складывались ваши отношения в дальнейшем?

— Следствие велось в Ленинграде (там жил и был арестован Р.Пименов) и по логике вещей суд должен был состояться там же. Но, как это бывало в те годы, наверху решили провести процесс подальше от общественности. Предполагалось, что в Калугу мало кто придет. Но приехал А.Д.Сахаров, приехали Е.Боннэр, В.Чалидзе, С.Ковалев, Ю.Айхенвальд и многие другие из Москвы и Ленинграда. Там, в Калуге, в коридоре облсуда я и познакомился с Сахаровым. Я полагаю, что его присутствие, его телеграмма властям, все это помогло, повлияло, хотя, говорят, что приговор был уже заготовлен. Я встречался с Андреем Дмитриевичем не раз вплоть до отъезда из СССР в 1977 году. К сожалению, часто бывая за границей, он так и не заехал в Данию...

— А как ты оказался в Дании?

— Когда я отбывал ссылку в Тюменской области в начале 70-х годов, я узнал, что меня «усыновила» датская группа «Международной Амнистии». Дело в том, что в структуре этой организации есть группы, шефствующие над отдельными узниками совести в разных частях мира. Обычно каждая группа шефствует над двумя-тремя заключенными, притом один заключенный из советского блока, другой — откуда-нибудь из Латинской Америки, третий, скажем, из Сирии. Узником совести считается тот, кто пострадал за свои политические, религиозные, национальные убеждения, либо за свой цвет кожи. Притом только в том случае, если он не применял насилия и к насилию не призывал. Цель «Международной Амнистии»: путем письменных обращений к властям данной страны добиться освобождения узника совести.

— А ведь нас долгое время пропаганда убеждала в том, что эта организация — «служанка ЦРУ».

— А в некоторых странах Латинской Америки ее называли «служанкой КГБ». Более серьезная критика в адрес МА заключается в том, что, мол, эта организация борется не с причиной, а со следствием, дескать, ну, выпустят этого конкретного заключенного, а другого ведь посадят, надо, говорили эти критики, бороться с самими диктаторскими режимами, а не за такую малость как свобода одного отдельного человека. Но МА принципиально стоит вне политики и с режимами не борется. Только свобода и достоинство каждого отдельного человека — в этой философии МА есть некий, христианский, что ли, момент. МА выступает также против смертной казни, за человеческое обращение с заключенными вообще — политические они или уголовные...

— Но почему тебя «усыновила» именно датская группа МА?

— Это дело случая. Штаб-квартира МА в Лондоне рассылает по всем странам — то есть в национальные отделения МА — досье на заключенных. Мое досье — то, что обо мне знали в Лондоне — попало в Данию. А потом уже после ссылки я встречался с членами МА в Москве. Они спрашивали меня, не хочу ли я переехать в Данию. Поначалу мы с женой отрицательно относились к идее выезда из СССР. Наступил, однако, такой момент отчаяния и беспросветности, что мы решились. Все это было на фоне новой волны арестов, в том числе моих хороших знакомых и друзей. Угроза четвертой судимости не была абстрактной.

— А вы хоть представляли из своего прекрасного далека, что такое Дания?

— Нет, совершенно не представляли. Просто там жили люди, которые бескорыстно заботились обо мне в течение семи лет. Кстати, когда я впервые встретил датчан в Москве, они показались мне инопланетянами — настолько они отличались от нас, от «советских людей». Однако, попасть в Данию оказалось не просто. Ведь в принципе она — как и другие скандинавские страны — не принимает организованно беженцев из Восточной Европы и СССР. Есть квоты ООН, и там расписано какие страны Запада принимают беженцев. Для нашей семьи было сделано исключение — именно благодаря популярности МА, которая как раз в те дни получила Нобелевскую премию мира. Здесь, на Западе МА — очень солидная организация, уважают ее и правые, и левые...

— Но вообще «Международная Амнистия», это, как у нас говорят, «неформальная» организация, не так ли?

— Неправительственная. Знаешь, сейчас переводчики на Западе мучаются с новыми словами, возникшими в русском языке. Очень трудно перевести на датский язык слово «неформал». Дело в том, что фактически все общественные организации, все партии на Западе — «неформальные». От социал-демократов, стоящих у власти в Швеции, до Союза защиты животных. Поэтому мне было крайне странно читать в «Советской России» (3.1.90) интервью с народным депутатом СССР А.Рубиксом, вернувшимся из поездки в США. Он изучал там парламентскую практику, и что же? Корреспондент спрашивает его: «Как относятся американские политики к неформальным объединениям?» Рубикс отвечает: «С неформалами здесь (в США) власти не делят, к руководящему рулю и близко не подпускают, считая, что это может привести лишь к хаосу и дезорганизации... Среди парламентариев, с которыми мы беседовали, представителей неформальных организаций не было...» Обо всем этом Рубикс говорит с удовлетворением, считая, что в СССР надо следовать этому американскому примеру.

— А ты состоишь в Дании в «неформальных» организациях?

— Вот в «Международной Амнистии» состою, а в политические партии не вступаю, ни одна что-то не устраивает. У нас их десять, представленных в парламенте, а есть еще пяток, которые в парламент никак попасть не могут, в том числе компартия.

— По моим представлениям, такая страна как Дания не очень-то жалует эмигрантов. Как тебе удалось получить работу в Королевской библиотеке?

— Я сказал, что у Дании есть квота на беженцев. Раньше принимали многих из Чили, Аргентины, теперь в основном, из Вьетнама. Принимали и будут при-

нимать, весь вопрос в количестве. Именно о допустимом количестве беженцев — в условиях безработицы в стране — идет спор в политических кругах. Что касается общественности, то есть такие группы, которые в принципе против беженцев (ведь содержать их дорого обходится налогоплательщику), особенно же — против беженцев-мусульман.

— Не напоминает ли это «Память», только с антимусульманским уклоном?

— Немного напоминает. Впрочем, эти люди соблюдают демократические правила игры и не оскорбляют своих политических противников. Но в целом датчане нормально относятся к иностранцам, хотя, чтобы чувствовать себя здесь уверенно, нужно говорить по-датски.

— Извини, я тебя перебила — слишком уж кровоточащая тема «Память» с большой буквы...

— Да, тема, требующая очень серьезного разговора; пока он еще не начат. Так вот, я через много лет вернулся к той профессии, которой обучался в Ленинграде — библиотечному делу. В Королевскую библиотеку меня взяли, потому что беженцев пытаются как-то трудоустроить. Тогда еще в библиотеке вакансии были. Теперь, когда датское правительство взяло курс на «дебюрократизацию» и сокращение государственных служащих (тоже говорят о «перестройке») — и, к сожалению, стало экономить на культуре, и на образовании — теперь, думается, это было бы уже невозможно... Я счастлив, что работаю в этой библиотеке, это один из лучших уголков мира — я не преувеличиваю — имею в виду не только саму библиотеку, но и садик возле нее с утиным прудом, березами, памятником Серену Киркегору.

— В среде эмигрантов из России, что вроде бы исторически обусловлено, бушуют страсти, раздоры. Мне показалось, что в Дании этого нет.

— Здесь нет раздоров, потому что почти нет политической эмиграции. В этом своя прелесть, прелесть провинции. Поездки в Мюнхен и Париж всегда оставляли у меня неприятный осадок. Приехав сюда, я еще застал эмигрантов «первой волны», белогвардейцев, монархистов... Милые люди, но общения с ними почти не состоялось. Слишком разный жизненный опыт за плечами.

— Знаю, что тебя занимала проблема отражения «третьей волны» эмиграции в советской художественной литературе. Занимаешься ли этим сейчас?

— Нет, сейчас я уже думаю о других вещах... А несколько лет назад мне пришла в голову мысль проанализировать советские художественные произведения о «третьей волне» эмиграции. Просмотрев множество «толстых» журналов за несколько лет, сборники рассказов и проч., я обнаружил более дюжины произведений на эту тему, при том, как оказалось, созданных по одному шаблону. Здесь была некая схема, близкая к схеме... волшебной сказки. Писатели были разные, а схема одна. Я напечатал в журнале «Обозрение» статью об этом. Особенно забавно было читать произведения Анатолия Крыма. Вот человек, пишущий о Западе, но исходящий из своих впечатлений о советской жизни. Но более всего меня интересует история России и СССР 20-го века. Я занимаюсь — насколько позволяет свободное время — меньшевиками, кадетами, эсерами. А если брать уже, то меня интересуют идеи, история идей, идеологии. В том числе государственные. В странах Восточной Европы пришел, кажется, конец государственным идеологиям. Государственные идеологии несовместимы с плюрализмом.

— Особая тема твоей жизни — женитьба на Люсе. Немного она напоминает сюжет «Калины красной» Шукшина...

— В 1959 году в лагере неподалеку от будущей Братской ГЭС при библиотеке был маленький читальный зал, даже не зал, а один стол, кажется, куда я заходил иногда читать «Известия». Я обратил внимание на письмо одной студентки из Великих Лук, которая критиковала преподавание марксизма и политэкономии в вузах, спрашивала советов, что ей читать по этим предметам в порядке самообразования, а не, так сказать, принудительно. Я написал ей письмо со своими соображениями...

— Через лагерную цензуру?

— Нет, конечно; я опасался, что цензура не пропустит, хотя вообще-то

ничего такого там не было... Отдал письмо вольнонаемному, и на ответ не надеялся.

— **Не осмелился написать, что ты политзаключенный?**

— Да, я полагал, что студентка в этом случае испугается. Вскоре я получил ответ из Великих Лук, и у нас завязалась переписка. Студентка — как я потом узнал — не думала, что я эзк, она предполагала, что я офицер: буквы, дроби и цифры в моем адресе показались ей адресом воинской части. Потом я написал ей, за что сижу и думал, что теперь переписка оборвется. Но она не оборвалась. Люся трижды приезжала ко мне в лагерь, это уже в Мордовии. Свидания нам давали, хотя только на несколько часов. Когда я освободился, мы поженились.

Так что мы можем считать А. Аджубея — тогда главного редактора «Известии» — нашим сватом, хотя он ничего об этом не знает.

— **И беседовать с тобой, и читать твою книгу легко — чувствуется, что ты ни о чем не жалеешь. Более того, мне показалось, что те времена для тебя — не такие уж страшные, ты вспоминаешь о них с некоторым романтическим налетом. А может быть я ошибаюсь?**

— А как фронтовики вспоминают войну? Не только кровь и страх, но и «окопное братство», дружбу. Так и здесь. Так уж устроена человеческая память, что выталкивает отрицательные воспоминания, поэтому забываются страдания, а хорошее — помнится. Может быть, прав Иосиф Бродский, сказавший недавно: «Я считаю, что вообще на Зле концентрироваться не следует. Это самое простое, что может сделать человек, то есть концентрироваться на тех обидах, которые ему были нанесены и т.д. ...О Зле, о дурных поступках людей, не говоря о поступках государства, легко думать — это поглощает. И это как раз и есть дьявольский замысел!»

Если бы писатели следовали этой логике, то у нас не было бы Достоевского, Шаламова, да и вообще многих! С другой стороны, как улучшить государство, если не думать о его «плохих поступках»?

Увы, жанр беседы очерчивает лишь внешний сюжет жизни человека, здесь же гораздо важнее сюжет внутренний.

В небольшой квартирке Люси и Бориса всегда люди, смех, кухонные посиделки. Но для Бориса этого мало. Стоит ему узнать, что кто-то приехал из Союза — и он звонит незнакомому человеку, встречается с ним и вновь — долгие российские разговоры...

Никаких обид и претензий ни к кому, ни в прошлом, ни в настоящем. Любимая фраза Бориса Вайля: «все хорошо». И грустно смотреть, как наше иерархическое видение мира мы переносим и на диссидентов; где-то в недостижимых инстанциях и их рассортировали на группы. Пока высочайшим Указом гражданство вернули самым именитым, остальные ожидают своей очереди.

Будь моя воля, начала бы с Бориса Вайля...

Марина ЦВЕТАЕВА

ГЕРОЙ ТРУДА

(Записи о Валерии Брюсове)

Часть первая.

«И с тайным восторгом гляжу я в лицо врагу».

Бальмонт

I

Поэт

Стихи Брюсова я любила с 16 л. по 17 л. — страстной и краткой любовью. В Брюсове я ухитрилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до дна, до гла лишен — песню, песенное начало. Больше же стихов его — и эта любовь живет и поныне — его «Огненного Ангела», тогда — и в замысле и в исполнении, нынче только в замысле, в замысле и в воспоминании, «Огненного Ангела» — в неосуществлении. Помню, однако, что уже тогда, 16-ти лет, меня хлестнуло на какой-то из страниц слово «интересный», рыночное и расценочное, немислимое ни в веке Ренаты, ни в повествовании об Ангеле, ни в общей патетике вещи. Мастер — и такой промах! Да, ибо мастерство — не все. Нужен слух. Его не было у Брюсова.

Антимузыкальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда стихотворений — антимузыкальность сущности, суть, отсутствие реки. Вспоминаю слово недавно скончавшейся своеобразной и глубокой поэтессы Аделаиды Герцык о Максе Волошине и мне, тогда 17-летней: «В Вас больше реки, чем берегов, в нем — берегов, чем реки». Брюсов же был сплошным берегом, гранитным. Сопровождающий и сдерживающий (в пределах города) городской береговой гранит — вот взаимоотношение Брюсова с современной ему живой рекой поэзии. За-городом набережная теряет власть. Так, не предотвратил ни окраинного Маяковского, ни ржаного Есенина, ни героя своей последней и жесточайшей ревности — небывалого, как первый день творения, Пастернака. Все же, что город, кабинет, цех, если не иссякло от него, то приняло его очерта-ния.

Вслушиваясь в неумолчное слово Гете: «In der Beschränkung Zeigt sich erst der Meister»¹ — слово, направленное на преодоление в себе безмерности (колыбели всякого творчества и, именно как колыбель, преодоленной быть долженствующей).

Печатается по тексту, опубликованному в журнале «Воля России», IX-X, XI. Прага, 1925.

¹ «Мастер проявляется прежде всего в самоограничении» (нем.). Здесь и далее цифры обозначены примечания редактора.

щей), нужно сказать, что в этом смысле Брюсову нечего было преодолевать: он родился ограниченным. Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе *границы* никому не дано. Брюсов был мастером в гетевском смысле слова только, если бы преодолел в себе природную границу, раздвинул, а может быть и — разбил себя. Брюсов, в ответ на Моисеев жезл, немотствовал. Он остался invulnéable¹ (во всем объеме непереводаемо), вне лирического потока. Но, утверждаю, матерьялом его был гранит, а не картон.

(Гетевское слово — охрана от демонов: может быть самой крайней, тайной, безнадежной страсти Брюсова).

Брюсов был римлянином. Только в таком подходе — разгадка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались в Троянские бои, — вспомните раненую Афродиту! молящую Фетиду! омраченного — неминуемой гибелью Ахилла — Зевса. Брюсовские боги выселись и восседали, окончательно покончившие с заоблачьем и осевшие на Земле боги. Но, настаиваю, матерьялом их был мрамор, а не гипс.

Не хочу лжи о Брюсове, не хочу посмертного ляганья Брюсова. Брюсов не был *quantité negligefble*², еще меньше — *qualité*³. По рождению русский целиком, он являет собой загадку. Такого второго случая в русской лирике не было: застегнутый наглухо поэт. Тютчев? Но это — в жизни: в черновике, в подстрочнике лиры. Брюсов же именно в творении своем был застегнут (а не забит ли?) наглухо, бронирован без возможности прорыва. Какой же это росс? И какой же это поэт? Русский — достоверно, поэт — достоверно тоже: в пределах воли человеческой — поэт. Поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу: многоокие (многооконные), но — слепые какие-то, с полной немыслимостью, в них, жизни. Казенные (и, уже лирически) *казненные*. Таким домом мне мерещится творчество Брюсова. А в высших его достижениях гранитным коридором, выход которого — тупик.

Брюсов: поэт входов без выходов.

Чтобы не звучало голословно, читатель, проверь: хотелось ли тебе хоть раз продлить стихотворение Брюсова? (Гетевское: «Verweile doch! du bist so schon!»⁴) было ли у тебя хоть раз чувство оборванности (вел и бросил), разверзалась ли хоть раз на неучтимость сердечного обмирания за строками — страна, куда стихи только ход: в самой дальней дали — на самую дальнюю даль — распахнутые врата. Душу, как музыка, срывал тебе Брюсов? («Все? уже?») Душа, как после музыки, взмаливалась к Брюсову: «уже? еще!» Выходил ли ты хоть раз из этой встречи — неудовлетворенным?

Нет, Брюсов удовлетворяет вполне, дает все и ровно то, что обещал, из его книги выходишь, как из выгодной сделки (показательно: с другими поэтами — книга ушла, ты вслед, с Брюсовым: ты ушел, книга — осталась) — и, если чего-нибудь не хватает, то именно — неудовлетворенности.

(Под каждым стихотворением Брюсова невидимо проставленное «конец». Брюсов, для цельности, должен был бы проставлять его и графически (типографически).

¹ Непроницаемым (фр.).

² Ничтожно малой величиной (фр.).

³ Качественный, первоклассный (фр.).

⁴ «Остановись! Ты так прекрасно!» (нем.).

Творение Брюсова больше творца. На первый взгляд — лестно, на второй — грустно. Творец, это все завтрашние творения, все будущее, вся неизбежность возможности: неосуществленное, но не неосуществимое — неучтимо — в неучтисмости своей непобедимое: завтрашний день.

Дописывайте до конца, из жил бейтесь, чтобы дописать до конца, но если я, читая, этот конец почувствую, тогда — конец — Вам.

И — странное чудо: чем больше творение (Фауст), тем меньше оно по сравнению с творцом (Гете). Откуда мы знаем Гете? По Фаусту. Кто же нам сказал, что Гете — больше Фауста? Сам Фауст — совершенством своим.

Возьмем подобие:

— «Как велик Бог, создавший такое солнце!» и, забывая о солнце, ребенок думает о Боге. Творение, совершенством своим, отводит нас к творцу. Что же солнце, как не повод к Богу? Что же Фауст, как не повод к Гете? Что же Гете, как не повод к божеству? Совершенство не есть завершенность, совершается здесь, вершится — Там. Где Гете ставит точку — там только и начинается! Первая примета совершенности творения (абсолюта) — возбуждение в нас чувства сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше — чего? — предшествующего «выше», а эти выше уже поглощено последующим. Гора выше лба, облако выше горы, Бог выше облака — и уже беспредельное повышение идеи Бога. Совершенство (состояние) я бы заменила совершаемостью (непрерывностью). Прорыв в божество, настолько же несравненно большее Гете, как Гете — Фауста, вот что делает и Гете и Фауста бессмертными: малость их, величайших, по сравнению с без сравнения высшим. Единственная возможность на земле величия — дать чувство высоты над собственной головой.

— «Но Гете умер, Фауст остался!» А нет ли у тебя, читатель, чувства, что где-то — в герцогстве несравненно просторнейшем Веймарского — совершается — третья часть?

Обещание: завтра лучше! завтра больше! завтра выше! обещание, на котором вся поэзия — и нечто выше поэзии — держится: чуда над тобой и, посему, твоего над другими — этого обещания нет ни в одной строке Брюсова:

«Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярких певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов».

Слов вместо смысла, рифм вместо чувств... Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются!

Задание, овеществленное пятнадцать лет спустя «брюсовским Институтом Поэзии».

Наисовершеннейшее творение, спроси художника, только умысел: то, что я хотел — и не смог. Чем совершеннее для нас, тем несовершеннее для него. Под каждой же строкой Брюсова: все, что я смог. И большее, вообще, невозможно.

Как малого же он хотел, если столько смог!

Знать свои возможности — знать свои невозможности. (Возможность без невозможности — всемогущество.) Пушкин не знал своих возможностей, Брюсов — свои невозможности — знал. Пушкин писал на авось (при наичернейших черновиках — элемент чуда), Брюсов — наверняка (статут, Институт).

Волей чуда — весь Пушкин. Чудо воли — весь Брюсов.
Меньшого не могу (Пушкин. Всемогущество).

Большого не могу (Брюсов. Возможности).
 Раз сегодня не смог, завтра смогу. (Пушкин. Чудо).
 Раз сегодня не смог, никогда не смогу. (Брюсов. Воля).
 Но сегодня он — всегда мог.

Дописанные Брюсовым «Египетские ночи». С годными или негодными средствами покушение, — что его вызвало? Страсть к пределу, к смысловому и графическому тире. Чуждый, все природой своей, тайне, он не чтит и не чует ее в неоконченности творения. Не довелось Пушкину — доведу (до конца) я.

Жест варвара. Ибо, в иных случаях, довершать не меньшее, если не большее, варварство, чем разрушать.

Говорить чисто, все покушение Брюсова на поэзию — покушение с негодными средствами. У него не было данных стать поэтом (данные — рождение), он им стал. Преодоление невозможного. Kraftspröbe¹. А избрание самого себе обратного: поэзии (почему не естественных наук? не математики? не археологии?) не что иное, как единственный выход силы: самоборство.

И, уточняя; Брюсов не с рифмой сражался, а со своей нерасположенностью к ней. Поэзия, как поприще самоборения.

Поэт ли Брюсов после всего сказанного? Да, но не Божьей милостью. Стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, творец творца в себе. Не евангельский человек, не зарывший своего таланта в землю, — человек волей своей, из земли его вынудивший. Нечто создавший из ничто.

«Вперед, мечта, мой верный вол!»

О, не случайно, не для рифмы этот клич, более похожий на вздох. Если Брюсов когда-нибудь был правдив — до дна, то именно в этом вздохе. Из сил, из жил, как вол — что это, труд поэта? нет, мечта его! Вдохновение + воловий труд, вот поэт, воловий труд + воловий труд, вот Брюсов: вол, везущий воз. Этот вол не лишен величия.

У кого, кроме Брюсова, могло возникнуть уподобление мечты — волу? Вспомним Бальмонта, Вячеслава, Блока, Сологуба — говорю лишь о поэтах его поколения (почему выпадает Белый?) — кто бы, в какой час последнего изнеможения, произнес это «мечта — вол». Если бы вместо мечты — воля, стих был бы формулой.

Поэт воли. Действие воли, пусть кратко, в данный час — беспредельно. Воля от мира сего, вся здесь, вся сейчас. Кто так властвовал над живыми людьми и судьбами, как Брюсов? Бальмонт? К нему влеклись. Блок? Им болели. Вячеслав? Ему внимали. Сологуб? О нем гадали. И все — заслушивались. Брюсова же — слушались. Нечто от каменного гостя было в его появлениях на пирах молодой поэзии — Жуана. Вино оледенело в стаканах. Под дланью Брюсова гнулись, не любя, и иго его было тяжело. «Маг», «Чародей», — ни о зачаровывающем Бальмонте, ни о магическом Блоке, ни о рожденном чернокнижнике — Вячеславе, ни о не-нашем Сологубе, — только о Брюсове, об этом бесстрастном мастере строк. В чем же сила? Что за чары? Нерусская и нерусские: воля, непривычная на Руси, сверхъестественная, чудесная в тридевятом царстве, где, как во сне, все

¹ Проба сил (нем.).

возможно. Все, кроме голой воли. И на эту голую волю чудесное тридевятое царство Души — Россия — польстилась, ей поклонилась, под ней погнулась.* На римскую волю московского купеческого сына откуда-то с Трубной площади.

Сказка?

Мне кажется, Брюсов никогда не должен был видеть снов, но зная, что поэты их видят, заменял невиденные — выдуманными.

Не отсюда ли — от невозможности просто увидеть сон — грустная страсть к наркотикам?

Брюсов. Брюс. (Московский чернокнижник XVIII в.) Может быть, уже отмечено. (Зная, что буду писать, своих предшественников в Брюсове не читала, — не из страха совпадения, из страха, в случае перехулы, собственного перехвала.) Брюсов. Брюс. Созвучие не случайное. Рационалисты, принимаемые современниками за чернокнижников. (*Просвещенность*, превращающаяся на Руси в *чернокнижие*.)

Судьба и сущность Брюсова трагичны. Трагедия одиночества? Творима всеми поэтами.

«...Und sind ihr ganzes Leben so allein...»¹

(Рильке, о поэтах)

Трагедия пожеланного одиночества, искусственной пропасти между тобою и всем живым, роковое пожелание быть при жизни — памятником. Трагедия гордеца с тем грустным удовлетворением, что, по крайней мере, сам виноват. За этот памятник при жизни он всю жизнь напролом боролся: не долюбить, не передать, не снизить.

«Хотел бы я не быть Валерий Брюсов» —

только доказательство, что всю жизнь свою он ничего иного не хотел. И вот, в 1922 г. — пустой пьедестал, окруженный свистопляской ничегоков, никудыков, наплеваков. Лучшие — отпали, отвратились. Подонки, к которым он тщетно клонился, непогрешимым инстинктом низости чуя — величие, отплеывали («не наш! хорошо!»). Брюсов был один. Не один *над* (мечта честолюбца), один — *вне*.

«Хочется писать по-новому, — не могу!» Это признание я собственными ушами слышала в Москве, в 1920 г., с эстрады Большого зала Консерватории. (Об этом вечере — после.) *Не могу!* Брюсов, весь смысл которого был в «могу», Брюсов, который, наконец, не смог!

В этом возгласе был — волк. Не человек, а волк. Человек — Брюсов всегда на меня производил впечатление волка. Так долго — безнаказанного! С 1918 г. по 1922 г. — затравленного. Кем? Да той же поэтической нечистью, которая вопила умирающему (умер месяц спустя) Блоку: «Да разве Вы не видите, что Вы мертвы? Вы мертвец! Вы смердите! В могилу!» Поэтической нечистью: кокаинистами, спекулянтами скандала и сахараина, с которой он, мэтр, парнасец, сила, чары, братался. Которой, подобострастно и жалобно, подавал — в передней своей квартиры — пальто.

Оттолкнуть друзей, соратников, *современников* Брюсов — смог. Час не был их. Дела привязанностей — через них он переступил. Но без этих, именующих себя «новой поэзией» он обойтись не смог: их был — час!

* Поколение поэтов ведь та же Россия, и не худшая.

¹ «И всю жизнь они так одиноки...» (нем.).

Страсть к славе. И это — Рим. Кто из уже названных — Бальмонт, Блок, Вячеслав, Сологуб — хотел славы? Бальмонт? Слишком влюблен в себя и мир. Блок? Эта сплошная совесть? Вячеслав? На тысячелетия перерос. Сологуб?

Не сяду в сани при луне, —
И никуда я не поеду!

Сологуб с его великолепным презрением?

Русский стремление к прижизненной славе считает либо презренным, либо смешным. Славолюбие: себялюбие. Славу русский поэт искони предоставляет военным и этой славе преклоняется. — А «Памятник» Пушкина?* Прозрение — ничего другого. О славе же прижизненной:

«Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца», —

важнейшую: количественную базу — славы. Не удержусь, чтобы не привести вопль русского поэта современности: «О, с какой-бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать!»

Вопль каждого поэта, особенно русского, чем больше, тем громче. Только Брюсов один восхотел славы. Шепота за спиной: «Брюсов!», опущенных или вперенных глаз: «Брюсов!», похолодания руки в руке: «Брюсов!» Этот каменный гость был славолубцем. Не наше величие, для нас — смешное величие, скажи я это по-русски, звучало бы переводом: *une petitesse qui ne manque pas de grandour*¹.

«Первым был Брюсов, Анненский не был первым» (слова того же поэта). Да, несравненный поэт, Вы правы: единственный не бывает первым. Первый, это ведь, *степень*, последняя ступень лестницы, первая ступень которой — последний. Первый — условность, зависимость, в линии. Единственный — вне. У неповторимого нет второго.

Два рода поэзии:

Общее дело, творимое порознь.

(Творчество уединенных. Анненский.)

Частное дело, творимое совместно.

Кружковщина. Брюсовский Институт.)

Одного порока у Брюсова не было: мелкости их. Все его пороки, с той же мелкости начиная, *en grand*². В Риме, хочется верить, они были бы добродетелями.

Слава? Любовь к тебе — миллиардов. Власть? Перед тобой — миллиардов — страх.

Брюсов не славу любил, а власть.

У каждого свой глагол, дающий его деяния. Брюсовский — домогаться.

Есть некая низость в том, чтобы раскрывать карты поэта так, перед всеми.

Кружковщины нет (презренна!), круговая порука — есть. Судить о художнике могут — так, по крайней мере, принято думать и делать — все. Судить художника — утверждаю — только художники. Художник должен быть судим судом

* Есть и у Брюсова «Памятник». Кто читал — помнит.

¹ Малость, не лишенная величия (фр.).

² Крупный, масштабный (фр.).

либо товарищеским, либо верховным, — братьями по ремеслу, или Богом. Только им да Богу известно, что это значит: творить мир тот — в мирах сих. Обыватель поэту, каков бы он в жизни ни был — не судья. Его грехи — не твои. И его пороки уже предпочтены твоим добродетелям.

Avoir les rieurs de son côté¹ — вещь слишком легкая, эффект слишком грошевый. Я, de mon côté² хочу иметь не les rieurs³, а les penseurs⁴. И единственная цель этих записей — заставить друзей задуматься.

Цель прихода В. Я. Брюсова на землю — доказать людям, что может и чего не может, а главное все-таки что может — воля.

Три слова являют нам Брюсова: воля, вол, волк. Триединство не только звуковое — смысловое: и воля — Рим, и вол — Рим, и волк — Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов: волей и волком — в поэзии, волком (homo hominī lupus est⁵) в жизни. И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, покамест в Риме — хотя бы в отдаленнейшем из пригородов его — встанет — в чем, если не в мраморе? — изваяние:

Скифскому римлянину.
Рим.

II

Первая встреча

Первая встреча моя с Брюсовым была заочная. Мне было 6 лет. Я только что поступила в музыкальную школу Зограф-Плаксиной (старинный белый особнячок в Мерзляковском переулке на Никитской). В день, о котором я говорю, было мое первое эстрадное выступление, пьеса в четыре руки (первая в сборнике Леберт и Штарк), партнер — Евгения Яковлевна Брюсова, жемчужина школы и моя любовь. Старшая ученица и младшая. Все музыкальные искусства пройденные — и белый лист.

После триумфа (забавного свойства) иду к матери. Она в публике, с чужой пожилой дамой. И разговор матери и дамы о музыке, о детях, рассказ матери о своем сыне Валерии (а у меня сестра была Валерия, поэтому запомнилось), «таким талантливым и увлекающимся», пишущем стихи и имеющем недоразумения с полицией. (Очевидно, студенческая история 98 — 99 гг.? Был ли в это время Брюсов студентом, и какие это были недоразумения, — не знаю, рассказываю, как запомнилось.) Помню, мать соболезновала (стихам? ибо напасть не меньшая, чем недоразумения с полицией). Что-то о горячей молодежи. Мать соболезновала, другая мать жаловалась и хвалила. — «Такой талантливый и увлекающийся». — «Потому и увлекающийся, что талантливый». Беседа длилась. (Был антракт.) Обе матери жаловались и хвалили. Я слушала.

Полиция — зачем заниматься политикой — потому и увлекающийся — Так я впервые встретилась с звуком этого имени.

¹ Поставить в смешное положение (фр.).

² Здесь: рядом с собой (фр.).

³ Смешливый (фр.).

⁴ Мыслящий (фр.).

⁵ Человек человеку — волк (лат.).

III

Письмо

Первая заочная встреча — 6-ти лет, первая очная — 16-и.

Я покупала книги, у Вольфа, на Кузнецком, — ростановского Chantekclair'a, которого не оказалось. Неполученная книга, за которой шел, это в 16 лет то же, что неполученное, до востребования, письмо: ждал — и нету, нес бы — пустота. Стою, уже ища замены, но Ростан — в 16 лет? нет, и сейчас в иные часы жизни — незаменим, стою, уже не ища замены, как вдруг, за левым плечом, где ангелу быть полагается — отрывистый лай, никогда не слышанный, тотчас же узнаанный:

— «Lettres de Femmes»¹, Прево, «Fleurs du mal»² Бодлера, и — «Chantekclair'a», пожалуй, хотя я и не поклонник Ростана.

Поднимаю глаза, удар в сердце: Брюсов!

Стою, уже найдя замену, перебираю книги, сердце в горле, за такие секунды — и сейчас! — жизнь отдам. И Брюсов настойчивым методическим лаем, откусывая и отбрасывая слова: «Хотя я и не поклонник Ростана».

Сердце в горле — и дважды. Сам Брюсов! Брюсов Черной мессы, Брюсов Ренаты, Брюсов Антония! И — не поклонник Ростана; Ростана L'Aigon³, Ростана — Мелизаиды, Ростана — Романтизма!

Пока дочувствовала последнее слово, дочувствовать которого нельзя, ибо оно — душа, Брюсов, сухо щелкнув дверью, вышел. Вышла и я — не вслед, а на встречу: писать ему письмо.

Дорогой Валерий Яковлевич,
(Восстанавливаю по памяти.)

Сегодня, в магазине Вольфа, Вы, заказывая приказчику «Chantekclair'a», добавили: «Хотя я и не поклонник Ростана». И не раз утвердили, а дважды. Три вопроса:

Как могли Вы, поэт, объявлять в своей нелюбви к другому поэту — приказчику?

Второе: Как можете Вы, написавший Ренату, не любить Ростана, написавшего Мелизаиду?

Третье: — и как смогли предпочесть Ростану — Марсея Прево?

Не подошла тогда же, в магазине, из страха, что Вы примете это за честолюбивое желание «поговорить с Брюсовым». На письмо же Вы вольны не ответить.

Марина Цветаева.

Адреса, чтобы не облегчать ответа — не приложила. (Я тогда была в VI классе гимназии, моя первая книга вышла лишь год спустя, Брюсов меня не знал, но имя моего отца знал достоверно и, при желании, ответить мог.)

Дня через два — не ошибаюсь — на адрес Румянцевского Музея, директором которого состоял мой отец (жили же мы в своем доме, в Трехпрудном) — закрытка. Не открытка — недостаточно внимательно, не письмо — внимательно слишком, die goldene Mitte⁴, выход из положения — закрытка. (Брюсовское — «не передать»). Вскрываю:

«Милостивая Государыня, г-жа Цветаева»,

¹ «Письма женщины» (фр.).

² «Цвет зла» (фр.).

³ «Орленка» (фр.).

⁴ Золотая середина (нем.).

(NB! Я ему — дорогой Валерий Яковлевич, и был он меня старше лет на двадцать!)

Вступления не помню. Ответа на поэта и приказчика просто не было. Марсель Прево испарился. О Ростане же, дословно, следующее:

«Ростан прогрессивен в продвижении от XIX в. к XX в. и регрессивен от XX в. к нашим дням», — (дело было в 1910 г.). «Ростана же я не полюбил, потому что мне не случилось его полюбить. *Ибо любовь — случайность* (подчеркнуто).

Еще несколько слов, указывающих на желание не то встречи, не то дальнейшей переписки, но невяно, иначе бы запомнила. И — подпись.

На это письмо я, естественно (ибо страстно хотелось!) не ответила.

Ибо любовь — случайность.

Письмо это живо, хранится с моими прочими бумагами у друзей, в Москве. Первое письмо осталось последним.

IV

Два стишка

Первая моя книга «Вечерний альбом» вышла, когда мне было 17 лет, — стихи 15-ти, 16-ти, 17-ти лет. Издала я ее по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, — взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было знаменательно.

Книгу издать в то время было просто: собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить по счету, — всё. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой VII класса. По окончании печатания свезла все 500 книжек на склад, в богом забытый магазин Спиридонова и Михайлова (почему?) и успокоилась. Ни одного экземпляра на отзыв мною отослано не было, я даже не знала, что так делают, а знала бы — не сделала бы: напрашиваться на рецензию! Книги моей, кроме как у Спиридонова и Михайлова, нигде нельзя было достать, отзывы, тем не менее, появились — и благожелательные: большая статья Макса Волошина, положившая начало нашей дружбы, статья Марьютты Шагинян (говорю о, для себя, ценных) и, наконец, заметка Брюсова. Вот что мне из нее запало:

«Стихи г-жи Цветаевой обладают какой-то жуткой интимностью, от которой временами становится неловко, точно заглянул в окно чужой квартиры...» (Я, мысленно: дома, а не квартиры!)

Середину, о полном овладении формой, об отсутствии влияния, о редкой для начинающего самобытности тем и явления их — как незапомнившуюся в словах — опускаю. И, в конце: «Не скроем, однако, что бывают чувства более острые и мысли более нужные, чем:

«Нет! ненавистна мне надменность фарисея!»

Но, когда мы узнаём, что автору всего семнадцать лет, у нас опускаются руки...»

Для Брюсова такой подход был необычаен. С отзывом, повторю, поздравляла. Я же, из всех приятностей запомнив, естественно, неприятность, отшучивалась: «Мысли более нужные и чувства более острые?» Погоди же!

Через год вышла моя вторая книга «Волшебный фонарь» (1912, затем переиздан по 1922 г., писала, но не печатала) — и в ней стишок —

В. Я. Брюсову

Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, —
Не изменишь все равно!

«Острых чувств» и «нужных мыслей»
 Мне от Бога не дано.
 Нужно петь, что все темно,
 Что над миром сны нависли...
 — Так теперь заведено, —
 Этих чувств и этих мыслей
 Мне от Бога не дано!*

Словом, войска перешли границу. Такого-то числа такого-то года я, никто, открывала военные действия против — Брюсова.

Стишок не из блестящих, но дело не в нем, а в отклике на него, Брюсова.

«Вторая книга г-жи Цветаевой «Волшебный фонарь», к сожалению, не оправдала наших надежд. Чрезмерная, губительная легкость стиха...» (ряд неприятностей, которые не помню, и, в конце:) «Чего же, впрочем, можно ждать от поэта, который сам признается, что острых чувств и нужных мыслей ему от Бога не дано».

Слова из его первого отзыва, взятые мною в кавычки, как *его* слова, были явлены без кавычек. Я получила — дурой. (Валерий Брюсов, «Далекие и близкие», книга критических статей.)

Рипост¹ был мгновенный. Почти вслед за «Волшебным фонарем» мною был выпущен маленький сборник из двух первых книг, так и называвшийся «Из двух книг», и в этом сборнике, черным по белому:

В. Я. Брюсову

Я забыла, что сердце в Вас — только ночник,
 Не звезда! Я забыла об этом!
 Что поэзия Ваша из книг
 И из зависти — критика. Ранний старик,
 Вы опять мне на миг
 Показались великим поэтом.

Любопытно, что этот стих возник у меня не после рецензии, а после сна о нем, с Ренатой, волшебного, которого он никогда не узнал. Упор стихотворения — конец его, и я бы на месте Брюсова ничего, кроме двух последних слов, не вычитала. Но Брюсов был плохой читатель (душ).

Отзыва, на сей раз, в печати не последовало, но в «горах» (его крутой души) «отзыв» длился — всю жизнь.

Не обольщаюсь. Брюсов в опыте моих чувств, точнее: в молодом опыте вражды значил для меня несравненно больше, чем я — в его утомленном опыте. Во-первых, он для меня был Брюсов (твердая величина), меня не любящий, я же для него — X, его не любящий и значущий только потому и тем, что его не любящий. Я не любила Брюсова, он не любил кого-то из молодых поэтов, да еще женщину, которых, вообще, презирал. Этого у меня к нему не было — презрения, ни тогда, на вершине его славы, ни спустя — под обломками ее. Знаю это по волнению, с которым сейчас пишу эти строки, непогрешимому волнению, сообщаемому нам только величием. Дерзала — да, дерзила — да, презирала — нет. И, может быть, и дерзала-то и дерзила только потому, что не умела (не хотела?) иначе выявить своего, сильнеешего во мне, чувства ранга. Словом, ес-

* «Волшебный фонарь», стр. 111.

¹ Фехтовальный выпад.

ли перенести нашу встречу в стены школы, дерзила директору, ректору, а не классному наставнику. В моем дерзании было благоговение, в его задетости — раздражение. Значительность же вражды в прямой зависимости от значительности объекта. Посему в этом романе нелюбви в выигрыше (ибо единственный выигрыш всякого нашего чувства — собственный максимум его) — в выигрыше была я.

V

«Семья поэтов»

Той же зимой 1911 г. — 1912 г., между одним моим рифмованным выпадом и другим, меня куда-то пригласили читать — кажется, в «О-во Свободной Эстетики». (Должны были читать все молодые поэты Москвы.) Помню какую-то зеленую комнату, но не главную, а ту, в которой ждут выхода. Черная густая мужская группа поэтов и, головой превышая, действительно оглавляя — Брюсов. Вхожу и останавливаюсь, выжидая чьего-нибудь первого шага. Он был сделан тот час же — Брюсовым.

— А это — поэтесса Марина Цветаева. Но так как «все друзья в семье поэтов», то можно (поворот ко мне) без рукопожатий. (Не предвосхищенное ли советское «рукопожатия отменяются», но у советских — из-за чесотки, а у Брюсова из-за чего?)

Нацеливаюсь на, из всей группы единственного мне знакомого, Рубановича, подхожу и здороваюсь за руку, затем с ближайшим его соседом: «Цветаева», затем с соседом соседа, и так на круговую, пока не перездоровалась со всеми, — всеми, кроме Брюсова. Это — человек было около двадцати — все-таки заняло известное время, тем более, что я, природно-быстрая, превратила проформу в чувство, обычай — в обряд. В комнате «царило молчание». Я представлялась: «Цветаева». Брюсов ждал. Пожав двадцатую руку, я скромно вышла из круга и стала в сторонке, невинно, чуть не по-институтски. И, одновременно, отрывистый, всей пастью, лай Брюсова:

— А теперь, господа, можно и начинать?

Чего хотел Брюсов своей «семьей поэтов»? Настолько, де, друзья, что и здороваться не стоит? Избавить меня от двадцати чужих рук в одной моей? Себя — от пяти минут бездействия? Щадил ли предполагаемую застенчивость начинающего?

Может быть, одно из перечисленных, может быть все вместе, а вернее всего подсознательное нежелание близкого, человеческого (и, посему обязывающего), через ладонь, знакомства. Отскок волка при виде чужой породы. Чутье на чужость. Инстинкт.

Так это и пошло с тех пор, обмен кивками. С каждым разом становилось все позднее и позднее для руки. Согласитесь, что проздоровавшись десять лет подряд всухую, неловко как-то, неприлично как-то, вдруг ни с того ни с сего — за руку.

Так я и не узнала, какая у Брюсова ладонь.

Премированный щенок

«Je faut a chacun donner son jouju»¹

E. Rostand.

Был Сочельник 1911 г. — московский, метельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Эфрона, за которого вско-

¹ «Каждому надо дать его игрушку» (фр.).

ре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина:

«Но Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах».

— Вот бы Вам взять приз — забавно! Представляю себе умиление Брюсова! Допустим, что Брюсов — Сальери, знаете, кто Моцарт?

— Бальмонт?

— Пушкин!

Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленные в последний час последнего дня (предельный срок был Сочельник) — идея была соблазнительной! Но — стих на тему! * Стих — по заказу! Стих — по мановению Брюсова! И второй камень преткновения, острейший, — я совсем не знала, кто Эдмонда, мужчина или женщина, друг или подруга. Если родительный падеж: кого-чего? — то Эдмонд выходил мужчиной, и Дженни его не покинет, если же именительный падеж: кто — что? — то Эдмонда — женщина, и не покинет свою подругу Дженни. Камень устранился легко. Кто-то, рассмеявшись и не поверив моему невежеству, раскрыл мне Пушкина на «Пире во время чумы» и удостоверил мужественность Эдмонда. Но время было упущено: над Москвой, в звездах и хлопьях, оползал Сочельник. К темноте, перед самым зажжением елок, я стояла на углу Арбатской площади и передавала седому посыльному в красной шапке конверт, в котором еще конверт, в котором еще конверт. На внешнем был адрес Брюсова, на втором (со стихами) девиз (конкурс был тайный, с обнаружением автора лишь по присуждению приза), на третьем — тот же девиз, с пометкой: имя и адрес. Нечто вроде моря-окияна, острова Буяна и Кашеевой смерти в яйце. «Письмецо» я Брюсову посылала на дом, на Цветной бульвар, в виде подарка на елку.

Каков же был девиз? Из Ростана, конечно:

«Je faut a chacun donner son jouju»**

E. Rostand.

Каков же был стих? Не на тему, конечно, стих, написанный вовсе не на Эдмонда, за полгода до, своему Эдмонду, стих не только не на тему, а обратный ей, и, обратностью своей, подошедший.

Вот он:

«Но Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах».

Вспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю,
Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю.***
Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где все — покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.
Виденья райские с усмешкой провожая,
Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая,
Земной напев!
Вспоминанье слишком давит плечи.
Настанет миг — я слез не утаю...

* Теперь думаю иначе.

** NB! Брюсову, напр., конкурс.

*** Лучше бы: не повторю.

Ни здесь, ни там — нигде не надо встречи,
И не для встреч проснемся мы в раю!

Стих этот я взяла из уже набиравшегося тогда «Волшебного фонаря», вышедшего раньше выдачи, но уже после присуждения премий («Волшебный фонарь», стр. 75).

С месяц спустя — я только что вышла замуж — как-то заходим с мужем к издателю Кожебаткину.

— Поздравляю Вас, Марина Ивановна!

Я, думая о замужестве: — Спасибо.

— Вы взяли первый приз, но Брюсов, узнав, что это Вы, решил Вам, за молодостью, присудить первый из двух вторых.

Я рассмеялась.

Получать призы нужно было в «О-ве Свободной Эстетики». Подробности стерлись. Помню только, что когда Брюсов объявил: «Первого не получил никто, первый же из двух вторых — г-жа Цветаева», — по залу прошло недоумение, а по моему лицу усмешка. Затем читались, кажется, Брюсовым же, стихи, после «премированных» (Ходасевич, Рафалович, я) — «удостоившиеся одобрения», не помню чьи. Выдача самих призов производилась не на эстраде, а у входного столика, за которым что-то вписывала и выписывала милая, застенчивая, всегда все по возможности сглаживавшая и так выигрывавшая на фоне брюсовской жесткости — жена его, Жанна Матвеевна.

Приз — именной золотой жетон с черным Пегасом — непосредственно Брюсовым — из руки в руку — вручен. Хотя не в рукопожатии, но руки встретились! И я, продевая его сквозь цепочку браслета, громко и весело: — Значит, я теперь — премированный щенок?

Ответный смех залы и — добрая — внезапная — волчья — улыбка Брюсова. «Улыбка» — условность, просто внезапное обнаружение и такое же исчезновение зубов. Не улыбка? Улыбка! Только не наша, волчья. (Оскал, осклаб, ощер.)

Тут я впервые догадалась, что Брюсов — волк.

Если не ошибаюсь, в тот же вечер я в первый (и единственный) раз увидела поэтессу Львову. Невысокого роста, в синем скромном, черно-глазо-брово-головая, яркий румянец, очень курсистка, очень девушка. Встречный, к брюсовскому наклону, подъем. Совершенное видение мужчины и женщины: к запрокинутости гордости *им* — снисхождение гордости *собой*. С трудом сдерживаемая кругом ошастливленность.

Он — охаживал.

Часть вторая

РЕВОЛЮЦИЯ

I

Лито

Премированным щенком заканчивается мой юношеский эпизод с Брюсовым. С 1912 г. по 1920 г. мы — я жила вне литературной жизни — не встречались.

Был 1919 г. — самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню кто, кажется Ходасевич надоумил меня снести книгу

стихов в Лито* — «Лито ничего не печатает, но все покупает». Я: «Чудесно». — «Отделом заведует Брюсов». Я: «Чудесно, но менее. Он меня не выносит». — «Вас, но не Ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все-таки — пять дней хлеба».

Переписала «Юношеские стихи» (1913 г. — 1916 г., до сих пор неизданные) и «Версты» (изданы в 1922 г. Госиздатом) и, взяв в правую — пятилетнюю тогда ручку своей дочери Али, в левую — рукопись, пошла пытаться счастья в Лито. Никитская, кажется? Брюсова не было, был кто-то, кому я рукопись вручила. Вручила и кануло — стихи и я.

Прошло около года. Я жила, стихи лежали. Вспоминала о них с неизменной неприязнью, как о вещи одолженной, во-время не спрошенной и потому уже — не моей. Все же, как-то собралась. Прихожу в Лито: пустота: Буданцев. «Я пришла узнать про две книги стихов, сданных около году назад». Легкое смущение, и я, выручая: «Я бы хотела получить обратно рукописи, — ведь ничего, очевидно, не вышло?» Буданцев, радостно: «Не вышло, не вышло, между нами — Валерий Яковлевич *очень* против Вас». — «Здесь и малого достаточно. Но рукописи — живы?» — «Живы, живы, сейчас верну». — «Чудесно. Это больше, чем в наши дни может требовать поэт».

Итак, домой с рукописями. Дома раскрываю, листаю, и — о сюрприз — второй в жизни автограф Брюсова! В целых три строчки отзыв — его рукой!

«Стихи М. Цветаевой, как непечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны». Нет, еще что-то было, запомнила, как всегда высшую ноту — конец. Зрительное же впечатление именно трех строк брюсовского сжатого, скупого, озабоченного почерка. Что могло быть в тех полтора? Не знаю, но хуже не было. Отзыв сей, вместе с прочими моими бумагами, хранится у друзей, в Москве. Развитием римской формулировки Брюсова — российски-пространственная (на сей раз машинная) отписка его поклонника, последователя и ревнителя — С. Боброва. «До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти...» Это о «Юношеских стихах», о «Верстах» же помню всего одно слово, да и то не точно, вижу его написанным, но прочесть не могу, вроде «гносеологические», но означающее что-то, касающееся ритмики. «Стихи написаны тяжелым, неудобоваримым, «гносеологическим» ямбом...» Брюсов дал тему, Бобров провариировал, в итоге — рукописи на руках.

Госиздат в 1922 г., в лице цензора коммуниста Мещерякова, оказался и стоговорчивее и великодушнее.

(Написав слово «цензор» вдруг осознала: до чего само римское звучание соответствовало Брюсову! Цензор, ментор, диктатор, директор, цербер...)

Потом Буданцев, при встрече, горячо и трогательно просил отзывы вернуть. — «Вам не полагалось их читать, это мой недосмотр, с меня взыщут!»

— Помилуйте, да ведь это же мой *titre de noblesse*¹; тютчевский патент на благородство, почетный билет всюду, где чтят поэзию!

— Перепишите и верните подлинники!

— Как!? Я — отдать автограф Брюсова? Автограф автора «Огненного Ангела»? (Пауза.) Отдать, когда можно — продать? Уеду за границу и там продам, так и передайте Брюсову!

— А отзыв Боброва? Ну, хоть Боброва верните!

— А Боброва за компанию. Три строки Брюсова — столько-то, в придачу четыре страницы Боброва. Так и передайте Боброву.

Отшучивалась и оставалась непреклонной.

* Литературный отдел.

¹ Дворянская грамота (фр.).

II

Вечер в Консерватории

(Запись моей, тогда семилетней, дочери Али)*

Никитская, 8

Вечер в Б. Зале Консерватории

Темная ночь. Идем по Никитской в Большой Зал Консерватории. Там будет читать Марина и еще много поэтов. Наконец, пришли. Долго бродим и ищем поэта В. Г. Шершеневича. Наконец, маме попадается знакомый, который проводит нас в маленькую комнатку, где уже сидели все кто будет читать. Там сидел старик Брюсов с каменным лицом (после вечера я спала под его пальто). Я просила Марину поиграть на рояле, но она не решается. Скоро после того как мы вошли, я начала говорить стихи мамы к Брюсову, но она удержала меня. К маме подошел какой-то человек с завитыми волосами и в синей рубахе. Вид был нагльца. Он сказал: «Мне передали, что Вы собираетесь выйти замуж». — «Передайте тем, кто так хорошо осведомлен, что я сплю и во сне вижу увидеться с Сережей, Алиным папой»**. Тот отошел. Скоро стал звонить первый звонок. К маме подошел Буданцев и пошел с ней на эстраду. Я пошла с ней. Эстрада похожа на сцену. Там стоит ряд стульев. Там сидели Марина, я и еще много народу. Первый раз вышел Брюсов. Он прочел вступительное слово, но я там ничего не слушала, потому что не понимала. Затем вышел имажинист Шершеневич. Он читал про голову, на голове стоит ботанический сад, на ботаническом саду стоит цирковой купол, а на нем сажу я и смотрю в чрево женщины как в чашу. Бедные машины, они похожи на стадо гусей, то есть на трехугольник. Весна, весна, ей радуются автомобили. И все вроде этого. Потом стал читать стихи Брюсов. После него вышла маленькая женщина с дуговатыми зубами. Она была в рваной фуфайке, с коротким лицом. У нее точно не было ни крыльев, ни шерсти, ни даже шкуры. Она держала в руках свое тощее тело и не может ни приручить его к себе, ни расстаться с ним. Наконец, вызвали маму. Она посадила меня на свое место, а сама подошла к читальному столу. Глядя на нее все засмеялись. (Наверное оттого, что она была с сумкой***.) Она читала стихи про Стеньку Разина. Она читала ясно, без всяких иностранных слов. Она стояла как ангел. Весь народ в зале так смотрел на читающего, как ястреб или сова на беззащитную птицу. Какой-то имажинист сказал: «Посмотри ка. На верхних ложах сидят «одинокие». Они не держатся стайей». Она читала не очень громко. Один мужчина даже встал и подошел поближе к эстраде. Стенька Разин, тут стихи о том, как он любил персианочку. Потом его сон, как она пришла к нему за башмачком, который уронила на корабле. Потом она, когда кончила, поклонилась****, чего никто не делал. Ей рукоплескали коротко, но все. Марина села опять на свое место, посадив меня на колени. После нее стал читать драму какой-то молодой черный человек, который сидел бок о бок с нами. Начало: под потолком в цирке на тоненькой веревочке висит танцовщица, а под ней на арене стоит горбач и хвалит ее. «Аля! Уйдем отсюда, это будет долго длиться». — «Нет, Марина, посмотрим как будет». Марина просила, и я, наконец, согласилась. Мы вышли и прошли в потайную комнату. Там не было никого, кроме какой-то женщины, которая недавно приехала из деревни. Я с совершенно осоловелым видом села на стул и мама предложила мне лечь пока никто не пришел. Я согласилась с удовольствием. Я легла. Деревенская женщина предложила меня покрыть, и Марина накрыла чьим-то пальто. Вскоре после того как я легла, ввалилась вся толпа поэтов. В комнатке

* Запись, не измененная ни в одном знаке.
 ** Муж с декабря 1917 г. был в армии.
 *** Офицерской походной.
 **** Подчеркнуто в подлиннике.

было только четыре стула. Люди садились на столы, на подоконники, а я, хоть и слышала смутно, что они садились даже на рояль, только протягивала ноги. Около самой распертой ручки примостилась мама с тощей поэтессой. «Она спит». «Нет, у ней глаза открыты». «Аля, ты спишь?» «Ннет». Белые точки, головки, лошадки, мужики, дети, дома, снег... Круглый сад с белыми грядками. Решетка черная. Серый цирковой купол с крестом. А под ботаническим садом красная трехугольная чаша. Это мне приснились стихи сумасшедшего Шершеневича. Очнувшись, сбрасываю с себя одеяло из пальто на волчьем меху. Мама совсем задущена моими ногами. Поэты ходят, сидят на полу. Я села на диване. Мама обрадовалась, что я могу дать место другим. У стола стоят два человека. Один в летнем коротком пальто, другой в зимней дохе. Вдруг короткий понесся к двери откуда вошел худой человек с длинными ушами. «Сережа, милый, дорогой, Сережа, откуда ты?» «Я восемь дней ничего не ел». «А где ты был, наш Сереженька?» «Мне дали пол-яблока там. Даже воскресенья не празднуют. Ни кусочка хлеба там не было. Едва едва вырвался. Холодно. Восемь дней белья не снимал. Ох, есть хочется!» «Бедный! а как же ты вырвался?» «Выхлопотали». Все обступили его и стали расспрашивать. Скоро мама получила 10 советских и мы стали собираться в поход. Я стала искать свои варежки и капор. Наконец мы снарядились и пошли. Мы вышли каким-то извилистым черным ходом в темный двор Большой Консерватории. Мы вышли. По всей Никитской стоят** фонари. Горит примус где-то в окне. Лаает собака. Я все время падаю и мы идем разговариваем о Брюсове. Освещены витрины с куклами, с книгами.*** Я сказала: «Брюсов — камень. Он похож на дедушку Лорда Фаунтельроя. Его может полюбить только такое существо, как Фаунтельрой. Если бы его повели на суд, он бы ложь говорил, как правду, а правду, как ложь».

Москва, начало декабря 1920 г.

Несколько дней спустя, читая «Джунгли».

— Марина! Вы знаете — кто Шер-Хан? — Брюсов! — Тоже хромой и одинокий, и у него там тоже Адалис. (Приводит: «А старый Шер-Хан ходил и открыто принимал лесть...») Я так в этом узнала Брюсова! А Адалис — приبلуда, из молодых волков.

Восполню пробелы. Войдя со мной в комнату и сразу, по моему описанию, распознав Брюсова, Аля уже жила исключительно им. Так, все предложения поиграть на рояле — исключительно для него, продержаться в страхе: а что — заиграю? Брюсов усиленно не глядел, явно насторожась, чья, что неспроста и не зная, во что разыграется (*Telle mere, telle fille*¹). В случае чего, положение выходило нелепейшее: с семилетними (а выглядела она, по советскому художочию, пятилетней) не связываются. (Убеждена, что считался и с двухлетними!)

Примечание второе. Декламация моих стихов к Брюсову — Брюсову же — экспромт, от которого я похолодела. Чувство, что в комнате сразу стало тесно, — не комната, а клетка, и не только волк в ней — я с ним! Точное чувство совместной запертости с волком, с той же, первых секунд, неловкостью и зверя и человека. Но было и другое. Здесь, в этой спертости, почти лоб в лоб, при стольких свидетелях! Услышать от семилетнего, с такими чудесными глазами! ребенка — браваду его, так еще недавно семнадцатилетней, матери. Ушами слышать! Воушию! Был бы Брюсов глубок, будь у него чувства более острые, чем: Брюсов! (нужных мыслей у него было вдоволь) — перешагни он через себя, он бы оценил эту повторяемость явлений...

* Сергей Есенин.

** Но не горят.

*** По ночам — от воров — комиссионных магазинов.

¹ Какая мать, такая и дочь (фр.).

«Я забыла, что сердце в Вас — только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия Ваша — из книг...»

Остановила на первой, остановилась на третьей строке. Но была, в этом вызове, кроме мести за меня, унаследованная от меня, и тотчас мною узнанная — *влюбленность вражды*. И, если стих внезапно не окончился поделуем — то только из застенчивости. (Такой породы в ласке робки, не в ударе.)

Что думал? Невоспитанная девочка? Нет, воспитанная. Подученная мною? Явно — нет, он же видел чистоту моего испуга. Не понравиться — внешне — тоже не могла (Вячеслав Иванов: «раскрывает сердце и входит»). Думаю, что единственное, что он думал: «скорей бы!» И — о ужас! — он на эстраду, она (со мной) — за ним! Сидим чуть ли не рядом. Что еще ждет? Какой «экспромт»?

К его чести скажу, что волчьей шубы своей с нее, спящей, он не снял, хотя спешил. Покашливал и покашливал. Во оправдание же свое скажу, что именно *его* шубы не выбирала. Просто — меховая! Хорошо под мехом! Аля сможет сказать: «Я спала под шкурой врага».

О руке же не снявшей:

Если умру я, и спросят меня:
«В чем твое доброе дело?»
Молвлю я: «Мысль моя майского дня
Бабочке зла не хотела.»

(Бальмонт)
Марина Цветаева

III

Вечер поэтесс

«Не очень много шили там,
И не в шитье была там сила...»

Летом 1920 г., как-то поздно вечером ко мне неожиданно вошла... вошел... женский голос в огромной шляпе. (Света не было, лица тоже не было.)

Привыкшая к неожиданным посещениям — входная дверь не запиралась — привыкшая ко всему на свете и выработавшая за советские годы привычку никогда не начинать первой, я, вполоборота, ждала.

— Вы Марина Цветаева? — Да. — Вы так и живете без света? — Да. — Почему же вы не велите починить? — Не умею. — Чинить или велеть? — Ни того, ни другого. — Что же вы делаете по ночам? — Жду. — Когда зажжется? — Когда большевики уйдут. — Они не уйдут никогда. — Никогда.

В комнате легкий взрыв двойного смеха. Голос в речи был протяжен, почти что пенье. Смех явствовал ум.

— А я Адалис. Вы обо мне не слышали? — Нет. — Вся Москва знает. — Я всей Москвы не знаю. — Адалис, с которой — которая... Мне посвящены все последние стихи Валерия Яковлевича Брюсова. Вы ведь очень его не любите? — Как он меня. — Он Вас не выносит. — Это мне нравится. — И мне. Я Вам бесконечно благодарна за то, что Вы ему никогда не нравились. — Никогда.

Новый смех. Волна обоюдной приязни растет.

— Я пришла спросить Вас, будете ли Вы читать на вечере поэтесс. — Нет. — Я так и знала, и сразу сказала В. Я. Ну, а со мной одной будете? — С Вами одной, да. — Почему? Вы ведь моих стихов не знаете. — Вы умны и остры и не можете писать плохих стихов. Еще меньше — читать. (Голос вкрадчиво:) — Со мной и с Радловой? — Коммунистка? — Ну, женский коммунизм... — Согласна, что муж-

ской монархизм — лучше (Пауза). Донской. Но, шутки в сторону, партийная или нет? — Нет, да нет же! — И вечер совершенно вне. — Совершенно вне. — Вы, Радлова и я. — Вы, Радлова и я. — Платить будут? — Вам заплатят. — О, не скажите! меня любят, но мне не платят. — Брюсов Вас не любит и Вам заплатит. — Хорошо, что Брюсов меня не любит! — Повторяю, не выносит. Знаете, что он сказал, получив Ваши рукописи? «Я высоко ценю ее, как поэта, но как женщину я ее не выношу, и она у меня никогда не пройдет!» — Но ведь стихи предлагал поэт, а не женщина! — Знаю, говорила — говорили — непереубедим. Что у Вас, собственно, с ним было?

Рассказываю, смеясь, то, что читатель уже знает. Адалис: — Он мстителен и злопамятен. — Я никогда не считала его ни христианином, ни славянином. — И, временами, непомерно мелок. — За «непомерно» прощаю.

С поэтессой Адалис мы, если не подружились, приятельствовали. Она часто забегала ко мне, чаще ночью, всегда взволнованная, всегда голодная, всегда неожиданная, неизменно острая. — В. Я. меня к Вам ревнует, я постоянно говорю о Вас. — С целью или без цели? — И так и так. От одного звука Вашего имени у него лицо темнеет. — Зачем темнить. И так не из светлых.

Внешность Брюсова. Первое: негибкость, негнущность, вплоть до щетиной брызжущих из черепа волос («бобрик»). Невозможность изгиба (невозможность юмора, причуды, *imprévu*¹ — всего, что относится к душевной грации). Усы — как клыки, характерное французское *ep gros*². Усы нападчика, шевелящиеся в гневе. Форма головы — конус, посадка чуть кверху, взирание и вызов, неизменное свысока. Волевой, наполеоновский, *естественнейший* — сосредоточенной воли жест! — скрещивать руки. Руки вдоль тела — не Брюсов. Либо перо, либо крест. В раскосости и скулатости — переключка с Лениным. Топорная внешность, топором, а не резцом, но крепко, но метко. При негодности данных — сильнейшее *данное* (не дано, дал).

Здесь, как в творчестве, Брюсов явил из себя все, что мог.

А глаза каре-желтые, волчьи.

(Уже по написании этих строк. Одна моя знакомая, на мой вопрос, какое у него было лицо, с гениальностью женской непосредственности: «Не знаю, какое-то... обутое».)

У Адалис же лицо было светлое, рассмотрела белым днем в ее светлейшей светелке во Дворце Искусств (уг. Поварской и Кудринской, д. гр. Сологуба). Чудесный лоб, чудесные глаза, весь верх из света. И стихи хорошие, совсем не брюсовские, скорее мандельштамовские, явно-петербургские. (Брюсов совершенно вне элементарного, но в чем-то правильного деления русской поэзии на Москву и Петербург.)

«Все говорят, что Брюсов мне их выправляет», жаловалась она, «но, уверяю Вас...» — Вам нечего уверять. Брюсову на поэтесс везет, и если выправлять, то во всяком случае не ему, в данный час, Ваши. — «Что Вы думаете о его стихах?» — Думаю? многое. Чувствую? ничего. — «Но большой мастер». — Но большой мастер.

Вот один из рассказов Адалис о Брюсове. Рассказ, от которого у меня сердце щемит:

¹ Неожиданность (фр.).

² Закрученные кверху (фр.).

«У В. Я. есть приемыш, четырехлетний мальчик, он его нежно и трогательно любит, сам водит гулять и особенно любит все ему объяснять по дороге. «Вот это называется фронтон. Повтори: «фронтон» — «Фронтон». — «А это вот колонна — дорическая. Повтори: дорическая». — «Дорическая». — «А эта вот, завитком, ионический стиль. Повтори!» — «Ионический». И т. д. и т. д. И вот недавно, — он мне сам рассказывал — собачка навстречу, с особенным каким-то хвостом, закорючкой. И мальчик Брюсову: «А эта собачка — какого стиля? Ионийского или дорийского?»»

Наше совместное выступление с Адалис состоялось больше полугода спустя, кажется в феврале 1921 г. Нельзя сказать, чтобы меня особенно вдохновили голубые афиши «Вечер поэтов» — перечень девяти имен — со вступительным словом Валерия Брюсова. Речь шла о трех, здесь трижды три, вместо выступления — выставка. От одного такого женского смотра я в 1916 году уже отказалась, считая, что есть в поэзии признаки деления более существенные, чем принадлежность к мужескому или женскому полу, и, отродясь брезгуя всем, носящим клеймо женской (массовой) отдельности, как то: женскими курсами, суффражизмом, феминизмом, армией спасения, всем пресловутым женским вопросом, за исключением военного его разрешения: сказочных царств Пенфезилей — Брунгильды — Марьи Моревны — и не менее сказочного петроградского женского батальона. (За школы кройки, впрочем, стою.) Женского вопроса в творчестве нет: есть, женские, на человеческий вопрос, ответы, как то: Сафо — Иоанна д'Арк — Св. Тереза — Беттина Брентано. Есть восхитительные женские вопли («Lettres de M-elle de Lespinasse»)¹, есть женская мысль (Мария Башкирцева), есть женская кисть (Rosa Bonheur), но все это — уединенные, о женском вопросе и не подозревавшие, его этим неподозрением — уничтожавшие (уничтожившие).

Но Брюсов, этот мужчина в поэзии rarexcellence², этот любитель пола вне человеческого, этот нелюбитель душ, этот: правое-левое, черное-белое, мужчина-женщина, на такие деления и эффекты, естественно, льстился. Только вспомнить его «Стихи Нелли»; — анонимную книгу от лица женщины, выдавшую автора именно бездушностью своей, — и удивительное по скудосердию предисловие к стихам Каролины Павловой. И не только на деление мужчина-женщина льстился, — на всякие деления, разграничения, разъятия, на все, что подлежало цифре и графе. Страж при сорока-четырёх-разрядном кладбище — вот толкование Брюсовым вольного братства поэзии и его роль при нем. Для Брюсова поэт без «ист» не был поэтом. Так, в 1920 г., кажется, на вопрос почему на вечер всех поэтических направлений («кадриль литературы») не были приглашены ни Ходасевич, ни я, его ответ был: «Они — никто. Под какой же я поставлю их рубрикой?» (Думаю, что для Ходасевича, как для меня, такое «никто» — лишний titre de noblesse³.)

Брюсов всю жизнь любопытствовал женщинам. Влекся, любопытствовал и не любил. И тайна его разительного неуспеха во всем, что касается женской Психеи, именно в этом излишнем любопытствовании, в этом дальнейшем разъятии и так уже трагически разъятого, в изъятии женщины из круга человеческого, в этом искусственном обособлении, в этом им самим созданном зачарованном ее кругу. Волей здесь не возьмешь, и невольно вспоминается прекрасный перевод из весьма посредственного поэта:

Спросили они: «Как красавиц привлечь,
Чтоб сами, без чары, на страстную речь

¹ «Письма м-ль де Леспинас» (фр.).

² В высшей степени (фр.).

³ Дворянская грамота (фр.).

Оне нам в объятия пали?»
— Любите! — оне отвечали.

Было у Брюсова все: и чары, и воля, и страстная речь, одного не было — любви. И Психея — не говорю о живых женщинах — поэта миновала.

Вечер поэтесс был объявлен в Б. зале Политехнического Музея. Помню ожидальню, бетонную с одной единственной скамейкой и с пустотой от — только что вынесенной — ванны. Поэтесс, по афише соответствовавших числу девять, (только сейчас догадалась, — девять Муз! Ах, ложно-классик! Казалось не девять, а трижды столько. Под напором волнения, духов, повышенных температур (многие кашляли), сплетен и кокаина промерзлый бетон поддался и потек. В каморке стоял пар. Сквозь пар белесые же пятна — лица, красные кляксы — губы, черные — *sigonflex*¹ — брови. Поэтессы, при всей разномастности, удивительно походили друг на друга. Поименно и полично помню: Адалис, Бэнар, поэтессу Мальвину и Поплавскую. Пятая — я. Остальные, в пару, испарились. От одной, впрочем, уцелел малиновый берет, в полете от виска до предельно спущенного с плеча выреза срезавший ровно пол-лица. В этой параллельной асимметрии берета и выреза была неприятная симметрия: симметрия двух кривизн. Одеты были поэтессы, кроме Адалис (в закрытом темном) соответственно темам и размерам своих произведений — вольно и, по времени (1921 г.) роскошно. Вижу одну, высокую, лихорадочную, сплошь танцующую, — туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Она была страшна и очаровательна, тем десятого сорта очарованием, на которое нельзя не льститься, стыдиться льститься, на которое бесстыдно, во всеуслышанье — льщусь. Из зрительных впечатлений, кроме красного берета и чачоточных мехов, уцелел еще гамэновский очерк поэтессы Бэнар — головка Гавроша на вольном стволе шеи — и, тридцатых годов, подчеркнуто — неуместно — нестерпимо — невиданное видение поэтессы Мальвины, — «стильной» вплоть до голубых стеклянных бус под безоблачным полушарием лба.

Выставка, внешне, обещала быть удачной, Брюсов не прогадал.

Не упомянуть о себе, перебрав, приблизительно, всех, было бы лицемерием, итак: я в этот день была явлена «Риму и Миру» в зеленом, вроде подрясника, — платьем не назовешь (перифразировка лучших времен пальто), честно (то есть тесно) стянутом не офицерским даже, а юнкерским, I-й Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже, сумка (коричневая, кожаная, для полевого бинокля или папирос), снять которую сочла бы изменой и которую сняла только на третий день по приезде (1922 г.) в Берлин, да и то по горячим просьбам поэта Эренбурга. Ноги в серых валенках, хотя и не мужских, по ноге, в окружении лакированных лодочек, глядели столпами слона. Весь же туалет, в силу именно чудовищности своей, снимал с меня всякое подозрение в нарочитости («ne peut pas qui veit»²). Хвалили тонкость тальи, о ремне молчали. Вообще, скажу, что в чуждом мне мире профессионалок наркотической поэзии меня встретили с добротой. Женщины, вообще, добрей. Мужчины ни голодных детей, ни валенок не прощают. Та же П-ская, убеждена, тотчас же сняла бы с плеч свои соболя, если бы я ей сказала, что у меня голодает ребенок. Жест? Да. И цельнее жеста Св. Мартина, царственно с высоты коня роняющего нищему половину (о ирония!) плаща. (Самый бездарный, самый мизерный, самый позорный из всех жестов даяния!)

¹ Надстрочный знак (^) во французском языке.

² Не может, кто хочет (фр.).

Берет, соболя, 30-х годов пробор, Гаврош, мой подрясник (об Адалис обо), — если не прогадал Брюсов, не прогадал и зал.

Вспомнила в процессе переписки, еще двух: грузинскую княжну, красивую, с кажется, неплохими стихами, и некую Сусанну — красавицу — совсем без стихов.

Эстрада. Эстрада место явное. Явленность же и в самом звуке: «Здравствуй! радуйтесь!» Эстрада: поднятая от земли площадь, и самочувствие на ней — самочувствие на плацдарме, перед ликом толп, конного. Страсти эстрады — боевые. Уж одно то, что ты фактически, — физически — выше всех, создает друзей и врагов. То, что терпимо и даже мило в комнате («нет техники, но есть чувство», «нет размера, но есть чувство», «нет голоса, но есть чувство») на эстраде — преступно. Превысив — хотя бы на три пяди! — средний уровень паркета, ты этим обязался на три сажени превысить средний (салонный) уровень в твоём искусстве. У эстрады свой масштаб: беспощадный. Место, где нет полумер. Один против всех (первый Скрябин, например), или один за всех (последний Блок, например), в этих двух формах — формула Эстрады. С остальным нужно сидеть дома и увеселять знакомых.

Эстрада Политехнического Музея — не эстрада. Место, откуда читают — дно морей. Выступающий — утопленник (утопающий), на которого давит все людское море, или же жертва, удушенная кольцевыми движениями удава (амфитеатр). Зритель на являемого — наваливается. Голос являемого — глас из глубины морей, вопль о помощи, не победы. Если освистан — конец, ибо даже того, чисто физически встающего утешения нет, что снизу. Освищенный на подмостках проваливается только до среднего уровня (зрителя), освищенный в Политехническом Музее — ниже возможного, в тартарары. Тебя освистывает весь человеческий верх, вся идея верха. Эмпиреи, освистывающие тартар. И не только освистывающие. Притяжение ли бездны, выявление ли чувства власти и легкости, но высота особенно располагает к швырянию предметов. Стадное чувство безнаказанности, единоличное чувство иерархически-топографического превосходства, тут же переходящее в превышение прав. Политехнический Музей — незамеченное место стадной наглости и убийственного — для авторской робости. Макс Волошин однажды (доклад о Репине) героически с ним совладал.

И, догадавшись, эстрада Политехнического Музея — просто арена, с той разницей, что тигры и львы — сверху.

Итак, арена. Мороз. И постепенным повышением взгляда — точно молясь на зрителя! — полупечи, ожерелья, лампийные гирлянды — лиц. (Кстати, почему лица, в наш век бескровные, в 1920 же году явно зеленые, с эстрады — неизменно розовые?) Гляжу на поэсс: синие. Зал — три градуса ниже нуля, ни одна не накинет пальто. Вот он, героизм красоты. По грубоватости гула и сильному запаху голенищ заключаю, что зал молодой и военный.

Пока Брюсов переживает — так и не наступающую — тишину, вчувствываюсь в мысль, что отсюда, с этого самого места, где стою (посмешищем), со дна того же колодца так недавно еще подымался голос Блока. И как весь зал, задержав дыхание, ждал. И как весь зал, опережая запинку, подсказывал. И как весь зал, — отпустив дыхание — взрывался! И эту прорванную плотину — стремнину — лавину — всех к одному, — который один за всех! — любви.

— Товарищи, я начинаю.

Женщина. Любовь. Страсть. Женщина, с начала веков, умела петь только о любви и страсти. Единственная страсть женщины — любовь. Каждая любовь женщины — страсть. Вне любви женщина, в творчестве, ничто. Отнимите у женщины страсть... Женщина... Любовь... Страсть...

Эти три слова, все в той же последовательности, возвращались через каждые иные три, возвращались жданно и неожиданно, как цифры высказывают в так-

сометре мотора, с той разницей, что цифры новые, слова ж все те же. Уши мои, уже уставшие от механики, под волосами наострялись. Что до зала, он был безобразен, непрерывностью гула, вынуждая лектора к все большей и большей смысловой и звуковой отрывистости. Казалось — зал читает лекцию, которую Брюсов прерывает отдельными выкриками. Стыд во мне вставал двойной: *таким* читать! *такое* читать! с *такими* читать! Тройной.

Итак: женщина: любовь: страсть. Были, конечно, и иные попытки, — поэтесса Ада Негри с ее гуманитарными запросами. Но это исключение и не в счет. (Даю почти дословно.) Лучший пример такой односторонности женского творчества являет собой... являет собой... — Пауза. — Являет собой, товарищи, вы все знаете... Являет собой известная поэтесса... (с раздраженной мольбой:) — Товарищи, самая известная поэтесса наших дней... являет собой поэтесса...

Я, за самой его спиной, вполголоса, явственно: — Львова?

Передерг плечей и — почти что выкриком: — Ахматова! Являет собой поэтесса — Анна — Ахматова...

...Будем надеяться, что совершающийся по всему миру и уже совершившийся в России социальный переворот отразится и на женском творчестве. Но пока, утверждаю, он еще не отразился, и женщины все еще пишут о любви и о страсти. О любви и о страсти...

Уши под волосами, определенно — встали. Торопливо листаю и закладываю спичками черную конторскую книжечку стихов.

— Теперь же, товарищи, вы услышите девять русских поэтесс, может быть различающихся в оттенках, но по существу одинаковых, ибо, повторяю, женщина еще не умеет петь ни о чем, кроме любви и страсти. Выступления будут в алфавитном порядке... (Кончил — как оторвал, и, вполоборота, к девяти музам:) — Товарищ Адалис?

Тихий голос Адалис: «Валерий Яковлевич, я не начну». — Но... — «Бесполезно, я не начну. Пусть начинает Бэнар». И звонкий гамэновский голосочек: «Товарищ Брюсов, я не хочу первая...» В зале смешки. Брюсов к третьей, к четвертой, ответ, с варьянтами, один: «Не начну». (Варьянты: «боюсь», «невыгодно», «не привыкла первой», «стихи забыла» и пр.) Положение — крайнее. Переговоры длятся. Зал уже грохочет. И я, дождавшись того, чего с первой секунды знала, что дождусь: одной миллиардной миллиметра поворота в мою сторону Брюсова, опережая просьбу, просто и дружески: «В. Я., хотите начну?» Чудесная волчья улыбка (вторая — мне — за жизнь!) и, освобожденным лаем:

— Товарищи, первой выступит (подчеркнутая пауза) *поэт* Цветаева.

Стою, как всегда на эстраде, опустив близорукие глаза к высоко поднятой тетрадке, — спокойная — пережидая (тотчас же наступающую тишину). И явственнейшей из дикций, убедительнейшим из голосов:

Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет...
 А вот потомки, вспомнив старину:
 — Где были вы? — Вопрос, как громом грянет,
 Ответ, как громом грянет: на Дону!
 Что делали? — Да принимали муки,
 Потом устали и легли на сон...
 И в словаре задумчивые внуки
 За словом: долг напишут слово: Дон.

Секунда пережидания и — рукоплещут. Я, чуть останавливая рукой — дальше. За Доном — Москва («кремлевские бока», и «Гришка — вор»), за Москвой — Андрей Шенья («Андрей Шенья взошел на эшафот»), за Андреем Шенья — Ярославна, за Ярославной — лебединый стан, так (о седьмом особо) семь стихов подряд. Нужно сказать, что после каждого стиха наставала недоуменная секунда тишины (то ли слышу?) и (очевидно, не то!) прорвалась — рукоплещут. Эти рукоплескания меня каждый раз, как Конек-Горбунок — царевича, выносили. Кроме того, подтверждали мое глубочайшее убеждение в том, что с первого раза, да еще с голосу, смысл стихов, вообще, не доходит, — скажу больше: что для боль-

шинства в стихах дело вовсе не в смысле, и — не слишком много скажу, — что на вечере поэтесс дело уже вовсе не в стихах. Здесь же, после предисловия Брюсова (пусть не слушали — слышали!) я могла разрешить себе решительно все, — le pavillon¹ (Брюсов с его любовью и страстью souvire la marchandise² меня, например, с моей Белой Гвардией). Делая такое явное безумие, я преследовала две, нет три, четыре цели: 1) семь женских стихов без любви и местоимения «я», 2) проверка бессмысленности стихов для публики, 3) переключка с каким-нибудь одним, понявшим (хоть бы курсантом!), 4) и главная: исполнение здесь, в Москве 1921 г., *долга чести*. И вне целей, бесцельное — пуще целей! — простое и крайнее чувство: — а ну?

Произнося, вернее собираясь произнести некоторые строки («Да, ура! За царя! Ура!») я как с горы летела. Но произнесла, но сейчас — уже волей не моей, а стиха — произнесу. Произношу. Неотвратимость.

Стих, оказавшийся последним, был и моей, в тот час, перед красноармейцами — коммунистами — курсантами — моей, жены белого офицера, последней правдой:

«Кричали женщины ура
И в воздух чепчики бросали...»

Руку на́ сердце положи:
Я не знатная госпожа!
Я — мятежница лбом и чревом.

Каждый встречный, вся площадь, — всё! —
Подтвердят, что в дурном родстве
Я с своим родословным древом.

Кремль! Черна чернотой твоей!
Но не скрою, что всех мощей
Преценнее мне — пепел Гришки!

Если ж чепчик кидаю вверх,
Ах! не так же ль кричат на всех
Мировых площадях — мальчишки?!

Да, ура! — За царя! — Ура!
Восхитительные утра
Всех, с начала вселенной, въездов!

Выше башен летит чепец!
Но — миную литой венец
На челе истукана — к звездам!

В этом стихе был мой союз с залом, со всеми залами и площадями мира, мое последнее — всё розни перекрывающее — доверие, взлет всех колпаков — фригийских ли, семейственных ли — поверх всех крепостей и тюрем — я сама — самая я.

— Г-жа Цветаева, достаточно, — повелительно-просящий шепот Брюсова. Вполоборота Брюсову: «Более чем», поклон залу — и в сторонку, давая дорогу.

— Сейчас выступит товарищ Адалис.

Товарищ Адалис в тот вечер, точнее в тот месяц ее жизни, выступать совсем не следовало, и выступление ее, как всякое пренебрежение возможными, неми-

¹ Шатер (фр.).

² Припрятывать товар (фр.).

нуемыми усмешками — героизм. Усмешки были, были и, явственно, смешки. Но голос, как всегда (а есть он не всегда) сделал свое: зал втянулся, вслушался. (Не в голосовых средствах дело: «on a toujours asser de voix etre entendu»¹.) А — Адалис, Б — Бэнар. Стихи Бэнар, помню, показались мне ультра-современными, с злободневной дешевкой: мир — мы, мгла — глаз, туч — стучу, рифмовкой искусственной, зрительной, ничего не дающей слуху и звучащей только у (впервые ее введшей) Ахматовой — у которой все звучит. Темы и сравнения из мира железобетонного, острота звуков без остроты смыслов, не думаю, чтобы ценные — уж очень современные! — стихи. Бэнар, кивком откланявшись, устранилась.

На смену Бэнар — элегическое явление Мальвины. У нее был альбом, и поэты вписывали в него стихи, — не какие-нибудь и не какое-нибудь, — мне посчастливилось открыть его на изысканно-простом посвящении Вячеслава. («Вячеслав» не из короткости с поэтом и не из заглавной фамильярности, — из той же ненужности этому имени фамилии, по которой фамилия Бальмонт обходится без имени, Вячеслав покрывает Иванова, как Бальмонт — Константина. Иванов вслед за Вячеславом — то же, что Романов вслед за Монархом — революционный протокол.)

Итак, перед входящим во вкус залом элегическая ручьевая ивовая Мальвина: — О чем? — О ручьях и об ивах, кажется, о беспредметной тоске весны. (Брюсов, Брюсов, где же пресловутые любовь и страсть? Я — Белую Гвардию, Адалис — описательное, Бэнар — машины, Мальвина — ручейки (причем все, кроме меня, неумышленно!) Уж не есть ли ты сам — та женщина в единственном числе, и не придется ли тебе, во оправдание слов твоих, выступить после девяти муз — десятой?)

Стихов лихорадочной меховой красавицы мне услышать не довелось — не думаю, чтобы кокаин располагал к любовному — дослушав воркование мальвинных струй пошла проведать тот час же по выступлении исчезнувшую Адалис. Когда я вошла, товарищ Адалис лежала на скамейке, с вострия лакированной туфельки по вострие подбородка укутанная в подобие шубы. Вид был дроглый и невеселый. — Ну как? — Всё читают. — А В. Я.? — Слушает. — А зал? — Смотрит — Позор? — Смотрины.

Закурили. Зубы тов. Адалис лязгали. И внезапно, сбрасывая шубу: «Вы знаете, Ц-ва, мне кажется, что у меня начинается». — Воображение. — «Говорю Вам, что у меня начинается». — А я говорю, что кажется. — «Откуда Вы знаете?» — Слишком эффектно: вечер поэтесс — и... Вроде папессы Жанны. Это бывает в истории, в жизни так не бывает. — Смеется. И через минуту Адалис, певуче: «Ц-ва, я не знаю, начинается или нет, но можете Вы мне оказать большую услугу?» Я, что-то чуя: — Да! — Так подите скажите В. Я., что я его зову — срочно. — Прервав чтение? — Это уж — как хотите. — Адалис, он расвирепееет. — Не посмеет, он Вас боится, особенно после сегодняшнего. — Это ваше серьезное желание? — *Serieux comme la mort*².

Вхожу в перерыв рукоплеска собольехвостой, отзываю в сторону Брюсова и, тихо и вятно, глаза в глаза: «Товарищ Брюсов, товарищ Адалис просит передать Вам, что у нее, кажется, начинается». Брюсов, бровями: — ? — «Что — не знаю, передаю, как сказано, просит немедленно зайти: срочно».

Брюсов отрывисто выходит, вслед не иду, слушаю следующую, одну из тех, что испарились. (Кстати, нерусскость имен и фамилий: Адалис, Бэнар, Сусанна, Мальвина, полька Поплавская, грузинская княжна на «или» или «идзе». Нерусскость на этот раз совпавшая с неорганичностью поэзии. Совпадение далеко не заведомое: Мандельштам, например, не только русский, но определенной российской фамилии — поэт. Державиным я в 1916 г. его окрестила первая:

«Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!»

¹ Всегда достаточно голоса, чтобы быть услышанным (фр.).

² Seriously как смерть (фр.).

И тот же Брюсов, купеческий сын, москвич, ни Москвы, ни России ни краем не отразивший. Национальность не ничто, но не всё).

Через четыре четверостишия явление Брюсова, на этот раз он ко мне: «Г-жа Цветаева, товарищ Адалис просит Вас зайти»... тоже тихо и вятно, тоже глаза в глаза. Вхожу: Адалис перед зеркалом пудрит нос. — «Это ужасный человек, ничему не верит». Я: «Особенно, если каждый день «начинается». Адалис, капризно: «Почему я знаю? Ведь может же, ведь начнется же когда-нибудь!.. Я его посылаю за извозчиком — не идет: «мое место на эстраде». — «А мое — над. Давайте, схожу?» — «Цветаева, миленькая, но у меня ни копейки на извозчика, и мне, действительно, скверно». — «Взять у Брюсова?» Она, испуганно: «Нет, нет, сохрани Бог!»

Вытрясаем, обе, содержимое наших кошельков — безнадежно, не хватает и на четверть извозчика.

Вдруг — порыв ветра, надушенного, многоречивого и тревожного. Это собольхвостая влетает, в сопровождении молодого человека в куртке и в шапке с ушами. Жемчуга на струнной шее гремят, соболиные хвосты летят, летят и оленьи уши.

— «Je Vous assure, je Vous assure, ji Vous jure»¹... Чистейшая французская речь с ее несравненным — в горле или в нёбе? нет, в венах и крови гнездящимся — жемчужным, всю славянскую душу переворачивающим — эр. — «Mais ce gue je voudrais bien savoir, Madame», — это уши задыхаются, — «Si c'est Vous ou Votre mari qui m'avez vendu»²... Как слепые, как одержимые, не слышат, не видят. Молодой человек в последней степени неистовства, женщина сдерживается, только пристук лака о бетон. (Была бы змея, стучал бы самый хвостик.) — «Это N», — уже забыв об извозчике нашептывает мне в ухо Адалис, — «она — баронесса, недавно вышла замуж за барона, а молодой человек...»

Молодой человек и женщина уже говорят одновременно, не слушая, не отвечая, не прерывая, — сплошные рулады р, каждый одно, каждый свое. — «Je Vous assure, je Vous assure, ji Vous jure»³... — «Je le saurai, Madame!»⁴ Частят слова: Tchena, fisille, perquisition⁵. Жемчуга в крайней опасности: вот-вот оборвет, посыплется, раскатятся теми же россыпями горловых рулад. — «Je Vous assure, je Vous assure, je...»

Глаза у героини светлые, невидящие, превышающие собеседника и жизнь. На лунатическом лице только рот один живет, не смыкающийся, неустанно выбрасывающий рулады, каскады, мириады р. От этих р у меня уже глаза смыкаются, сонная одурь, как от тысячи грохочущих ручьев. Сцена из романа? Да. Из бульварного? Да. Равна бульвару по красавости только заставка. Но положение изменилось, теперь уже женщина наступает, настагает, швыряет в лицо оскорбление за оскорблением, а мужчина весь сжался, как собственные уши под меховыми, сползся, ссохся, — совсем на нет — нет! Загнала собольхвостая — оленьешего!

— А черт бы ее взял — женскую поэзию! Никакого сбора! Одни курсанты да экскурсанты. Говорил я В. Я.-чу, а он: «женская лырыка, женская лырыка»... Вот тебе и лырыка, — помещение да освещение!

Это физический импрессарио вошел, устроитель вечера, восточный на «идзе». (Ему, кстати, принадлежит всю Москву облетевшая тогда оценка ныне покойного писателя Гершензона, после одного убыточного для него, идзе, выступления последнего: «Как мог я думать, что Союз Писателей выпустит такого дурака?!»)

¹ Я Вас уверяю, я Вас уверяю, я Вам клянусь... (фр.).

² Но я хотел бы знать, мадам... Вы сами или Ваш муж меня продали... (фр.).

³ Я Вас уверяю, я Вас уверяю, я Вам клянусь... (фр.).

⁴ Но я это узнаю, мадам! (фр.).

⁵ Чека, расстрел, обыск (фр.).

Я: — При Людовике XIV поэт Жильбер от лирики с ума сошел и ключ от рукописей проглотил, в XVIII веке англичанин Чэттертон — уже не помню, что — но от нее же, Андрей Шенье — голову обронил. Вредная вещь лирика, радуйтесь, что так дешево отделались.

— Это Вы про господ поэтов говорите, — их дело, что такую профессию выбирают, — ну а я, госпожа поэтесса, при чем?

— Возле лирики околачивается. Нажить — с лирики!

— И напрасно думаете! Кто, Вы думаете, устраивал вечера Игоря Северянина? Ваш покорный слуга. И отлично на этом Игоре заработал, и он в обиде не остался. Дело не в поэзии, а в —

— В бабах. Вот вам и мораль: не связывайся с бабой, — всегда на бабах.

— Вам, госпожа поэтесса, смешно...

— Смешно. Женские души продавать! Вроде Чичикова! Вы бы телами занялись!

«Идзе», не слушая: — Получите свой гонорар и — (внезапно прерывая). Что там за катастрофа?

Выбегаем все: импрессарио, враждующие любовники, Адалис и я. Плотина прорвалась. Потолок не выдержал? Политехнический Музей возомнил себя Везувием? Или Москва проваливается — за грехи?

На эстраде, с милейшей, явнейшей, малиновейшей из улыбок — красный берет!

Легкое отступление. Рукоплескали нам всем, Адалис, Бэнар, поэтессе в жемчугах, Мальвине, мне — приблизительно равно: в пределах вполне удовлетворительного любопытства. Это же, это же был успех. (Успех наперед, в кредит, ибо не успела произнести еще ни слова, но — разве дело в словах?)

И вот, все еще безмолвное, постепенное, как солнце всходит, освещая гряды за грядой, ознакомление красного берета с амфитеатром. Должно быть кого-то узнала в первом ряду — кивок первому ряду, и в третьем должно быть тоже узнала, потому что и в третий кивок, и в пятый, и в пятнадцатый, и все разные, всем отдельные, не вообще — кивок, — кивок лукавый, кивок короткий, кивок с внезапным перебросом берета с уха на ухо, кивок поверхностный, кивок памятный... Как она была прелестна, как проста в своей радости, как скромна в своем триумфе. Рукоплескания упорствовали, зал, не довольствуясь приветствием рук, уже пустил в ход ноги, — скоро предметы начнут швырять! А улыбка ширилась, уходила в безбрежность, переходила границы возможности и губ, малиновый берет заламывался все глубже и глубже совсем в поднебесье, в рай, в раек. И — странно: зал не тяготился ожиданием, зал не торопил событий, зал не торопил, зал не хотел стихов, зал был счастлив — так.

— Товарищ X, начинайте! — Но товарищ берет не слышит, у него своя давность с залом. — Да начинайте же, товарищ X! — В голосе Брюсова почти раздражение. И, естественно, из всей фатаморганы видеть только спину да макушку заломленного берета!

По соседству голос «идзе»: «Вот бы ее — одну выпустить! Такая вечера не провалит!»

Стихи? Да были ли? Не помню ни слов, ни смыслов. И смыслы и слова растворялись, терялись, растекались в улыбке, малиновой и широкой, как заря. Да будь она хоть гением в женском естестве, больше о нем, чем этой улыбкой своей, она бы не сказала. Это не было улыбающееся лицо — их много, они забываются, это не был рот — он в улыбке терялся, ничего не было, кроме улыбки: непрерывной раздвигаемости — губ, уже смытых ею! Улыбка — и ничего кроме, раствор мира в улыбке, сама улыбка: улыбка. И если спросят меня о земле — на другой планете — что я там видела, что запомнила там, перебрав и отбросив многое — улыбнусь.

Но, с планеты на эстраду. Это выступление было решительным торжеством красного, не флагового кровавого товарищеского, красного, но с поправкой на

женское (цвет лица, масть, туалет), красного не площадного — уличного, боевого — но женски-боевого.

Так, если не в творчестве, то хоть в личности поэтессы, Брюсов в своих утверждениях касательно истоков женского творчества утвержден — был.

Выступление красного берета затягивается. Сидим с неутомной Адалис в бетонной каморке, ждем судьбы (деньги).

— Заплатят или нет? — Заплатят, но вот — сколько. — Обещано по тридцати. — Значит по десяти. — Значит по три.

Новый звуковой обвал Вавилонской башни, — очевидно, Берет покидает пост. Вавилон валится, валится, валится... Крики, проникающие даже в наш бетонный гроб:

— Красный дьявол! Красный дьявол! Дья-а-вола!

Я, к Адалис, испуганно: «Неужели это ее они так?» Та, смеясь: «Да нет, это у нее стихи такие, прощание с публикой, коронный номер. Кончит и конец. Идемте».

Застаем последний взмах малинового берета. Все эффекты к концу. И еще один взмах (эффект) непредвиденный — широкий жест, коим поэтесса, проходя, во мгновение и на мгновение ока — чистосердечно, от избытка чувств — запахивает Брюсова в свою веселую полосатую широкошумную гостеприимную юбку.

Этот предельный жест кладет и предел вечеру. На эстраде, опоясанный девятью Музами — скашиваю для лада и склада одну из нас — «восемь девок, один я». Последние, уже животным воем, вызовы, ответные укороченные предстоящими верстами домой, поклоны, гром виноградной гроздью осыпающегося, расходящегося амфитеатра, барьер снят, зал к барьеру, эстрада в зал.

Итог дня: не тридцать, не десять, но и не три, — девять. И цепкая ручка ивово-ручьево-Мальвины, вьевшаяся в стальную мою. Ножики 30-х годов, ошибившись столетием, не дождавшись кареты, не справляются с советской гололедницей, и приходится мне, за отсутствием более приятной опоры, направлять их по тротуарным глетчерам начала февраля Москвы 1921 года.

Вот и вся достоверность моих встреч с Брюсовым. — И только-то? — Да, жизнь меня достоверностями, вообще, не задаривает. Блока — два раза, Кузмина — раз, Сологуба — раз, Пастернака — много — пять, столько же — Маяковского, Ахматову — никогда, Гумилева — *никогда*.

С Вячеславом одна настоящая беседа за жизнь. (Были и везения, но перед горечью всего невзятого...)

Больших я в жизни всегда обходила, *окружала*, как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обремененности еще гору своей любви? Ибо, если не для любви — для чего же встречаться? На другое есть книги. И если не гора (беру во всех ее измерениях) — то какая же любовь? В этой смеси бережения и гордости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия — разгадка к многим (не только моим, вообще людским, потому упоминаю) разминованиям.

Беречь себя? От того, для чего в мир пришел? Нет, в моем словаре «бережение» всегда — другого.

А, может быть, так и нужно — дальше. Дальше видеть, чтоб больше видеть, чтоб большим видеть. И моя доля — дали между мной и солнцами — благая.

Так, на вопрос: «и только-то?», мой ответ: «да, но как!»

И обращаясь к наиболее полярнейшему из солнц, мне, полярному солнцу, — Брюсову, вижу. Брюсова я могла бы любить, если не как всякого поэта — Брюсов не в поэзии, а в воле к ней был явлен — то как всякую другую *силу*. И, окончательно вслушиваясь, доказываю: Брюсова я под искренним видом ненависти просто любила, только в этом виде любви (оттолкновении) сильнее, чем любила бы его в ее простейшем виде — притяжении.

Брюсов же этого, тугой на сердце, не расслышал и чистосердечно не выносил сначала «девчонки», а потом «женщины», весь смысл и назначение которой — утверждаю — в любви, а не в ненависти, в гимне, а не в эпиграмме.

Если Брюсов это, с высот ли низкого своего римского неба, из глубин ли готической своей высокой преисподни слышит, я с меньшей болью буду слышать звук его имени.

IV

Бальмонт и Брюсов

«Но я не размышляю над стихом
И, правда, никогда не сочиняю!»

Брюсов.

«И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов».

Бальмонт.

Бальмонт и Брюсов. Об этом бы целую книгу, — поэма уже написана: Моцарт, Сальери.

Обращено ли, кстати, внимание хотя бы одним критиком на упорное главенство буквы Б в поколении так называемых символистов? — Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок, Бальтрушайтис.

Бальмонт, Брюсов. Росшие в те годы никогда не называли одного из них, не назвав (хотя бы мысленно) другого. Были и другие поэты, не меньшие, их называли поодиночке. На этих же двух — как сговорились. Эти имена ходили в паре.

Парные имена не новость: Гете и Шиллер, Байрон и Шелли, Пушкин и Лермонтов. Братственность двух сил, двух вершин. И в этой парности тайны никакой. Но «Бальмонт и Брюсов» — в чем тайна?

В полярности этих двух имен — дарований — темпераментов, в предельной выявленности, в каждом, одного из двух основных родов творчества, в самой собой встающей сопротивляемости, во *взаимоисключенности* их.

Всё, что не Бальмонт — Брюсов, и всё, что не Брюсов — Бальмонт.
Не два имени — два лагеря, две особы, две расы.

Бальмонт* . Брюсовъ. Только прислушаться к звуку имен. Бальмонт: открытость, настежь — распахнутость. Брюсов: сжатость, (ю — полугласная, вроде его, мне тогда, закрытки), скупость, самость в себе.

В Брюсове тесно, в Бальмонте — просторно.

Брюсов глухо, Бальмонт: звонко.

Бальмонт: раскрытая ладонь — швыряющая, в Брюсове — скрип ключа.

Бальмонт. Брюсов. Царствовали тогда оба. В мирах иных, как видите, двоевластие, обратно миру нашему, возможно. Больше скажу: единственная примета

* Прошу читателя, согласно носителю, произносить с ударением на конце.

принадлежности вещи к миру иному — ее невозможность — нестерпимость — недопустимость — здесь. Бальмонто-Брюсовское же двоевластие являет нам неслыханный и немислимый в истории пример благого двоевластия не только на друзей — врагов. Как видите, учиться можно не только на *стихах* поэтов.

Бальмонт. Брюсов. Два полюса творчества. Творец-ребенок (Бальмонт) и творец-рабочий (Брюсов). (Ребенок, как der Spiler¹, игрун.) Ничего от рабочего — Бальмонт, ничего от ребенка — Брюсов. Творчество игры и творчество жили. Почти что басня «Стрекоза и Муравей», да в 1919 г. она и осуществилась, с той разницей, что стрекоза *моей* басни и тогда, умирая с голоду, *жалела* муравья.

Сохрани Боже нас, пишущих, от хулы на ремесло. К одной строке словесно-неровного Интернационала да никто не будет глух. Но еще более да сохраняют нас боги от брюсовских институтов, короче: ремесло да станет вдохновением, а не вдохновение ремеслом.

Плюсы обоих полюсов ясны. Рассмотрим минусы. Творчество ребенка. Его минус — случайность, произвольность, «как рука пойдет». Творчество рабочего. Его минус — отсутствие случайности, произвольности, «как рука пойдет», то есть: минус второго — отсутствие минуса первого. Бальмонт и Брюсов точно поделили меж собой поговорку: «на Бога надейся» (Бальмонт), «а сам не плошай» (Брюсов). Бальмонт не зря надеялся, а Брюсов в своем «не плошании» — не сплеховал. Оговорюсь: говоря о творческой игре Бальмонта, этим вовсе не говорю, что он над творением своим не работал. Без работы и ребенок не возведет своей песочной крепости. Но тайна работы и ребенка и Бальмонта в ее (работы) скрытости от них, в их неподозревании о ней. Гора щебня, кирпичей, глины. — Работашь? — Нет, играю. Процесс работы скрыт в игре. Пот превращен в упоение.

Труд-благословение (Бальмонт) и труд-проклятие (Брюсов). Труд Бога в раю (Бальмонт, невинность), труд человека на земле (Брюсов, виновность).

Никто не назовет Бальмонта виновным и Брюсова невинным, Бальмонта ведающим и Брюсова неведающим. Бальмонт — ненасытимость всеми яблоками, кроме добра и зла, Брюсов — оскомина от всех, кроме змиева.

Для Бальмонта — змея, для Брюсова — змий. Бальмонт змеей любит, Брюсов у змия учится. И пусть Бальмонт хоть в десяти тысячах строк воспевае змия, в родстве с ним не он, а Брюсов.

Брюсов греховен насквозь. От этого чувства греховности его никак не отделять. И поскольку чтение соучастие, чтение Брюсова — сопреступление. Грешен, потому что знает, знает, потому что грешен. Необычайно ощутимый на нем грех (прах). И тяжесть стиха его — тяжесть греха (праха).

При отступлении аскетизма — полное чувство греховности мира и себя. Грех без радости, без гордости, без горечи, без выхода. Грех, как обычное состояние. Грех — пребывание. Грех — тупик. И — может быть худшее в грехе — *скука* греха. (Таких в ад не берут, не жгут.)

Грех — любовь, грех — радость, грех — красота, грех — материнство. Только припомнить омерзительное стихотворение его «Девушкам», открывающееся:

«Я видел женщину. Кривясь от мук,
Она бесстыдно открывала тело,
И каждый стон ее был дикий звук...» —

¹ Игрок (нем.).

и кончающееся:

«О девушки! о мотыльки на воле!
 Вас на балу звенящий вальс влечет,
 Вы в нашей жизни, как цветы магнолий...
 Но каждая узнает свой черед
 И будет, корчась, припадать на ложе...
 Вы станете зверями! тоже! тоже!»

Это о материнстве, *смывающим* все!

К Брюсову, как ни к кому другому, пристало слово «блудник». Унылое и
 безысходное, как вой волка на большой дороге.

И, озарение: ведь блудник-то среди зверей — волк!

Бальмонт — бражник. Брюсов — блудник.
 Веселье бражничества — Бальмонт. Уныние блуда — Брюсов.
 И не чаро-дей он, блудо-дей.

Но, возвращаясь к работе его, очищению его:

Труд Бога в раю (Бальмонт) и труд Человека на земле (Брюсов). Восхи-
 щаясь первым, преклонимся перед вторым.

Да, как дети играют и как соловьи поют — упоенно! Брюсов же — в природе
 подобия не подберешь, хотя и напрашивался дятел — как каменщик молотит —
 сведенно. Счастье повиновенья (Бальмонт). Счастье преодоления (Брюсов).
 Счастье отдачи (Бальмонт). Счастье захвата (Брюсов). По течению собственно-
 го дара — Бальмонт. Против течения собственной неодаренности — Брюсов.

(Ошибочность последнего уподобления. Неодаренность, отсутствие, не мож-
 ет быть течением, наличностью. Кроме того, само понятие неодаренности в
 явном несоответствии с понятием текучести. Неодаренность: стена, предел, кос-
 ность. Косное не может течь. Скорей уж — лбом об стену собственной неодарен-
 ности: Брюсов. Ошибку оставляю, как полезную для читающих и пишущих.)

И, формулой: Бальмонт, как ребенок, и работая — играет, Брюсов, как гу-
 вернер, и играя — работает. (Тягостность его рондо, ронделей, ригурнелей, —
 всех поэтических игр пера.)

Брюсов: заведомо исключенный экспромт.

Победоносность Бальмонта — победоносность восходящего солнца: «есмы и
 тем побеждаю», победоносность Брюсова — в природе подобия не подберешь —
 победоносность воина, в целях своих и волей своей, останавливающего солнце.

Как фигуры (вне поэтической оценки) одна стоит другой.

Бальмонт. Брюсов. Их единственная связь — чужестранность. Поколением
 правили два чужеземных царя. Не время вдаваться — дам вежи (пусть *нашет* —
 читатель!). После «наируссейшего» Чехова и наи-русско-интеллигентнейшего
 Надсона (упаси Боже — приравнивать! в соцарствовании их повинно поколе-
 ние) — после настроений — нестроений — расслоений — после задушенно-
 стей — задушевностей — вдруг — «Будем как солнце!» Бальмонт, «Риму и Ми-
 ру» — Брюсов.

Нет, не русский — Бальмонт, вопреки Владимирской губернии, «есть в русской природе усталая нежность» (определение, именно точностью своей, выдающее иностранца), русским заговорам и ворожбам, всей убедительности тем и чувств, — нерусский Бальмонт, заморский Бальмонт. В русской сказке Бальмонт не Иван-царевич, а заморский гость, рассыпающий перед царской дочерью все дары жары и морей. Не последнее лицо в сказке — заморский гость! Но — спрашиваю, а не утверждаю — не есть ли сама нерусскость Бальмонта — примета именно русскости его? До-российская, сказочная, былинная тоска Руси — по морю, по заморью. Тяга Руси — из Руси вон. И, вслушиваясь, — нет. Тогда его тоска говорила бы по-русски. У меня же всегда чувство, что Бальмонт говорит на каком-то иностранном языке, каком не знаю, — бальмонтовском.

Здесь мы сталкиваемся с тайной. Органическая поэзия на неорганическом языке. Ибо, утверждаю, язык Бальмонта, в смысле народности, неограничен. Как сильна, должно быть органичность внутренняя и личная (единоличная), чтобы вопреки неорганичности словесной — словами же — доходить! О нем бы я сказала как один преподаватель в парижском Alliance française¹ в ответ на одну мою французскую поэму: «Vous êtes surement poete dans Votre lanque»².

Бальмонт, родившись, открыл четвертое измерение: Бальмонт! пятую стихию: Бальмонт! шестое чувство и шестую часть света: Бальмонт! В них он и жил.

Его любовь к России — влюбленность чужестранца. Национальным поэтом, при всей любви к нему, его никак не назовешь. Беспоследственным (разовым) новатором русской речи — да. Хочется сказать: Бальмонт — явление, но не в России. Поэт в мире поэзии, а не в стране. Воздух — в воздухе.

Нация — в плоти, бесплотный национальный поэт быть не может (просто-поэт — да). А Бальмонт, громозди хоть он Гималаи на Анды и слонов на ихтиозавров — всегда — заведомо — пленительно невесом.

«Я вселенной гость,
Мне повсюду пир...»

Порок или преимущество? Страна больше, чем дом, земля больше, чем страна, вселенная больше, чем земля. Нерусскость (русскость, как составное, и русскость) Бальмонта — вселенскость его. Не в России родился, а в мире. Только в единственном русском поэтическом гении — Пушкине (гений, второй после диапазона, вопрос равновесия и — действия сил. Вне упомянутого Лермонтов не меньше Пушкина) — итак, только в Пушкине мир не пошел в ущерб дому (и обратно). В Бальмонте же одолел — мир. Зачарованный странник никогда не вернулся домой, в дом, из которого ушел — как только в мир вошел! Все его возвраты домой — налеты. Говоря «Бальмонт», мы говорим: вода, ветер, солнце. (Меньше или больше России?) Говоря «Бальмонт», мы (географически и грубо) говорим: Таити — Цейлон — Сиерра, и, может быть, больше всего: Атлантида, и может быть меньше всего, — Россия. «Москва» его — тоска его. Тоска по тому, чем не быть, где не жить. Недосыгаемая мечта чужестранца. И, в конце концов, каждый в праве выбрать себе родину.

Пушкин — Бальмонт — непосредственной связи нет. Пушкин — Блок — прямая. (Неслучайность последнего стихотворения Блока, посвященного Пушкину.) Не о внутреннем родстве Пушкина и Блока говорю, а о роднящей их одинаковости нашей любви.

«Тебя как первую любовь
России сердце не забудет».

¹ Французском союзе (фр.).

² Вы, конечно, поэт на своем языке (фр.).

Это — после Пушкина — вся Россия могла сказать только Блоку. Дело не в даре — и у Бальмонта дар, дело не в смерти — и Гумилев погиб, дело в воплощенной тоске — мечте — беде — не целого поколения (ужасающий пример Надсона), а целой пятой стихии — России. (Меньше или больше, чем мир?)

Линия Пушкин — Блок минует остров Бальмонта. И, соединяющее и заморскость, и океанскость, и райскость, и неприкрепленность Бальмонта: *плавающий остров!* — наконец, слово есть.

Где же поэтическое родство Бальмонта? В мире. Брат тем, кого переводил и любил.

Как сам Бальмонт — тоска Руси по заморью, так и наша любовь к нему — тоска той же по тому же.

Неспособность ни Бальмонта, ни Брюсова на русскую песню. Для того, чтобы поэт сложил народную песню, нужно, чтобы народ вселился в поэта. Народная песня: не отказ, а органическое совпадение, сращение, созвучие данного «я» с народным. (В современности, утверждаю, не Есенин, а Блок.) Для народной песни Бальмонт — слишком Бальмонт, пусть последним слогом последнего слова — он ее обальмонтирует!.. Неспособность не по недостатку органичности (сплошь органичен!) — по своеобразию этого организма.

О Брюсове же и о русской песне... Если Бальмонт — слишком Бальмонт, то Брюсов — никак не народ.*

(Соблазнительное сопоставление Бальмонта и Гумилева. Экзотика одного и экзотика другого. Наличие у Бальмонта и, за редкими исключениями, отсутствие у Гумилева темы «Россия». Нерусскость Бальмонта и целиком русскость Гумилева.)

Так и останется Бальмонт в русской поэзии — заморским гостем, подарившим, заговорившим, заворожившим ее — с налету — и так же — канувшем.

Бальмонт о Брюсове.

12-го русского июня 1920 г. уезжал из Б. Николо-Песковского пер. на грузовике за границу Бальмонт. Есть у меня об этом отъезде-отлете! — отдельная запись, ограничусь двумя возгласами, предпоследним — иманжинисту Кусикову: «С Брюсовым не дружите!» — и последним, с уже угрожающего грузовика — мне: — А Вы, Марина, передайте Валерию Брюсову, что я ему *не* кланяюсь!

(Не-поклона — Брюсов сильно седел — не передала.)

Запало еще одно словечко Бальмонта о Брюсове. Мы возвращались домой, уже не помню с чего, советского увеселения ли, мытарства ли. (С Бальмонтом

* Язык Бальмонта, для русского, слишком личен (единоличен). Язык Брюсова, для русского, слишком общ (национально-безличен).

мы игрой случая, чаще делили тягости, нежели радости жизни, — может быть для того, чтобы превратить их в радость?)

Говорим о Брюсове, о его «летучих альманахах» (иначе: вечерах экспромтов), об Институте брюсовской поэзии (иначе: закрытом распределителе ее), о всечасных выступлениях (с кем!) и выступлениях (к чему?) — я — да простит мне Бальмонт первое место, но этого требует ход фразы, я — о трагичности таких унижений, Бальмонт о низости такой трагедии. Предпосылки не помню, но явственно звучит в моих ушах возглас: — Поэтому я ему не прощаю! — Ты потому ему не прощаешь, что принимаешь его за человека, а пойми, что он волк, — бедный, лезущий, седеющий волк.

— Волк не только жалок: он гнусен!

Нужно знать золотое сердце Бальмонта, чтобы оценить, в его устах, такой возглас.

Бальмонт, узнав о выпуске Брюсовым полного собрания сочинений, с примечаниями и библиографией:

— Брюсов вообразил, что он классик и что он помер.

Я — Бальмонту: — Бальмонт, знаешь слово Койранского о Брюсове? «Брюсов образец преодоленной бездарности».

Бальмонт, молниеносно: — Непреодоленной!

Заключение напрашивается.

Если Брюсов образец непреодоленной бездарности (т. е. необретения в себе, никаким трудом, «рожденна, не сотворенна» — дара), то Бальмонт — пример непреодоленного дара.

Брюсов демона не вызывал.

Бальмонт с ним не совладал.

V

Последние слова

Как Брюсов сразу умер, и привыкать не пришлось.

Я не знаю, отчего умер Брюсов. И не странно, что и не попыталась узнать. В человеческий конец жизни, не в человеческом проведенной, заглядывать — грубость. Посмертное насилие, дозволенное только репортерам.

Хочу думать, что без борения отошел. Завоеватели умирают тихо.

Знаю только, что смерть эта никого не удивила — не огорчила — не смягчила. Пословица «*de mortuis aut bene aut nihil*»¹ поверхностна, или люди, ее создавшие, не чета нам. Пословица «*de mortuis aut bene aut nihil*» создана Римом, а не Россией. У нас наоборот, раз умер — прав, раз умер — свят, обратно римскому предостережению — русское утверждение: «лежащего не бьют». (А кто тише и ниже лежит — мертвого?) Бесчеловечность, с которой нами, русскими, там и здесь, встречена эта смерть, только доказательство нечеловечности этого человека.

Не время и не место о Блоке, но: в лице Блока вся наша человечность оплакивала его, в лице Брюсова — оплакивать — и останавливаюсь, сдержанная несоответствием собственного имени и глагола. Брюсова можно жалеть двумя жалостями: 1) как сломанный перворазрядный мозговой механизм (не его, о

¹ О мертвых либо хорошо, либо ничего (лат.).

нем), 2) как волка. Жалостью — досадой и жалостью — растравой, то есть двумя составными чувствами, не дающими простого одного.

Этого простого одного: любви со всеми ее включаемыми, Брюсов не искал и не снискал.

Смерть Блока — громовой удар по сердцу; смерть Брюсова — тишина от внезапно остановившегося станка.

Часто сталкиваешься с обвинениями Брюсова в продаже пера советской власти. А я скажу, что из всех перешедших или перешедших- полу Брюсов, может быть, единственный не предал и не продал. Место Брюсова — именно в СССР.

Какой строй и какое миросозерцание могли более соответствовать этому герою труда и воли, нежели миросозерцание, волю краеугольным камнем своим поставившее, и строй, не только бросивший в гимне — лозунг:

«Владыкой мира станет труд».

Но как Бонапарт — орден героев чести, основавший — орден героев труда.

А вспомнить отвлеченность Брюсова, его страсть к схематизации, к механизации, к систематизации, к стабилизации, вспомнить — как задолго до большевизма — его утопию «Город будущего». Его исконную аррелигиозность, наконец. Нет, нет и нет. Служение Брюсова коммунистической идее не подневольное: полюбовное. Брюсову в СССР, как студенту на картине Репина — «Какой простор»! (Ширь — его узостям, теснотам его — простор.) Просто: своя своих познаша.

И не Маяковский, с его бульжными, явно-российскими громами, не Есенин, если не «последний певец деревни», то — не последний ее певец, и уж, конечно, не Борис Пастернак — новатор, но в царстве Духа, останутся показательными для новой, насильственной на Руси, бездушной коммунистической души, которой так страшился Блок. Все выше поименованные выше (а может быть — шире, а может быть — глубже) коммунистической идеи, Брюсов один ей — бровь в бровь, кровь в кровь.

(Говорю о коммунистической идее, не о большевизме. Большевиков у нас в поэзии достаточно, те же — не знаю их политических убеждений — Маяковский и Есенин.) Большевизм и коммунизм. Здесь более чем где-либо, нужно смотреть в корень (больш — сопп —). Смысловая и племенная разность корней, определяющая разницу понятий. Из второго уже вышел III Интернационал, из первого уже, быть может, еще выйдет национал — Россия.

И окажись Брюсов, как слух о том прошел, по посмертным бумагам своим не только не-коммунистом, а распромонархистом, монархизм и контрреволюционность его — бумажные. От контр, от революционера в революции — монархиста в Брюсове не было ничего. Как истый властолюбец, он охотно и сразу подчинился строю, который в той или иной области обещал ему *власть*. (На какой-то точке бонапартизм с идеальным коммунизмом сходятся: «la carrière, ouverte aux talents»¹ — Наполеон.) «Брюсовский Институт» в царстве Смольных и Екатерининских — более, чем гадателен. Коммунизм же, царство спецов, с его принципом использования всего и вся, его (Брюсовский Институт) оценил и осуществил.

Коммунистичность Брюсова и анархичность Бальмонта. Плебеистичность Брюсова и аристократичность Бальмонта. (Брюсов, как Бонапарт — плебей, а не демократ.) Царственность (островитянская) Бальмонта и цезаризм Брюсова.

Бальмонт, как истый революционер, час спустя революции, в первый час

¹ Карьера, открытая для талантов (фр.).

stabilité¹ ее, оказался *против*. Брюсов, тот же час спустя и по той же причине оказался — *за*.

Здесь, как во всем, кроме чужестранности, еще раз друг друга исключили.

Бальмонт — если монархист, то по революционности природы.

Брюсов — если монархист, то по личной обойденности коммунистами.

Монархизм Брюсова — арачьевские поселения.

Монархизм Бальмонта — людвиго-вагнеровский дворец.

Бальмонт — ненависть к коммунизму, затем к коммунистам.

Брюсов — возможность ненависти к коммунистам, никогда — к коммунизму.

Бюрократ-коммунист — Брюсов.

Революционер-монархист — Бальмонт.

Революции делаются Бальмонтами и держатся Брюсовыми.

Первая примета страсти к власти — охотное подчинение ей. Чтение самой идеи власти, ранга. Властолюбцы не бывают революционерами, как революционеры, в большинстве, не бывают властолюбцами. Марат, Сэн-Жюст, по горло в крови, от корысти чистоты. Пусть личные страсти, дело их — надличное. Только в чистоте мечты та устрашающая сила, обрекающая им сердца толп и ум единиц. «Во имя мое», несмотря на все чудовищное превышение прав, не скажет Марат, как «во имя твое», несмотря на всю жертвенность служения идее власти, не скажет Бонапарт. Сражающая сила «во имя твое».

У молодого Бонапарта отвращение к революции. Глядя с высока какого-то этажа на казнь Людовика XVI, он не из мягкосердия восклицает «Et dine qu'il ne fandrait que deux compagnies pour balayer toute cette canaille — la!»² Орудие властолюбца — правильная война. Революция лишь как крайнее и *не* этически-отвратительное средство. Посему, властолюбцы менее страшны государству, нежели мечтатели. Только сумеет использовать. В крайнем же случае — властолюбия нечеловеческого, бонапартовского — новая власть. Идея государственности в руках властолюбца — в хороших руках.

Я бы на месте коммунистов, несмотря ни на какие посмертные бумажные откровения, сопричислила Брюсова к лику уже имеющих святых.

Два слова еще о глубочайшем анационализме (тоже *соответствие* с Советской властью) Брюсова. Именно об анационализме, мировоззрении, а не безродности, русском родинно-чувствии, которого у Брюсова нет и следа.^{**} Безроден Блок, Брюсов анационален. Сыновность или сиротство, — чувствами Брюсов не жил (в крайнем случае — «эмоциями»). Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чужим, не только странам: землям, планетам. И не только планетам: муравейнику — улью — инфузорному кишению в капле воды.

Люблю свой острый мозг и блеск своих очей,
Стук сердца своего и кровь своих артерий.

¹ Упрочение, стабилизация (фр.).

* NB. Отвращение к революции в нем, в этот миг, равно только отвращению к королю, так потерявшему голову.

² Подумать только, ведь хватило бы и двух рот, чтобы вымести вон этих каналов! (фр.).

** Безродность, безысходность, безраздельность, безмерность, бескрайность, бессрочность, безвозвратность, безоглядность, — вся Россия в без.

Люблю себя и мир. Хочу природе всей
И человечеству отдаться в полной мере.*

(Какое прохладное *люблю* и какое прохладное *хочу*. Хотения и любви ровно на четыре хорошо срифмованных строки. Отдаться — не Брюсовский глагол. Если бы вместо отдаться — домочься — о, по-иному бы звучало! Брюсов не так хотел — когда хотел!)

Но микроскоп или телескоп, инфузорное кишение или кипящая мирами вселенная — все тот же бесстрастный, оценивающий, любопытствующий взгляд. Микроскоп или телескоп, — простого человеческого (простым глазом) взгляда у Брюсова не было: Брюсову не дан был.

В подтверждение же моих слов об анациональности отношу читателя к раннему его — и тем хуже, что раннему! — стихотворению «Москва», в памяти не уцелевшему. («Москва», сборник составленный М. Коваленским, из-ние «Универсальной библиотеки», последняя страница. Может быть имеется и в «Юношеских стихах». Дата написания 1899 г.)

Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же как Сальери остался — творческой волей Пушкина. На Брюсове не будут учиться писать стихи (есть лучшие источники, чем — хотя бы даже Пушкин! Вся мировая, еще не подслушанная, подслушанной быть долженствующая, музыка), на нем будут учиться хотеть — чего? — без определения объекта: всего. И, может быть, меньше всего — писать стихи.

Брюсов в хрестоматии войдет, но не в отдел «Лирика», — в отдел, и такой в советских хрестоматиях будет: «Воля». В этом отделе (преодолевателей, перевозчиков) имя его, среди русских имен, хочу верить, встанет одним из первых.

И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, пока в Москве, на самой видной ее площади, не встанет — в граните — в нечеловеческий рост — изваяние:

Герою труда
СССР

Прага, август 1925 г.

Подготовка текста к публикации —
Святослава Педенко.

* Все цитаты из памяти. Но если и есть обмолвки, словарь их — брюсовский.

Валентин КУРБАТОВ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СНАЧАЛА

Никогда корневая система русского народа не рвалась так необратимо, как сейчас и никогда вместе с этим не была так остра в нем тяга к возвращению утраченного родства. Но центробежная сила пока могущественнее центростремительной и уж тут художнику не до «народопоклонства» — надо живое от беспамятства удержать, основы оградить. «Нет в свете таких бед, которые не в состоянии был бы превозмочь народ, если он правильно и в соответствии со всем ходом его исторического движения и духовного согласия, организован и нацелен, — писал Ф.М.Достоевский. — И только одно может иметь для любого народа самые тяжелые и непоправимые последствия: самодовольство поколения или нескольких поколений, забвения корней своих, сознательный или бессознательный разрыв с многовековым опытом прошлого, ведущие через последующие связи к утере национального чувства и исторической памяти, к разобщению, обезличенности и безродности. Тогда и народ — население, и родина — место жительства и прописки, тогда мы перестаем слышать токи одной крови в другом человеке и останемся глухи. Глухота к ближнему грозит затем общей глухотой, вседозволенностью, человек принимает себя за случайность и уповает на случайность, случай превращается у него в судьбу».

Это опасно, когда происходит и с одним человеком — что же говорить о ситуации, когда случайность грозит стать судьбой народа? Теперь уже нам не надо обманывать себя, что в истории все закономерно и что совершается, то совершается. Это было бы только переодетым в формы закона фатализмом. Русская история действительно часто не делалась, а сл у ч а л а с ь, творческий элемент был в ней пассивен. Это было очевидно следствием национального характера, но странно было бы снова и снова загораживаться этой оправдательной ссылкой

и покоряться новым «случаям», приобретающим слишком зловещие и последовательные формы, чтобы такого утешения было достаточно.

Валентин Распутин думал об этом в «Матере» и «Пожаре», об этом беспокоился в книге о Сибири, а в самое последнее время почти оставил и очерк, прибегнув к самому мобильному и крайнему для писателя оружию — статье и просто выступлению. Общество реагировало на эти выступления так противоречиво и с такой изумляющей полярностью, словно речь шла о разных художниках и разных текстах.

Вот, например, А.Приставкин дает интервью латышской молодежной газете, резко говорит об обществе «Память» и на вопрос корреспондента о возможной связи с этим обществом такого «гуманистически настроенного писателя как Распутин» вдруг отвечает встречным вопросом: «А почему вы думаете, что Распутин — «гуманистически настроенный»? Корреспондент теряется, как теряется и читатель, и Приставкин снисходительно объясняет, что дело, вероятно, в кризисе деревенской прозы, которую представляют Белов и Распутин и которая «себя изжила», и вот досада на эту изжитость и привела их «на антиперестроечные рельсы».

Оставим в стороне этот, увы, популярный теперь, но такой жалко постыдный в устах серьезного художника жупел — «антиперестроечные рельсы» (им теперь охотно пользуется всякий, как пропуском в либералы), послушаем существо его укора «деревенской прозе», потому что Приставкин выражает здесь мнение значительной части сегодняшней интеллигенции, внезапно обнаружившей свою новодельность и безпорность: «Возможно, все дело в дефиците внутренней культуры (вот так — без глупых церемоний! — В.К.), без которой нельзя оставаться убежденным сторонником демократических преобразований, ориентированных на современную культуру, от которой мы были долгое время отгорожены... отгороженность от мировой культуры уже много нам навредила. Национальная замкнутость вредна».

Из книги, готовящейся к печати в издательстве «Советский писатель», «Долги наши. Валентин Распутин: концы и начала».

И правда — не поспоришь ведь: вредна. Но вспомним-ка сейчас вот так сразу (первое чувство — самое верное), а что же мы такое великое узнали, когда ограда мировой культуры была снята? Разве только Джойса? Но что-то не видно, чтобы появление этой книги существенно подвинуло нас в культурном преображении и было встречено всенародным жадным вниманием — наконец-то! А ведь остальные-то, положим, только в литературе: А.Мердок, М.Фриш, Т.Вулф, Р.Музиль, Ж.Бернанос (да что начинать — одного оглавления «Иностранной литературы» за десять последних лет хватит, чтобы понять — что не ленивый ум мог не комплексовать: никто нас от опорных вещей великой литературы и музыки, живописи и театра Запада не отлучал). Всегда было известно, что русский за рубежом лучше знает культуру страны, куда приезжает, чем та, благословенно развитая — нашу Россию. В этом первыми признаются действительно большие художники, не наученные пинать родное для подачки чужого внимания. Если чего мы и были лишены, то культуры родной — свою мысль и слово по темницам и тюрьмам столов держали. И Распутин, как легко догадаться, не великой мировой культуры страшился в чужих вторжениях.

Вообще временами создается ощущение, что нужен был только повод, чтобы выговорить свою неприязнь к «деревенской школе», и если что мешало сделать это прежде, то ее страдающая сила, ее оппозиционное мужество, ее действительная всенародность. Когда же устойчивые системы нравственного отсчета оказались достаточно опорочены, сразу стало возможно говорить о ней таким тоном, словно и сами ее достоинства были только злом. Приставкин тут только подхватил уже вполне отчетливую мелодию. А что это действительно тенденция с общими посылками и одной системой доказательств легко заключить по дальнейшему развитию темы, хоть по громкой статье Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе». Ерофеев пишет там, что «в семидесятые годы деревенская литература добилась того, что в лице Астафьева, Белова, Распутина могла существовать в известной мере самостоятельно, исповедуя «патриотизм» (именно так в кавычках, — «патриотизм». — В.К., за что она якобы приглянулась официозу и была осыпана наградами). Со временем дело, однако, — продолжает Ерофеев, — стало меняться. Прозападническое развитие советского общества... способствовало тому, что в стране возникла общественная база для реформ, привело к все нарастающему конфликту между деревенской литературой и обществом. Деревенская литература стала больше разоблачать, проклинать, чем возвеличивать». И дальше, все менее сдерживаясь, о «зоологической ненависти» деревенщиков к рок-н-роллу, аэробике, чуждым влияниям: «их своеобразный расизм... помраченное сознание определены историческим желанием переложить ответственность за национальные беды на «чужих», найти врага и в ненависти к нему сублимировать национальные комплексы». Названы и сами эти «комплексы»: нацио-

нального превосходства, религиозной исключительности в сочетании с комплексом неполноценности (и лучше уж не цитировать про «зубную боль от языка» этой прозы, про «апокалиптический ток» и «монструозные идеи»).

Причина конфликта, как видите, хоть в иных словах, но та же — «прозападническое развитие» (у Приставкина — «отторженность от мировой культуры»), которое Ерофеев представляет как спонтанный, неспровоцированный выбор народа. А «деревенщики», мол, засиделись в своих консервативных представлениях, проморгали этот выбор, и вот теперь, потеряв читателя, срывают зло на невинном рок-н-ролле, аэробике, экстрасенсах и т.д., да еще уподобляют их духовному СПИДу. Комический тон обоих авторов тут имеет успех, потому что они ведь и апеллируют именно к тем, кто сделал этот самый «спонтанный выбор», и они отлично понимают друг друга.

Да вот только дело-то в том, что «народ», еще вчера бывший для разных мыслителей достаточно устойчивым и целостным понятием, сегодня разломился, и либеральные и деревенские писатели обращаются к взаимоисключающим аудиториям. А граница прошла по этому самому «прозападническому развитию». То, что для выбравших этот путь — необходимость и полнота, то еще для Константина Леонтьева было «пошлость» и, кто помнит его работы, знают с какой запальчивостью философ вместе с Достоевским называл среднего европейца главной угрозой миру и духу. Ведь и деревенские писатели (что и сам Ерофеев может видеть) разве новым формам хозяйствования сопротивляются, европейскому опыту, фермерству, принципам землепользования? Нет — именно пошлости, которую мы усваиваем скорее резонно (смею думать, что и Приставкин не аэробики и рок-н-ролл числит «мировой культурой», от которой мы «отгорожены»). Именно пошлость державного мещанина для нас менее всего безобидна, потому что разлагает скорее всего остального и прививает не умение и желание работать, не великую ответственность за экономику и культуру страны, а поверхностную декоративность внешнего подражания, тоску по достатку, минуя труд, минуя собрание души, минуя необходимую работу религиозного устройства, без чего наше «прозападничество» кончится одними брючными наклейками.

Родная почва выбита из-под нас так основательно, что мы и правда у себя на подозрении — как бы не отстать, не пропустить чего, не опростоволоситься в порядочном обществе. Это болезнь не новая. Грибоедов уж вон как ее знал и устами Чацкого как верно определял и как лекарство искал: «Кто мог бы словом и примером / Нас удержать как крепкую вожжой, / От жалкой тошноты по стороне чужой...» Или, что мы со школьной скамьи ведаем, да только все смысла не слышим: «Воскреснем ли когда от чужевластья мод?» А то и прямо в нынешние дискуссии: «Как европейское поставить в параллель/ С национальным? — странно что-то...»

По всему видать, что с такими взглядами Чацкого непременно объявили бы «шовинистом», пожалуй, срифмовав с «Памятью» да и опять, благословясь, объявили бы сумасшедшим. Ведь и его разве великая культура на Западе отвращала? Нет, «французики из Бордо», которые пришли к нам сегодня во всеоружии, чтобы оснастить нашу массовую культуру всеми доблестями «современной культуры, от которой мы оказались отгорожены», а именно: повальным, действительно повсеместным вторжением рока, в пропаганду которого, как справедливо заметил Распутин, «побросав великие стройки коммунизма», кинулся комсомол, легализацией гомосексуализма, парадами нагих девиц, торопящихся в королевы красоты, счастливой раскрепощенности живописцев, которые теперь могут выставлять и чистые холсты и доски сортиров, да и бездной иных способов доказать, как благородно-брезглива их душа к обесчещенным идеалам отцов.

Вот, вот о чем с горечью и гневом говорил тогда в Рязани Распутин, приводя несчетные примеры нашего бесстыдного искательства перед Западом: «Словно без рук оказалось великое национальное наследие — без рук, способных его сохранить и достойно продолжать. Словно один преступный замысел пересекся с другим, чтобы лишить народ памяти и чутя. Культурой и нравственностью стало то, что никогда ими не было, а в воспитатели вышли люди сомнительных правил, святость превратилась в насмешку».

Если это «антиперестроечные рельсы», то страшно делается за страну, которая избирает рельсы другого направления. Распутин словно предчувствовал тогда и это интервью Приставкина, и статью Вик.Ерофеева, и иные дружные хоры обвинителей, потому что атака на национальное, так зорко увиденная еще Грибоедовым, знала короткие спады, но не прекращалась совсем, а сейчас приобрела размах государственной, планомерно массивной. «И сегодня, — говорил тогда Распутин, — на всякого, кто пытается напомнить об отечественных корнях или, не дай Бог, о святоотеческих началах, немедленно набрасываются как на причника Ивана Грозного или Сталина, стоящего на культовых или клерикальных позициях и не имеющего ни биологического, ни гражданского права существовать в эпоху демократических перемен. Инакомыслием в собственной стране стало... рассуждение... о самостоятельности; невежеством и косностью — обращение к вечным ценностям нравственности и культуры».

Оппоненты его дружно закрыли глаза на то, что выступление заканчивалось цитатой из Достоевского и, пожалуй, по величине цитаты не знали, где закрыть кавычки, и в сущности именно Достоевского, а не Распутина и бранили, ему и сопротивлялись, его в «Память» и вписывали, потому что это не Распутин, а Достоевский взывал к нашему достоинству и разборчивости в понимании «мировой культуры». И это Достоевский призывал нас «стать русскими, то есть самими собой» и растолковывал, что «стать русскими, значит, перестать прези-

рять народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш, и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отошлись бы европейской душе».

Придется предположить, что и Достоевского ждала бы участь Чацкого с этим его «национальным духом». Все понятия лукаво подменяются, и с подменными-то именно и ведется борьба. Спроси у тех же В.Ерофеева, А.Приставкина, П.Карпа, Т.Ивановой, где именно вычитали они у «деревенщиков» о национальном превосходстве, о религиозной исключительности русского народа, и они строки не найдут («Русскость, так же как немецкость, французскость, есть общее направление нации, внутреннее ее стремление, выданный ей при мужании, когда обозначаются успехи, аттестат на особую роль в мире» — в этих ли словах Распутина превосходство?). Нет, подделки мысли совершаются сознательно, потому что если и говорить о национальном самосознании, о религиозной традиции и специфике этой традиции, то придется коснуться тех настоящих глубин, которые строят любую нацию и не всегда переводятся в удобный литературно-политический словарь. Тогда придется отвечать не перед односторонним читателем, который легко пленяется задорной фразой и не ищет проверки (потому что эта проверка и от него потребовала бы ответственности мысли и существования), а перед народной памятью в себе, перед совестью и смертью, которые в России всегда стояли выше либеральной репутации. И вот фарисейство наших литературных бесстыдников простирается уже до того, что они «извиняют» Распутина (как прежде «извиняли» Достоевского), что вот, дескать, писал замечательные книги, а теперь, к сожалению, взялся не за свое дело и по «недостатку внутренней культуры» впадает в уже стыдный теперь консерватизм, мешая «убежденным сторонникам демократических преобразований».

А он бы и рад книги-то писать, да в себе неволен. «Я ведь даже слово давал, — признавался он интервьюеру «Смены», — как только отмечу 50-летие, плюну на все, уеду хоть в тундру, где уж меня никто не найдет, и буду только писать... А вместо этого борьба, статьи, заседания, выступления». И чуть позднее опять о том же и мимо вопроса, почти невпопад — видно, болит эта мысль и от нее не освободиться: «Больше всего меня заботит моя собственная творческая работа. Больше всего мне хочется заниматься литературой. Сесть за письменный стол и быть от всего свободным. Но... нельзя освободиться от обязанностей гражданских, когда страдает культура, страдает человек».

Оказалось, что сбежать «даже в тундру» уже нельзя, что время искусства в старом разумении кончилось, что старые родники окончательно истощены и «стол» уже не для литераторов, во всяком случае не для тех из них, кто помнит полноту значения слов «совесть», «народ», «вера», «родина», «культура» (эта последняя при

изгнании корня «культ» обращается в простое «ура»). И вот художник умом-то, опытом и зовом дара к прямому своему делу стремится, а народная душа в нем уже не знает, о чем говорить с музой, когда вокруг все болит и не сулит исхода.

Обращение к религии уже не на уровне предчувствий, как в очерке «Поле Куликово» или в «странных» рассказах «Век живи» и «Что передать вороне», а на уровне прямо необходимого исследования и настоящего живого духовного понимания для поиска выхода становится неизбежным.

В критические дни, в оканчивающихся столетиях и на переломах этих столетий интерес к религии, к церкви возвращается с периодичностью закона.

Так в неожиданных для России формах масонства, принятого по ошибке за аскетическую антитезу правительствующей синодальной церкви (за такие ошибки дорого платят), этот интерес вспыхнул в конце XVIII века в душах и умах Новикова и Радищева, чтобы потом мощно преобразиться в живой вере и глубоких системах Киреевского, Хомякова, Аксаковых. Из-за доверительной беседы их книг мы почти проглядели в их мысли систему.

Так же и в конце XIX и в начале XX-го века по справедливому слову Распутина «русская мысль... в вопросах духовно-нравственного бытия человека сказала так много, что могла бы считаться катехизисом новейшего времени. Предреволюционному обществу нужно было заткнуть уши, чтобы не услышать ее предупреждений и отделаться бранью».

Эта опасность «пропустить мимо ушей» существует и сейчас, потому что и наш сегодняшний интерес к русской религиозно-философской мысли и к родной церкви, вошедшей наконец в литературу с должной обиходностью, пока еще часто носит характер интеллектуальной оппозиции, и имена В.Соловьева, В.Розанова, Е.Трубецкого, К.Леонтьева, Н.Бердяева, П.Флоренского, С.Франка, А.Карташова и т. д. служат даже и в журнальных публикациях больше знаком времени (если не моды) и орудием мировоззренческой борьбы, чем «пособием» для живого общественного применения. Пока «реабилитация» мысли совершается на уровне исторических фактов, а не работающих смыслов. Между тем как факты сами по себе не составляют истории. Сейчас как никогда легко убедиться в этом, потому что мы ежедневно узнаем столько имен и событий, течений и школ, восстанавливаем столько утрат, что пора бы нажать качественно новое миропонимание, но преобразования пока нет как нет, и мы только чувствуем внутреннюю нетвердость, вполне понимая, что значит метафора о новом вине в старых мехах, но не ведая, как их согласить.

Факты все прибавляются, ум уже не в состоянии вместить их и порою помимо нашей воли сопротивляется новому знанию. Ему не хватает вооруженности, систематической силы, классической школы, которая начинала с фундаментов, а не с громоздящегося «под открытым небом» беспорядочно срезанного разнообраз-

ного «стройматериала». А.Ф.Лосев незадолго до смерти замечательно написал, что «все так называемые факты всегда случайны, неожиданны, текучи и ненадежны, часто непонятны, а иной раз даже и прямо бессмысленны (эту «текучесть и ненадежность» всякому легко проверить, положим, на примере фактов судьбы Н.И.Бухарина, позволяющих одним сделать из этого человека святого, другим — дьявола.— В.К.). «Поэтому мне, — продолжал Лосев, — волей-неволей часто приходилось не только иметь дело с фактами, но еще более того с теми общностями, без которых нельзя было понять и самих фактов».

Вот эти «общности» и разумел Распутин, говоря о том, что русская мысль могла быть «катехизисом новейшего времени», могла привести человека «в соответствие с моральными законами вдохнуть в него вечность, дать внутреннее зрение, показать на поле в его душе, которое требует возделывания с меньшей старательностью, чем поле хлебное, и постоянно засеивать его любовью». Это само требование «любви» очевидно и побуждает подозревать художника в «негуманистической настроенности». Да еще то, что и в размышлениях о тысячелетнем пути русского православия он вновь и не уступал нравственного первенства Европе, не сговариваясь на отрыв, а бережно искал синтеза, верно отмечая, что «в западном человеке первенствовало внешнее устройство жизни, в нашем — душеустройство. Для одного важнее была форма, для другого — содержание. Будучи сыновьями одной матери, они происходили как бы от разных отцов и могли считаться сводными братьями, когда бы удалось свести достоинства друг друга, получилась бы, вероятно, личность, которая устроила бы ее без трагического разлада с собой». (Заметим в скобках, как часто у русского художника — у Достоевского ли, у Распутина, как только он заговаривает о «сущностях» исторического пути, мелькает это горькое сопоставительное наклонение: у Достоевского «развивались бы в национальном духе... — отозвались бы европейской душой»; у Распутина — вот удалось бы свести, «получилась бы личность без разлада».)

Но для того, чтобы свести эти достоинства, нужна общая долгая работа самосознания, и Распутин не зря в последнее время от статьи к статье и от выступления к выступлению настойчивее выкликает кроме не раз названных мною мыслителей имена Г.Федотова, И.Ильина, С.Булгакова и Л.Карсавина и те «живоносные имена» Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Сергея Радонежского, Паисия Зеличковского, которые мы еще оставляем в одних храмовых стенах, а он с благодарной проничательностью уже доказывает, что «школа старчества... была школой и русской литературы».

И опять это нужно ему не для лестного уподобления, не для возвышения родного за счет других. Он тут плоть от плоти своего народа, милой России, которая всегда была к себе строже, чем к другим, и в пример себя определять не спешила, потому что в лучшие часы,

как писал Лесков со всей его языковой изобретательностью она хотела «у с т р а и в а т ь с я , а н е в е л и к а т и т ь с я ». Уж чего-чего, а послабления своему народу русские художники не делали (Абрамов ли с его гневом на односельчан, Астафьев с его «Печальным детективом», Распутин с его «Пожаром» и истребителями Матерей), но и как пасынки себя не вели, высокомерия и хамства по отношению к вскармливавшему их роду не позволяли. Это всегда было отношение именно сыновне-отцовское, со всею диалектикою этих понятий — по-сыновьи любить и по-отчески спрашивать. Или, как писал тот же Лесков: «Понимать свое время и уметь действовать в нем сообразно лучшим его запросам — это не значит раболепствовать перед волей масс; нет, это значит только чувствовать потребность «одной с ним жизнью дышать».

И серьезность спроса проистекала как раз из неравнодушия, из того, что одной-то жизнью можно жить только со здоровым народом. А здоровым быть у него и не выходило. При этом не всегда можно укрыться за старинным «среда заела», за спасительной ссылкой на исторические обстоятельства, хотя, конечно, Россию они увечили больше, чем какое-либо иное государство. Но что-то кроме злой воли истории было тому причиной, что-то в самом строе нашего характера, и прочитав даже только «Прощание с Матерой» и «Пожар», можно частью предположить — что именно: это скорое согласие с произволом, это с давних пор укрепившееся фаталистическое чувство неизбежности зла, то двойное чувство, с которым русский человек взаимодействует с судьбой, смиряясь с нею, но страстно и глубоко обосновывая внутреннее несогласие. (Вик.Ерофеев считает противоречием религиозную избранность и комплекс неполноценности, а это только неверно названная диалектика православного мироучествования — страшного радостного чувства близости к Богу и грозного сознания вины и последней падшести.)

Я говорю о нынешнем человеке и о том его предшественнике, который этого нынешнего приготовил: о человеке, пошедшем за прогрессом, за той самой Европой, которая нам все не дает покоя, для чего человеку пришлось отступить или поступиться своей целостностью, органическим всеединством, которым владели даже в глаза не видавшие книги, а только заветом отцов и церкви воссоединенные с миром крестьянки, и которое теперь со времен Соловьева приходится восстанавливать или скорее обосновывать, переводить в книжное знание то, что прежде давалось житейским наследованным опытом. Дорога оказалась опасной, потому что книжное знание скоро подменило и вытеснило опытное и окончательно раслоило народ.

«Легенда о Великом Инквизиторе» — это оселок, на котором еще много раз будет правиться наша национальная мысль. Достоевский гадал в ней страшные тайны человека, который изменяет Богу для «хлеба», «чуда» и «власти» и который обременительную свободу пол-

ноты предпочитает комфорту капитуляции перед ежедневными обстоятельствами («среда заела»). В результате, как писал В.В.Розанов на полях «Легенды», дело неизбежно кончается тем, что «никакая общая мысль не связует более народов, никакое общее чувство не управляет ими — каждый и во всяком народе трудится только над своим особым делом. Отсутствие согласующего центра в неумолкающем труде, в вечном созидании частей, которые никуда не устремляются, есть только наружное последствие этой утраты жизненного смысла».

Распутин опытом «Денег для Марии», «Живи и помни», «Прощания с Матерой» и «Пожара» и особенно опытом последних постоянных своих работ по защите живого мира (равно Байкала и человека, чуть приходящей в себя Оптиной пустыни и родного словаря) пришел после чтения «Легенды» к выводам, которые были еще менее оптимистичны: «Человек не выдержал своего предназначения. Он себя не выдержал, своих противоречий, которые хотелось скорей примирить, и примирить их он взялся необременительным образом «поверх добра и зла». Так было проще, чем побеждать в себе зло. Оно так долго не побеждалось, что он счел себя уставшим и свободным от борьбы».

В «Пожаре» технология этого примирения обнаружена с несколько даже прямолинейной наглядностью, да и весь историко-публицистический его материал был подтверждением этого тяжелого для души и вызывающего сопротивление вывода. Розанов в сущности тут и останавливался, но Распутин ведь не в воображении нашел и старуху Анну, и Настену, и Дарью, чтобы смириться на горьком удовольствии от этой жестокой правды. Он ни от чего не отворачивает глаз: «Посмотрите, чем занято общество: химизация, политехнизация, научная организация, сейчас компьютеризация. И только одним оно не занято — гуманизацией, еще не отмененной окончательно, но загнанной в такой угол, откуда шепот ее почти не слышен».

Но он своих великих героинь из памяти не выпускает и работы товарищей читает достаточно внимательно, наконец, родную веру, ее подвижников и молитвенников полно знает, чтобы вновь и вновь выводить к надежде, обретенной не в самообмане, а в голосе родных пространств и их насельников, героев и прототипов своих — если человек все еще человек.. Он не сможет согласиться с одной лишь плотью. И востребует он: «Дух! Дайте мне дух! — или я откажусь от своих учителей, прокляну новые божества, лишившие меня духа!» И произойдет это тем скорей, чем скорей человек будет накормлен. Религия потребительства, пытающаяся встать над всеми религиями мира, которой пока все еще соблазняется человек, не может иметь будущего».

Последние статьи Распутина «Из глубин в глубины» (которую мы только что цитировали) и «Смысл давнего прошлого (Религиозный раскол в России)» обнаруживают не просто глубокое знание предмета (тут найдутся специалисты и поавторитетнее), а прежде всего интерес этико-практический: что там, в минувшем опы-

те народно-необходимого, духовно-существенного для настоящего дня? Родство ситуаций, духовная Реформация, которая таинственным и естественным образом следует за социальной революцией или сопутствует ей, ищут уже не академического, а страстно пристального, ревностного взгляда, чтобы хоть в конце второго тысячелетия научиться, наконец, извлекать уроки из истории, а не только читать ее, как вальтерскоттовы хроники или лесковские «антики». Как-то не до любопытства, когда видишь, что «человек улучшается мало, что, не избавляясь от старой греховности, вовлекается в новую. С нравственного небосвода как бы не сходят сумерки, в которых плохо различимы добро и зло, любовь и забвение, красота и уродство». И не прямой, конечно, урок думает извлечь писатель, хотя, как он прозорливо замечает, поглядев портрет России времен Петра, «нравственное развитие общества, похоже, ходит кругами, которые накладываются друг на друга с какой-то последовательной закономерностью», а скорее неумоимо изучает многосложный, весь во взаимных исключениях национальный характер России, позволяющей в одной истории и даже в один период разным мыслителям прочесть противоположную судьбу и сделать ни в чем не совпадающие выводы. Да иногда даже и не разным, а одному мыслителю и писателю. У Толстого ли, Достоевского, у Лескова, у тех, кто поближе — у того же Астафьева, Носова, Казакова — ожесточенная неприязнь к отечественным неурядицам, и родной глупости и лени могла бы дать повод сделать из них судьей России, когда бы на другой странице не светилась благословляющая любовь и смертная связь с этим же неудобным народом.

Раскол — это как будто метафора нашего бытия, нашего характера, нашего исторического развития, наших крайностей. И верно не напрасно у нас так много книг о Никоне и Аввакуме вплоть до последних романов Д.Жукова и В.Бахревского, повести М.Устинова и тщательного исследования протоирея Льва Лебедева. Это «грозное, удивительное явление нашей истории» (С.Булгаков), до сих пор сказывающееся во всяком движении русского исторического человека, до сих пор ломающее нас и не пускающее к родовой могучей органической цельности, вызывает в Распутине гордость за русского человека, умеющего закалиться до излома, не поступиться верой, и тревогу за готовность другой части этого же народа искать необременительных путей — «поверх добра и зла».

По существу Распутин из статьи в статью отвечает одно и то же, как и должно быть, потому что истина проста и не любит несчетных переодеваний (это утехы «современной культуры», которая каждый день тщится скрыть свою наготу за все более пестрыми одеждами), а именно, что в лучших своих явлениях (а даже и раскол при всей двойственности его роли в истории — явление трагическое, но и высокое) Россия завещала «себя собранную предками по черточке, по капельке, по клеточке, по слову и шагу. Свою самобытность и самостоятель-

ность, свое достоинство, трезвость и творческие возможности». А уж сохраним ли мы это лучшее, хватит ли нам стойкости предков, когда мы стали так трусливо оглядчивы в своих душевных движениях на общее (да чаще всего и не своего общества) мнение, на грибоедовскую «княгиню Марью Алексеевну», когда мы в «виллянии» перед «мировой культурой» достигли особенной избирательности, а то и просто бесстыдства, — это часто кажется проблематичным. Иногда уже само собой готово сорваться: нет, не сохраним. И покажется, что и Распутин с «Пожара» готов был только к этому «нет», но все-таки каждый раз на последнем пороге и останавливался.

Именно для этого Распутин вглядывается в «Ближний свет издалека», как называется его статья в апрельском номере «Литературного Иркутска» за 1990 год о преподобном Сергии Радонежском, где он напоминает слова В.Ключевского о том, что «воспоминания о подвижниках питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками». Но и самого трудного не прячет: «Как случившееся могло случиться при попустительстве и руками народа, который незадолго перед этим объявлял себя богоносцем и нравственной крепостью мира?» И как в прежних статьях шаг за шагом следит, как «точилась эта крепость» и как была источена, и не выбирает смягчительных выражений, когда доходит до давно смущающегося, не нынче родившегося «передовизма», при котором альтернатива подводится под все — «под совесть и стыд, любовь и семью, веру и родину, народ и государство» и при котором «канонизируют каинов и иуд — чтобы былую святость превратить в козлище, а святыни в места физиологических или художественных испражнений, будь то Казанский собор подле Красной площади, храм Христа Спасителя или Пушкин».

Писатель вернейшим образом определяет существо нашего противоречивого бытования в мире, но, боюсь, не будет услышан, как больше столетия назад не был услышан Достоевский, отчаянно пытавшийся отвратить общество от ложной дороги, наставить самонадеянных властителей, которые вскоре разгуляются и подтвердят все его опасения в самом худшем виде: «У них не человечество, развившись историческим ж и в е м путем до конца, само собою обратится, наконец, в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество, и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути... Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю... оттого так и не любят ж и в о г о процесса жизни. Не надо ж и в о й души».

Поубавилось ли теперь «математических голов», которым нет дела до «живого процесса», а в конце концов и до своего народа, до того, чтобы вглядеться, наконец, в его лицо дальше краткой исторической пользы? Нет, и теперь читателей на эту мысль Достоевского у нашей

власти нет. И Распутин вновь с новым, уже общим сегодняшним опытом, оглядывается в прошедшее, чтобы опять с горечью свидетельствовать о том же: «Трагедия этого святоискательного народа заключалась в том, что его устремленность вверх всякий раз разбивалась могучим встречным движением, общим ходом мирового порядка, от которого не хотела отставать и российская власть. Она только и делала, что преобразовывала Россию вопреки ее назначению. Вероятно, и поперек миру идти, чтобы уцелеть в нем, было невозможно, но преобразователи порой очень уж старались, чтобы показать свой передовизм».

А сейчас-то не стараются что-ли? Может, еще никогда так не старались, потому что еще недавно Россия находила поводы глядеть на мир с достоинством равноправия. Теперь ее убедили, что она рабски прозябала и ей надо, наконец, войти в европейский ряд — пусть сзади, пусть бедной родственницей, но туда, туда, потому что никакого с в о е г о пути у нее уже быть не может и пора позабыть «мистические небесные сокровища для реальных земных».

Легко провидеть, что мысль Распутина о «разнонаправленности, разнокачественности» старой русскости с утвердившейся в мире материальной цивилизацией принята быть не может. Духовный человек опять окажется поправ материальным и непременно с перебором, хорошо декларированной ложью, вроде общераспространенного «Да что уж вы все нам дух-то тычете, дайте хоть раз русскому человеку и сытым побыть» и непременно про черту бедности и стариков, до которых на самом деле ораторам никакого дела нет, потому что беспризорные-то старики как раз у искателей сытости и оказываются.

А уж про «назначение» лучше и не заикаться, хотя «свой путь» — это ведь не непременно выше и совершеннее, а именно только с в о й, соответственный характеру народа, его истории, его великим предкам, которые ведь тем и велики в лучших-то подлинно великих образцах, что дерзали быть самими собой, народ в себе не попирает, а только слушаться сердца, крови, памяти, родных пространств и тем самым этот народ скреплять и складывать его единственное лицо.

Мы можем сколько угодно гордиться Петром Великим или же Великой Екатериной (с великими у нас обстояло не хуже, чем у других). Но народная сердцевина складывалась не ими (она ими разрушалась), а как раз теми людьми, к которым слово «великий» ни с какой стороны не приставишь — от смиренного, как «раб купленный» Сергия Радонежского и преподобного Андрея Рублева до преподобного Серафима Саровского или всю Россию обнявшего Иоанна Кронштадтского. И обращаемся мы сегодня вместе с Распутиным к этим именам не для академических окликиваний по календарным по-

водам, а в поисках переправы «через предстоящие потоки лжи и грязи на противоположный берег, где, установясь на твердую почву, русский человек сможет опять обрести себя в праведных трудах».

Обретение же себя не в раздражительном нетерпении, не в горьких поправках минувшего, где действительно грязи невпору (и уже ясно, что впереди ее будет не меньше), не в одном ропоте при виде того, что мы понаделали со своей землей, а как раз в опоре на мудрые утешения преподобного Сергия: «не смущайся, чадо, и не скорби, милость отымается, милость и дается». Этим стояла Русь в тяжкие давние времена. Этим держалась в последние десятилетия, когда спокойные земные старухи, все Катерины, Пелагеи, Дарьи, при всякой беде, при нашествии врагов или преобразователей хуже врагов, умели если не передать, то хоть высказать все ту же сергиеву простую правду правильного стояния на земле, уверенные, что дети их — Распутины, Астафьевы, Абрамовы — услышат в свой час эту правду и дальше ее передадут, продолжая необходимую работу собирания человека. Этим выстоит и сегодня, если будем помнить наставление духовных водителей, что уныние — один из тягчайших грехов, которые разрушают и истощают деятельные силы.

Конец века необычайно обостряет и уточняет зрение и все метафизические проблемы делает проблемами обыденной жизни и насущного труда, все подвигает к тому краю, где темы мысли становятся темами жизни, где мировоззрение стало м и р о п е р е ж и в а н и е м, то есть как бы непрерывным с т а н о в л е н и е м, наполняющим каждую минуту смыслом и ответственностью.

Весь путь Распутина до сегодняшнего дня — это путь редкостного прямого, неукоснительного развития, последовательного возрастания художника — от естественной событности с миром, от художественной работы в покойные дни, когда она еще была возможна, когда общество еще частью по инерции, частью по неведению было органически равно, к постепенно ожесточающейся публицистике по мере обрывов живых связей и обращения общества в механическое соединение разнонаправленных сил, и наконец — к объединительной мысли через историко-нравственное самопознание в соединении с коренным, родовым знанием,

По существу это путь от полноты к полноте, но с качественным преображением внутри, продиктованным слишком многими причинами, чтобы резюмировать их в нескольких словах, тем более, что путь продолжается. Будет день — будет пища, будут новые работы и новый виток на пути органического, воссоединяющего, воскрешающего знания, на котором художник ждет читателя, брата, помощника, современника, с о о т ч е с т в е н н и к а по духу.

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ

Не знаю, сохранились ли в России «запойные» читатели, может, перевелись, перекалифицировались — кто в телезрителей, кто в глотателей газет. Зато читателей «активных», как выражаются социологи, — прежде-то в ходу было другое слово: книгочѣй, — прибыло. Это они, книжники, бродят после, а то и вместо — работы по книжным магазинам, это на их улице сегодня праздник. Голубые грезы библиоманов стали общедоступными: и «Старый Петербург» и «Старая Москва» М.Пыляева, и «Россия в 1839 году» маркиза де Кюстина, и «Жизнь Андрея Тимофеевича Болотова, рассказанная им самим», и «Роман без вранья» Анатолия Мариенгофа и многое, многое другое; давно и тайно вожделенное. Однако ни книгочѣй, ни запойники в путеводителях по лабиринтам книжной «сухаревки» не нуждаются; первые — лопают без разбору, вторые — и сами знают, где и когда. А вот читающая публика — в затруднении.

Прежде как было? Полгода, а то и год *все* читали, скажем, «Альтиста Данилова», потом «Дату Туташхиа», потом, уже в новые времена, «Детей Арбата», «Белые одежды», «Зубра», «Доктора Живаго»...

А дальше... Дальше все смешалось, и самый массовый, самый благодарный, самый простодушный читатель — тот, что читает, как правило, тех, о ком говорят, оказался в пренебрежительнейшем положении человека, который, соображая, что бы ему надеть, выглянул в окно, а там, на дворе, как в сказке про двенадцать месяцев, одновременно: и весна, и осень, и зима, и лето...

Как поступить? Что выбрать? На что истратить неотоваренные — пятерку, десятку, четвертак, чтобы хоть тут-то не попасть впропуск?

Как — среди множества претендентов на роль фаворита текущего, а то и грядущего читательного сезона угадать самого удачливого?

Дмитрий Савицкий. Ниоткуда с любовью. Вальс для К. Рассказы. Стихи. М., «Радуга», 1990.

Виктор Ерофеев. «Russkaja красавица». СП «Вся Москва», 1990.

Лично я думаю: шанс попасть в число тех, о ком говорят, на весну 1991-го есть, почти наверняка, у авторов двух новинок — Виктора Ерофеева («Русская красавица») и Дмитрия Савицкого («Ниоткуда с любовью», «Вальс для К.»).

Имя Дмитрия Савицкого слушатели радиостанции «Свобода», где сей «невозвращенец» ведет «обалденные» «49 минут джаза», затвердили наизусть *до того*, как «Радуга» решилась издавать серию «Русское зарубежье».

И толков об Ерофееве (Викторе), и «за» и «против», вдоволь наслушались прежде, чем инициатива СП «Вся Москва» сделала его потаенный роман белодневным. Тут и скандал с «Метрополем», к которому он, что называется, руку приложил, и многочисленные интервью, какие Вик.Ерофеев мастерски и дает, и берет, и громкие литгазетовские «Поминки по советской литературе». И иное — сопутствующее позднему «дебюту» литератора, замеченного лучшими людьми России — от А.Шнитке до М.Ростроповича.

И не только России. Как сообщил поворотистый «Московский комсомолец», к Вик.Ерофееву некоторую слабость имеющий, «Русская красавица» переведена на множество иностранных языков (если не ошибаюсь — числом 26). Не обошли Там вниманием и Дм.Савицкого. Привожу эти данные вовсе не для того, чтобы повысить «рейтинг» рекомендуемых мною книг. И Там, как и Здесь, со вкусом и выбором не все в порядке. И Там, увы, под маркой «русские алмазы» крейсируют стекляшки...

Недоброжелатели, а их и у Савицкого, и у Ерофеева достаточно, утверждают: секрет, мол, в клубничке, в рискованном, со сдвигом в нестандартный эротизм, ситуациях.

Вряд ли. Во-первых, эротизмом как таковым мы уже сильно пресытились. Во-вторых, вообще — пресытились. На фоне материального дефицита изобилие духовной пищи — жуй до отвала и торбочку впрок набивай, — вместо того, чтобы возбуждать аппетит, его как раз и гасит. Может, где-то в Сибири еще и разгуливают свежие и бездонные аппетиты, но наши, столичные и пристольные, — уже вилок по тарелке.

лочке нетерпеливо стучат: это, мол, не так — пережарено, и это, де, не то — недосолено.

К тому же, боюсь, что среди толкущихся у книжных развалов немало и таких, кого шумный успех «за кордоном» может только расхолодить (и что они там, на европейских подмостках, выпендриваются, пока мы тут, на исторической родине кувыркаемся)...

И тем не менее, ни элегантной «Русской красавице», ни изящному томику Дм. Савицкого, по моим приблизительным прогнозам, — невестребованность не грозит, они и Здесь обречены на успех. Впрочем, дело, похоже, не в факторе сверхуспеха по горизонтали, хотя, как говаривал Пушкин, успех не менее судьбоносен, чем литературные достоинства. В нашем же случае, с героями нашего литсезона, дело, по-моему, именно в литературных достоинствах.

Признаюсь хотя бы самим себе: мы и родились, и выросли, и стареем под властью — давлением внушенного теоретического предрассудка, будто «содержание» и «форма» — некий двучлен, а не нераздельность: *что* — само по себе, *как* — само за себя. Хотя — могут заключить на время брачный союз, не хотя — практикуют, продаются, покупаются поврозь.

И самое лишнее в этой странной системе литценностей, разумеется, я зык, — подсобно-служебное средство, то ли транспортное, то ли коммуникационное, чье назначение: доставлять к месту назначения багаж — «содержание».

Из многих ложных истин эта — из самых опасных. Осип Мандельштам писал в статье «О природе слова» (еще недавно идея ее казалась периферийной и вдруг стала «центричь», собирая вокруг себя созидающую и примиряющую энергию; недаром именно ее так часто цитируют в нынешний первый, столетний, мандельштамовский юбилей): «Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство, — именно язык. Столь высоко организованный, столь органический язык не только дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. «Онемение» двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории».

Написано в 1921 году, то есть в самом начале всех наших культурных бедствий, а звучит как Предсказание, сбывшееся, свершившееся, завершившееся как раз к началу 80-х. А между тем как раз в эти годы — позднего застоя, когда, казалось, навеки самоутвердился самодовольный механический новояз, а органический — великий и могучий — язык почил навеки, тогда и началось движение сопротивления Исторической Смерти. Перед дверью в историю, запертую на замок забытого живого языкового чувства, стало вдруг многолюдно. Кто — с топором и обрезом, кто — с хитрой воровской от-

мычкой, а кто и с ключиком — золотым, серебряным, медным, железным, — но ключиком, вольным словом и своевольной речью, в этой своей воле к воле — то сохраняющей вкус и меру, то перехлестывающей за предел. И Виктор Ерофеев, и Дмитрий Савицкий, в отличие, скажем, от Виктора Сосноры и Венедикта Ерофеева, (эти-то в самых невозможных ситуациях рыцарски верны Высшей Русской Мере) — скорее чрезмерны, хотя и по-разному.

Дмитрий Савицкий, «Ниоткуда с любовью»:

«Пахло гнилью, бензином, из иллюминатора яхты тянуло подгорающим маслом, накрапывал Шопен. Пробежала, бесшумно суча ногами, тень породистой собаки. Совсем близко в мутных волнах проплывала длинная баржа. На корме шептались огни двух сигарет».

Не правда ли, столь старательно подобранные ингредиенты изысканного коктейля «Летняя Парижская ночь» — слегка все-таки сродни знаменитому горлышку разбитой бутылки? Однако как-то уж слишком, до щегольства, уже не по-чеховски, по-набоковски, — стилистически озабочены.

Ерофеев (Виктор) в этом отношении более демократичен. Строй его литературной, романной Речи не удаляется — высокомерно от ужасающего расстройтва «все-языка» в эстетически выгороженное и искусственно облагороженное пространство Отдельного Опыта, а пытается внести элемент организованности в нестройный хор низкой жизни; однако, как и Савицкий, — с оглядкой, с соревновательной завистью, с равнением на образец. Тоже классический, но другой: на Федора Михайловича Достоевского, заступника Сонечки Мармеладовой и Настасьи Филипповны:

«Ты только стращаешь нас адом. Скажи, что я угадала. Но если ошибаюсь, и все-таки он есть, отмени Ты его божественной волей, дай амнистию грешникам, многие из них уже долго сидят, и сообщай об этом, и вообще не скрывайся, почему Ты скрываешься столько веков, ведь из-за этого все сомневаются и ненавидят друг друга. Дай знак!»

И все это, предполагаю, не заимствование (когда, мол, от многого берут немножко, то это не кража, а просто дележка) — а з н а к, стремление д а т ь з н а к, заявить о готовности к возвращению в историю.

Содержание этих первых совбестселлеров сознательно не пересказываю и, соответственно, не растолковываю: книги, как и положено бестселлерам, ясны, прозрачны, практичны. Скажу лишь, что они — об *унесенных ветрам*. Ибо, как выразился Дмитрий Савицкий в одном из интервью, *эмиграция — род или вид смерти*. А *смерть как выбор* — самоубийственная, это я уже об «Русской красавице», — *род-вид эмиграции*.

Что же касается *ветра* (тоже предсказанного: ветер, ветер... на всем белом свете...), то он, унося на Запад непопутчиков, тех, кто не желал с нами топтать левой-правой по дороге в Никуда, донеся их до границы и перенеся чрез, он, ветр, угрюмо возвращался восвосяи. И

здесь уродовался: закручивался засасывающими воронками, не умея просверлить бытие, ввинчивался в небытие застоя... И тоже уносил в смерть — через послание в смерть...

И еще добавлю: пусть вас не смущают пестро-яркие авангардистские заплатки, коими так живописно изукрасили свои сочинения и Ерофеев Виктор и Савицкий Дмитрий — замечательно-русские «парижане» (имеется в виду, разумеется, не место жительства и даже не тип романного мышления, скорее образ «словесной

походки». Убеждена: постмодернистский «туалет» этих вещей — всего лишь обноска модного гардероба». А по сути, по ощущению жизни, ее смысла и ее бессмыслицы, и «Вальс для К.», и «Никоткуда с любовью», и «Русская красавица», эта особенно, стопроцентно, исполнены в стиле: воспоминание о мелодраме, так что ассоциация с *унесенными ветром* (взята мною у Д.Савицкого: «я понял, что отныне пишу для унесенных ветром») и в плане формальном, кажется, не случайна.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр РЖЕШЕВСКИЙ

(первый заместитель главного редактора),

Светлана БУЧНЕВА,

Алла МАРЧЕНКО,

Святослав ПЕДЕНКО,

(заместитель главного редактора),

Александр САМАРЦЕВ

Цена 1руб. + 20коп.

СПАСИБО

Двадцать копеек благотворительной надбавки к цене нашего журнала превратятся в миллион рублей, необходимых для строительства интерната для одиноких престарелых людей в Талдомском районе, соединяющем Московскую и Тверскую области.

Финансирование ведете Вы, уважаемый читатель, и редакционно-издательский комплекс «Милосердие».

**СОВЕТ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА
“МИЛОСЕРДИЕ”**

*ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ,
А.М.АДАМОВИЧ, Г.П.АЛФЕРЕНКО,
В.С.АЛХИМОВ, В.М.БОРИСОВ,
А.М.БОРЩАГОВСКИЙ, Ф.М.БУРЛАЦКИЙ,
Ю.М.БУЦКО, Е.М.БЫЧКОВ, Б.Л.ВАСИЛЬЕВ,
А.Ю.ГЕРМАН, А.А.ГОЛИК, Г.М.ГУСЕВ,
А.А.ИЛЬИН, А.Г.КОНОВАЛОВ, Л.П.КРАВЧЕНКО,
В.Н.КРУПИН, А.М.МАРЧЕНКО, Г.И.МАТЕВОСЯН,
А.Н.МЕДВЕДЕВ, В.В.МЕНЬШИКОВ, В.В.МИХАЛЬСКИЙ,
Б.А.МОЖАЕВ, С.А.МУБАРЯКОВ, В.Н.МУДРАК,
Б.И.ОЛЕЙНИК, С.Ф.ПЕДЕНКО, О.М.ПОПЦОВ,
Г.В.ПРЯХИН, А.А.РЖЕШЕВСКИЙ, Ю.М.РОСТ,
Ю.С.РЫТХЭУ, А.Н.САМАРЦЕВ, Ю.Б.СОЛОМОНОВ,
В.Т.СПИВАКОВ, Н.К.СТАРШИНОВ,
Г.Ф.СУХОРУЧЕНКОВА, Н.И.ТРАВКИН,
С.Н.ФЕДОРОВ, Ю.Д.ЧЕРНИЧЕНКО,
Б.А.ЧИЧИБАБИН, С.И.ЧУПРИНИН,
И.И.ШКЛЯРЕВСКИЙ,
С.В.ЯМЩИКОВ*